ЮРИЙ БЕДЗИК

СИЛЬНЫЕ НЕСТИ НЕ ЖАЖДУТ







Ордена Трудового Красно
ВОЕННОЕ ИЗД
МИНИСТЕРСТВА ОБО
МОСК



ЮРИЙ БЕДЗИК

СИЛЬНЫЕ МЕСТИ НЕ ЖАЖДУТ

РОМАН

Авторизованный перевод с украинского
НИКОЛАЯ БАКАЕВА

Р2
Б38

1

Машина шла еще ровно, но Задеснянский чувствовал, что управление повреждено и мотор сдает. А сзади наседали немцы — два наглых «мессера». Догнав «лаг», они упорно преследовали его. Желтый хохол одного из них был так близко, что Задеснянский в ожидании удара как бы окаменел, весь сжался, собрался в комок за бронезащитной спинкой сиденья.

Немец не стрелял. Пальцы фашиста подрагивали на гашетке, оставалось лишь нажать на нее. Но он все прилаживался, ждал удобного момента, чтобы красиво, по всем правилам закончить бой.

И тогда Задеснянский из последних сил, уже не надеясь на спасение, ни о чем не думая, толкнул от себя рукоятку руля высоты. Толкнул с отчаянием, налег на нее всей тяжестью тела, и «лаг» — громадина в две тонны весом — стремительно понесся вниз, к земле. Задеснянский сразу овладел собой, почувствовал себя увереннее в тесной, закопченной кабине. Мысль заработала с бешеной скоростью: «Оторваться!.. Во что бы то ни стало оторваться!..»

«Мессеры» пикировали за ним. Быстро надвигалась земля, широкой паневой наплывала на глаза. Внизу по шоссе двигались вражеские танки. Задеснянский потянул рукоятку на себя, потянул сильнее, еще сильнее. Нос самолета начал задираться вверх, неимоверная тяжесть придавила Задеснянского к сиденью, веки как-то сами собой закрылись, и лишь в следующее мгновение он увидел плывущую под ним полосу дороги.

«Мессеры» висели высоко в небе. Вероятно, вражеские летчики решили, что он отлетал свое, а может быть, не считали возможным атаковать самолет над колонной своих войск. Барражируя, они пристально следили за советским истребителем, в то время как он, объятый дымом, несся серой тенью над дорогой.

Внезапно у Задеснянского возникла дерзкая мысль — посадить самолет! Где и как, об этом он не думал, но

пока в двигателе есть сила, пока машина держится в воздухе, надо действовать!

Неподалеку в лесу он успел заметить небольшую ровную поляну. Круто развернув самолет, нацелился на нее. Затем резким движением сорвал с глаз защитные очки, уперся одной рукой в приборную доску и, не выпуская шасси, почти вслепую направил «лаг» между деревьями. Самолет скользнул фюзеляжем по кустам, ссек несколько молодых сосенок, тяжело заскрежетал по траве и в самом конце поляны врезался в земляной вал.

Задеснянскому почудилось, что откуда-то сверху, с охваченного огнем неба, на него свалилось гигантское дерево. Горячая, нестерпимая боль сдавила грудь. Он глотнул воздух и потерял сознание.

Две человеческие фигуры в оцепенении застыли на лесной опушке: девушка в зеленом пальто и такого же цвета берете, рядом парнишка в просторной свитке на вырост. Пораженные, с побелевшими лицами, они испуганно разглядывали поляну. Такого, пожалуй, вовек не увидишь! Только что, всего минуту назад, с неба рухнул самолет, врезался в землю и вспыхнул смолянистым огнем.

— Наш!.. Видишь, Зоська, наш! — прошептал парнишка, держась обеими руками за локоть высокой, стройной девушки.

Летчика выбросило из кабины. Он лежал неподалеку, уткнувшись лицом в песок, подобрав под живот руки. Рядом — крыло, на нем большая красная звезда.

— Наш, — почти не разжимая губ, произнесла девушка.

Парнишка опустился возле летчика на колени, прикоснулся пальцем к холодной, туго облегавшей спину кожаной тужурке. Девушка, быстро осмотревшись вокруг, тоже подошла к пилоту. Вдвоем они повернули его на спину. Кажется, живой! Лицо в царапинах и ссадинах, залито кровью. Веки чуть заметно подрагивают, будто летчик пытается, но не может открыть глаза...

От горящего самолета несло жаром. «Он может взорваться», — подумала девушка и, взяв летчика под мышки, попробовала оттащить его по усыпанной желтыми листьями траве в реденький березняк. Проволокла несколько

шагов и в изнеможении упала. Ноги будто сами подкосились.

Паренек, не отрываясь, смотрел на огонь.

— Отойди, Василь! — задыхаясь от усталости, крикнула ему девушка. — Беги быстрее в село, пусть дядька Иван Григорьевич пришлет сюда подводу.

Треск огня заглушил ее голос, и Василек, ничего не слыша, по-прежнему неподвижно стоял в нескольких шагах от горящего самолета. Его губы были сжаты, тонкая ребячья шея вытянута.

— Беги, Василек, за подводой!

Парнишка вытер тыльной стороной ладони глаза, тяжело вздохнул и молча побрел по лесной просеке.

Зося машинально сняла с головы берет, скомкала его, затем опять натянула на пышные темно-русые волосы. Склонилась над летчиком, всматриваясь в его лицо. «Неужто не очнется, не придет в себя? Неужели это конец?..»

Разбитые губы летчика слегка вздрагивали. Ему, вероятно, хотелось вздохнуть глубоко и свободно, но он никак не мог этого сделать: болела грудь.

Еще ни разу не случалось Зосе, красавице и смехотунье Зоське, оказываться в таком трудном положении. Шла из села на связь с партизанами, и вдруг эта беда, страшная беда! На шоссе, совсем близко, — немцы, а она, точно завороженная, не может шевельнуть рукой, и ноги словно одеревенели. Эх, Зоська, Зоська, отчаянная ты душа! Ну тащи же летчика в лес, спасай его, пока не поздно!

Раненый чуть приоткрыл рот. Задышал ровнее, глубже. Сейчас очнется!.. Может, нет никакой раны, может, просто ушибся? На лбу, правда, глубокая ссадина, к ней прилипла прядь русых волос. Да это все пустяки, быстро заживет.

Летчик открыл наконец глаза. Спокойно, сосредоточенно посмотрел на девушку. В уголках его губ затеплилась вымученная улыбка. Вдруг он что-то услышал, весь напрягся.

— Уходите отсюда!.. Быстро!.. Слышите? Немцы! — зло бросил он, будто эта лесная фея могла помешать ему достойно встретить врагов.

Но зеленый берет упрямо клонится к нему. На девичьем лице — испуг и радость. Девушка нервно кусает

губы, вот-вот заплачет. Летчик с мучительной тревогой смотрит в сторону березняка, за которым все явственнее слышатся чужие голоса. Туда же смотрит и Зося.

— Вы не бойтесь! — говорит она почти спокойно. — Мы заберем вас. Скоро будет подвода. Тут совсем недалеко.

— Документы у меня... — неожиданно вспомнил летчик и стал торопливо ощупывать изуродованными пальцами нагрудный карман под тужуркой.

А Зося уже копала в песке ямку. Летчик, вынув из кармана документы и продолжая держать их в руке, искоса посматривал на девушку, наверное еще не вполне осознавая, что она хочет сделать. Зося взяла у него пакетик с документами, завернула в свой берет, положила на дно ямки и одним ловким движением засыпала песком.

Голоса за деревьями становились все громче.

— Уходите! Вас убьют! — требовательно повторил летчик, и лицо его исказилось гримасой отчаяния. — Ну!.. Уходите же! Уходите!..

Шум за березняком нарастал. Все отчетливее слышались шепот, смех, выкрики команд. Зося продолжала стоять на коленях возле летчика. Руки ее неподвижно лежали на холодной коже его тужурки.

— Флигер! Флигер! [1] — несется из-за деревьев.

Немцы совсем близко. Их ярко-зеленые шинели мелькают между березками.

— Флигер! Вир габен ин! [2] — разносится по лесу.

Зося встала, чувствуя, как от колен по всему телу расходится ломящий холодок. Вокруг уже не видно деревьев — со всех сторон накатываются немецкие шинели. А на поляне возвышается догорающий остов самолета. Огонь лижет обшивку, рвется к небу. Застывшие неподалеку тонкие березки, кажется, до смерти напуганы, оцепенели от жалости и исходят слезами от горького дыма.

По шоссе нескончаемым потоком движутся вереницы машин и подвод с немецкими солдатами. Грудастые бельгийские битюги тянут на прицепах пушки. Слышится пьяная песня какого-то вояки, что примостился на ору-

---

[1] Летчик! Летчик! (*Нем.*)
[2] Летчик! Нашли! (*Нем.*)

дийном лафете. Однотонно поскрипывает губная гармошка.

Небо слегка проясняется. Пробившись сквозь осенние тучи, неяркое солнце устало смотрит на Зосю. Девушка с грустью глядит на небо, так как смотреть больше не на что — вокруг одни немцы в длиннополых шинелях — усталые, безразличные, угрюмые. А небо такое же, как всегда, как было утром, как будет завтра, послезавтра, через неделю, год...

Немцы сгрудились возле летчика, который лежит на обочине дороги в расстегнутой тужурке, с широко раскинутыми в стороны руками. «Русиш ас! Прима!» — гогочут солдаты. Кто-то пытается снять с летчика сапоги. Кряжистый фельдфебель заглядывает под тужурку пленного, видит на его груди Золотую Звезду. Лицо фельдфебеля делается почтительно-важным. Он расталкивает солдат, пытается отогнать их подальше.

— Вег! Вег! [1] — с требовательным самодовольством покрикивает он.

Ему, упитанному здоровяку из обозной команды, просто невмоготу от привалившей удачи. Два года топал он по тыловым дорогам, о наградах и думать перестал, а тут вдруг — русский летчик с Золотой Звездой. Он, фельдфебель, взял в плен русского аса!

Неожиданно возле сгрудившейся толпы останавливается штабной автомобиль, закамуфлированный, полосатый, издали чем-то напоминающий экзотическое животное далекого юга. Вслед за ним скрипнул тормозами другой, такой же открытый, развалистый оппель. Из передней машины вышли два офицера. Обрадованный фельдфебель бросился им навстречу. Выпучив глаза, громко доложил о случившемся.

Один из офицеров, в черном дождевике, бледнолицый, с густыми, точно подкрашенными, бровями, прошел прямо к толпе. Остановился возле летчика. Нагнулся. Рукой в серой перчатке приподнял полу кожаной куртки. Глаза его вдруг потемнели, сделались строгими и злыми.

Другой офицер, молодой и красивый, перетянутый широким ремнем, стоял чуть в стороне. Выставив вперед правую ногу в начищенном до блеска остроносом сапоге, он ритмично постукивал ею по грязному асфальту.

---

[1] Прочь! Прочь! (*Нем.*)

— Вас ист да льоз? [1] — вежливо спросил он своего старшего попутчика. В уголках его нежно-розовых губ таилась добрая юношеская улыбка.

Высокий офицер в черном дождевике выпрямился. Теперь от его грозного взгляда веяло холодом.

— Дизе идиотен габен ден летцтен бефель фон Штеммерман фергесен, — произнес он ворчливо, обернулся к фельдфебелю и как бы придавил его своим ледяным взглядом. — Ду, менш! Русишер флигер ист унзер фунд! Ихь неме ин мит [2].

Раненого летчика осторожно укладывают в задний автомобиль. Туда же сажают и Зосю. К ним втискиваются охранники, пьяно-беспечные и крикливые. Зося, низко опустив непокрытую голову, жмется к сиденью, застывает клубочком боли и безнадежности. Посиневшими от холода пальцами придерживает полы пальто.

Фельдфебель с надеждой пожирает глазами высокое начальство. Он так рассчитывал на внимание! Хотя бы одно доброе слово! Но машины трогаются, пыхнув ему под ноги синим дымом. Колеса тяжело буксуют по неровному шоссе. Фельдфебель зло кричит на солдат, срывая на них досаду, натягивает на уши пилотку и неторопливо бредет к своей подводе.

2



штабе 11-го армейского корпуса майора Блюме считали строгим, волевым службистом. Многие штабные офицеры не только уважали его, но и откровенно побаивались. Адъютант командующего генерала Штеммермана обладал способностью любого привести в смятение своим проницательным взглядом, умел, как говорили в штабе, вогнать человека в холодный пот и вывернуть наизнанку.

Довольно молодой, стройный, высокий, с бледным продолговатым лицом, Блюме выглядел типичным пред-

---

[1] Что там такое? (*Нем.*)

[2] Эти идиоты забыли последний приказ Штеммермана... Ты, приятель! Русский летчик — наша находка. Я забираю его с собой. (*Нем.*)

ставителем арийской расы. Его голубые глаза под широкими черными бровями, казалось, постоянно таили в себе скрытую угрозу.

На одном офицерском банкете генерал Штеммерман сказал своему коллеге генералу Маттенклоту: «Я имею адъютанта, твердости и волевым качествам которого может позавидовать каждый. С таким можно дойти до самой Индии. Настоящий рыцарь арийской крови!» Стоявший рядом Блюме в ответ на высокую похвалу почтительно наклонил голову, стукнул каблуками и скупо улыбнулся: он знал, что генерал не кривит душой. Он, майор Блюме, и в самом деле не жалел для службы ни сил, ни времени, был точным и исполнительным офицером, который никогда не подводил начальство. Эти качества своего адъютанта генерал Штеммерман ценил особенно высоко.

Однако сидевший рядом с Блюме в машине обер-лейтенант Кирш догадывался, что майор не такой уж ретивый службист, как могло показаться с первого взгляда, и не только арийской верностью преисполнено его сердце. Кирш знал, что Блюме хорошо разбирается не только в тонкостях военной субординации, но и в секретах человеческой психологии, владеет множеством незаурядных качеств, которые помогают ему прочно держаться возле старого генерала. Чего доброго, через год-два адъютант и сам нацепит на мундир генеральские погоны! А что? Будет командовать войсками ничуть не хуже того же Штеммермана или старика Маттенклота.

Кирш не впервые встретился с майором Блюме. Как офицер связи при штабе 112-го полка, он нередко отвозил в корпус секретные донесения майора Гауфа. Кирш очень любил такие поездки, приносившие некоторую разрядку после обременительной окопной жизни, и особенно любил потолковать по душам с майором Блюме.

В это утро Блюме сам приехал к ним в полк на «Восточный рубеж» [1]. Вместе с Гауфом внимательно осмотрел систему траншей, главные опорные пункты, отметил что-то у себя на карте. Потом был сытный обед под открытым небом, возле позиции зенитной батареи, в патриархально-уютной тишине, прямо под шелестящей на

---

[1] Или «Восточный вал» — так называли гитлеровцы систему долговременных укреплений вдоль Днепра. (*Прим. авт.*)

ветру бронзоволистой грушей. Во время обеда обер-лейтенант Кирш впервые почувствовал в голосе корпусного адъютанта какие-то скрытно-колкие нотки. Когда трапеза кончилась, Блюме и Кирш пошли побродить по селу. Увлекшись разговором, не заметили, как оказались на одинокой, угрюмой круче, с которой открывалась затянутая голубоватой осенней дымкой привольная панорама Левобережья Днепра.

Всматриваясь в горизонт, над которым растекались далекие дымы пожарищ, Блюме сказал, что там сейчас проходит линия фронта, отступающие немецкие части жгут деревни, осуществляя тактику «выжженной земли». В тоне его глуховатого голоса обер-лейтенант Кирш ощутил скрытую досаду. Поняв майора по-своему, обер-лейтенант невольно почувствовал жалость к нему и с бодрой, почти мальчишеской уверенностью сказал, что тактика «выжженной земли» непременно даст нужный эффект и русские уже не смогут пробиться за Днепр дальше оборонительных рубежей «Восточного вала», о котором теперь твердит весь мир. Им придется всю зиму оставаться на опустошенной безлюдной равнине. А когда на следующую весну они попробуют взять штурмом днепровские бастионы, тогда...

«Вы уверены, что русские будут ждать до весны? — непривычно грубо перебил его Блюме, и в глазах майора, как показалось Киршу, мелькнуло что-то язвительное. — Вы уверены, что Конев и Ватутин меньше смыслят в стратегии, чем генерал Цейтлер, наш уважаемый начальник имперского штаба?»

«Для чего же тогда мы сжигаем дотла деревни, разрушаем города, герр майор?! — с искренним удивлением воскликнул молодой офицер. — Ведь на войне все должно иметь определенный смысл!»

«Тотальная война, мой друг, не всегда учитывает то, что вы называете смыслом. Вы должны знать, обер-лейтенант, что такое тотальная война... — Майор точно осекся на слове, обжег посторонним взглядом Кирша, а после небольшой паузы добавил с легкой бравадой: — Ницше говорил: война есть смерть, и тот, кто жалеет врага, не жалеет себя самого».

Киршу послышалась в этих словах тонкая насмешка, и он с чувством обиды, а может, просто от сознания своей неспособности до конца разгадать майора мрачно уста-

вился в землю, долго молчал и лишь на обратном пути с чуть заметным раздражением произнес:

«Я не знаю, что говорил Ницше о тотальной войне, и вообще не терплю его философских постулатов, герр майор, но я верю в нашу победу. И мне жаль, что вы ведете себя порой неосторожно. У нас в полку много говорят о скандальном провале генерала Маттенклота и о вашей, простите за откровенность, рыцарской защите его...»

«Рыцарской?! — изумленно вскинул брови Блюме. — Должен вас разочаровать, обер-лейтенант. Никакого рыцарства с моей стороны, да, собственно, и никакого скандала не было. Всего лишь ничтожная штабная интрижка, из тех, которыми пробавляются иногда высокие чины для поддержания боевого духа... Старика Маттенклота давно уже не жалуют в имперской ставке, считают наивным чудаком с манерами фридриховских времен. Вы знаете, что своими добропорядочными причудами он намного превосходит даже моего шефа. Чтобы свалить Маттенклота, а проще говоря, избавиться от беспокойного старца, некоторые «умные» головы начали против него кампанию клеветы, хотели втянуть и меня, но я дал понять, что никогда не был и не буду клеветником. Я офицер! Мое дело — штабная служба и русская кампания. К тому же в душе я тоже немного старомоден, испытываю слабость перед нашей милой филистерской стариной».

«Я слышал, герр майор, вам обещали пост начальника оперативного отдела корпуса?»

«Да. Если бы я согласился поддержать измышления против старого Маттенклота, в штабе сорок второго корпуса меня ждало неплохое местечко. Но, дорогой Кирш, мы живем не во времена Римской империи. Я не Гай Марий, а Маттенклот не Цецилий Метел[1]. Интриги давно

---

[1] Античный мир не знает истории более вероломной и грязной, чем длительная, наполненная жестокостями и коварством борьба за власть римского военачальника Гая Мария. Добившись в Риме высоких почестей и могущества, Марий совершал предательство за предательством, продавал друзей, чернил своих начальников. Как пишет Плутарх, во время войны Рима с нумидийцами Марий, будучи офицером римской армии, решил устранить главнокомандующего Цецилия Метела. Он пользовался самыми грязными приемами, чтобы оклеветать Метела: заигрывал с солдатами, устраивал провокации и в конце концов достиг желаемого поста. Некоторые историки называют Мария античным Маккиавели. (*Прим. авт.*)

утратили свой романтический блеск. От них попахивает гнильцой. И потом меня вполне устраивает должность адъютанта генерала Штеммермана, дорогой Кирш».

Разговор на днепровской круче оставил в юношеской душе обер-лейтенанта горьковатый привкус неудовлетворенности, ощущение какой-то недосказанной правды. Киршу хотелось слышать другие слова. Он улавливал их в тоне майора, ждал их и боялся.

Из полка майор Блюме выехал в штаб корпуса вместе с Киршем. Обер-лейтенант вез секретный пакет. Задание было срочное и сопряженное с определенным риском. Киршу даже дали охрану. И вдруг в пути это происшествие с русским летчиком, с красавицей партизанкой. Как понять майора? Зачем он захватил с собой русскую девушку? Для грубых наслаждений после очередной попойки со штабниками?.. Обер-лейтенант не допускал мысли, что интеллигентный, с изысканными манерами корпусной адъютант способен соблазниться туземкой, уподобиться мужланам-солдафонам, которые скрашивают свою фронтовую жизнь пьянством и развратом. Возможно, Блюме не лучше других? Может, его внешний аристократизм — только ширма?

Кирш беспокойно заерзал на мягком сиденье оппеля, демонстративно выпятил грудь и твердо сжал колени. К черту романтику! Сестра пишет из Берлина, что получила повестку явиться в управление трудовой повинности. Ей придется работать па танковом заводе «Панцернорд верк», стать полурабыней, полусолдатом. Теперь она непременно попадет в заводской цех. А у нее слабые легкие. Такие долго не выдерживают. Все кончится скоротечной чахоткой. Нация не имеет возможности и не хочет заботиться о слабых.

За машинами гналась золотая украинская осень, горела желто-красным листопадом на горбатых полях этого таинственного, зловеще-непокорного края. Под колесами — разбитое шоссе, в небе — прозрачные облака... И письмо сестры, письмо, на которое необходимо ответить. Сестра ждет его последнего слова, последнего совета.

— Господин обер-лейтенант! — прервал тяжкие раздумья Кирша майор Блюме. — Дорога на Корсунь прямо. Я, к сожалению, вынужден расстаться с вами. Меня ждет бригадефюрер Гилле.

— Вы передадите пленных в гестапо?

— Да... возможно.

— Но, герр майор, вы только представьте себе: эта девушка — в руках эсэсовцев, в руках Гилле... Простите меня, герр майор, я не смею думать, что вы... — На юношеском, почти детском лице Кирша проступило отчаянное волнение. — Вы благородный человек, герр майор... В конце концов, отправьте ее в лагерь военнопленных.

Блюме положил руку на плечо Киршу, с минуту задумчиво смотрел куда-то вдаль, потом резко обернулся, глянул обер-лейтенанту в глаза. Милый, сердобольный Кирш! Совсем еще мальчик, с юной, чистой душой! Что ему скажешь? Как объяснишь железную логику времени? Может, так вот и рождается первое взаимопонимание между людьми? Чистые души легче находят общий язык, мерзость окружающей действительности открывает им глаза, помогает увидеть правду. Да, наверное, так и есть. Однако рано еще, рано.

— Вы давно в партии, Кирш? — спросил Блюме, вглядываясь в лицо обер-лейтенанта с неясной надеждой.

— С сорок первого, герр майор, с того самого дня, как начался наш победный поход на Восток.

— Скажите откровенно, Кирш, вы вступили бы в партию теперь, ну сейчас, когда наши войска отступают и фюрер вынужден выравнивать фронт от Волги до Днепра?

— В тяжкую годину моей отчизны...

— Вы до сих пор повторяете, как клятву, слова своего штурмфюрера из «гитлерюгенда». Речь не об этом, Кирш. Я спрашиваю: если бы вам предложили вступить в партию сейчас, как бы вы отнеслись к этому?

— Все равно, герр майор... — Кирш словно обо что-то споткнулся, голос его погас, в нем послышалась неуверенность. — Все равно, — повторил он, отводя глаза в сторону. — Я верю в тысячелетнюю германскую империю. Иначе трудно жить, тяжело бороться, герр майор.

— Но вы, однако, не хотите, чтобы я передал пленных в руки бригадефюрера Гилле?

— Не хочу, герр майор. Из чисто человеческих соображений. Война закончится, а люди останутся людьми, должны остаться.

— Наивный оптимизм молодости! — тяжело вздохнул Блюме, и его густые брови будто сделались чернее, тень от них отразилась в голубых глазах. — Каким будет конец войны, такими останутся и люди. Но об этом пусть

судят философы, Кирш, а вам я обещаю, что бригадефюрер Гилле не получит удовольствия. Я надеюсь, что этот разговор останется между нами. Вы понимаете?

— Герр майор!—выпрямился взволнованный Кирш.— Клянусь именем моей матери!

— Прекрасная клятва, друг мой.

— Никому ни слова, герр майор!

— Я верю вам.

— Спасибо, герр майор.

— За что? За веру? — Брови майора вновь нависли хмурым козырьком над зоркими глазами. — В конце концов, может, и так: за веру в наше будущее. Ну что ж, обер-лейтенант, поживем — увидим. Как сказал древний Саади: слушайтесь своего сердца, оно никогда не изменит.

Он тронул за плечо водителя. Машина остановилась. Сзади скрипнул тормозами оппель. Кирш должен ехать прямо, вон туда, где виднеется за горбатыми полями Корсунь, а ему, майору Блюме, нужно налево: в лесную неизвестность, к грозному эсэсовскому генералу Гилле. Путь незнакомый, в лесу партизаны, но это не так страшно, ничего с ним не случится. Он поедет без охраны, вдвоем с водителем. И двое пленных. Пусть солдаты перенесут летчика сюда, на заднее сиденье. Рядом с ним сядет фрейлейн. Вот и все! Можно прощаться. Добрый, простодушный Кирш! Он уже стоит возле своей машины, руки по швам, локти по давнему прусскому ритуалу разведены немного в стороны. До свидания, обер-лейтенант! Помните, что надо слушаться своего сердца. Саади был мудрым человеком, его мудрости хватит на весь мир.

— Будьте осторожны, герр майор.

— Спасибо, Кирш! Только это не лучший способ сохранить жизнь.

Оппель Блюме сворачивает налево, в сторону укрытых багряными лесами кряжей. Машина Кирша с ходу набирает скорость и несется к древнему Корсуню.

Дует, мечется ветер над полями. В сером осеннем небе застыло неяркое солнце.

К лесу вела гладкая, хорошо наезженная дорога, и машине сразу будто полегчало. Водитель нажал на акселератор. Мотор упруго загудел, и оппель, захлебываясь встречным ветром, стремительно понесся вперед. Бежав-

шие по сторонам поля затанцевали в дикой пляске, деревья испуганно бросились врассыпную.

Зося сидела на жестком брезентовом свертке, чувствовала во всем теле страшную усталость. Цепляясь мыслями за отрывочные воспоминания, мучительно старалась что-то уяснить, что-то придумать, на что-то решиться. Если бы полковник Хонн, красивый, молодцеватый полковник Хонн с усиками-стрелками и золотым блеском глаз, узнал про ее теперешнее положение, он взбесился бы от досады. Может, сказать этому немцу в черном дождевике, что она, Зося, имеет надежного покровителя? Среди офицеров корсуньского гарнизона у нее есть влиятельные поклонники: сам командир эсэсовской дивизии «Викинг» бригадефюрер СС Гилле целовал ей руку на одном шумном офицерском банкете.

Нет, пожалуй, не стоит напоминать о знакомстве с Гилле. Это лишнее. Ведь майор в черном плаще, как она догадывается, везет их именно к этому очкастому зверю, лысому живодеру. Значит, встреча неизбежна. Эсэсовец, наверное, удивится. Непременно вспомнит об их беззаботно-веселой болтовне, когда они встречались на банкетах, о ее заразительно-озорном смехе, о милом кокетстве с престарелым генералом Штеммерманом.

Зоська, Зоська! Как же это ты просчиталась? Ведь за такие просчеты платят головой. Где же твоя находчивость, твоя ловкость? Летчик у горящего самолета... непрошеные слезы... жалость... Пожалела летчика, погубила себя... и его тоже... Полковник Хонн называл тебя великим украинским чудом, скифской красавицей, говорил, что ты можешь стать украшением любого европейского театра, а ты расчувствовалась над раненым летчиком, не сумела совладать с собой. Дорогой ценой заплатишь теперь за минутную слабость.

Развилка дорог. Направо — село Городище. Там — Гилле. Но они едут прямо. Наезженная колея змеится между возвышенностями, с обеих сторон наползает лес. Они все дальше забираются в лесную глушь. Все дальше, дальше, дальше.

Водитель жмет на газ, ведет бронированный оппель на предельной скорости. Долговязый майор в черном дождевике что-то громко говорит ему, показывает на деревья. Он, вероятно, знает эти места и прикидывает, где удобнее остановить машину.

Колеса подскакивают на корневищах, оппель бросает из стороны в сторону, трясет. Летчик прижимает руку к груди, болезненно стонет, вот-вот свалится с сиденья. Зося видит, как майор, с тревогой оглянувшись назад, быстро наклоняется к водителю, что-то говорит. Водитель сразу сбавляет ход, с еще большим напряжением всматривается в неровную дорогу, часто притормаживает, осторожно объезжает колдобины.

Зося неотрывно глядит на его сильные рабочие руки, уверенно поворачивающие баранку руля то в одну, то в другую сторону. Вдруг непонятное чувство охватывает ее душу. Тревога и неясная надежда как бы сливаются вместе. Странный все-таки этот розовощекий немец с напряженным взглядом! Удивительная дорога, ведущая в лесную, безлюдную глухомань! Похоже, тут никогда не было немецких постов, в лесные хутора заглядывали разве только полицаи. «Не боятся... Будто нарочно забираются все дальше. Кого-то ищут?»

Высокий, вытянув шею, внимательно смотрит между деревьями, потом неторопливо кладет руку на плечо водителю. Тот понимающе кивает.

Машина съезжает на обочину. Мотор зачихал и смолк.

Зося испуганно жмется к летчику. В груди ноет. Тело охватывает томительный страх. Она смотрит на летчика и невольно загораживает его руками. Что собираются делать немцы? Почему остановились тут, в лесу? Рятуйте, люди!

Летчик, наверное, почувствовал дрожь ее рук. Опершись на локоть, с трудом приподнял голову. На нем уже не было шлема — остался там, на обочине шоссе. На рассеченный лоб упали светлые, свалявшиеся волосы. Летчик открыл глаза, посмотрел в небо — серовато-голубое, близкое, безразличное. Повернул голову в сторону, увидел немецкую фуражку с высокой тульей. Лицо исказила гримаса отчаяния.

— А-а-а!.. — протянул он и сжал губы, словно подавляя резкую боль.

Майор Блюме быстро вышел из машины, открыл заднюю дверцу, чуть торжественным голосом произнес:

— Товарищ!.. Фрейлейн!.. Не бойтесь! Вы остаться здесь. Мы помогаль вам как можно. — Он похлопал по плечу водителя. — Мой камрад тоже помогаль. «Фрайес Дойчланд»... Москва... Мой камрад... Мы просим вас искать свой товарищ.

Водитель между тем принялся за работу. Смешно ползая на четвереньках, сгребал в кучу листья и хвою, устраивал для летчика подобие лесной постели, старался так, что на лоб из-под выгоревшей пилотки сбегали крупные капли пота.

Из машины летчика переносили втроем. Зося бережно поддерживала ему голову и с тихим удивлением заглядывала в глаза, словно хотела сказать: «Я и сама не верю тому, что происходит». Водитель встал на колени, еще раз разровнял хвою и листья, затем осторожно уложил раненого, удовлетворенно сказал:

— Гут! Зеер гут, герр майор!

Блюме широким шагом прошел к машине. Открыл дверцу, сел, достал из планшета листок бумаги, авторучку, стал что-то писать. Писал долго, насупившись, время от времени потирая пальцами левой руки крутой лоб, вероятно, обдумывал каждое слово. Перечитал написанное, позвал водителя:

— Курт!

Показал ему бумагу. Тот быстро прочел и радостно закивал. Оба тихо и удовлетворенно улыбнулись.

Вновь хлопнула дверца оппеля. Майор и розовощекий водитель подошли к Зосе. Блюме дружески взял ее за локоть и, улыбаясь, вручил плотный, гладкий, похожий на картон листок, на котором в верхнем правом углу чернел большой герб вермахта, а внизу, под ним, что-то было написано по-немецки аккуратным, ровным почерком. Это — документ. Если фрейлейн встретится с немецкими солдатами или офицерами, она может предъявить его. Но только в случае крайней необходимости. Фрейлейн, безусловно, понимает, почему так?.. Да, да, могут быть неприятные последствия для него, майора Блюме. Очень жаль, что сейчас нет времени для более подробного разговора, но, возможно, они еще увидятся. Фрейлейн, если ему не изменяет память, знакома с генералом Штеммерманом и бригадефюрером Гилле. Это так, между прочим. Главное, что они теперь друзья, единомышленники.

Блюме наклонился к летчику, вероятно, хотел что-то сказать на прощание и ему, но Задеснянский лежал с закрытыми глазами, будто в забытьи, и майор лишь нерешительно дотронулся до его плеча. Выпрямился, вынул из кармана вальтер, положил рядом с изголовьем раненого. Достал две запасные обоймы, тоже положил на землю.

Выпавший из обоймы патрон тускло блеснул в лучах вынырнувшего из-за тучи солнца.

Густые брови немца были нахмурены, бледное, продолговатое лицо выглядело усталым и настороженно-задумчивым. Нагнувшись, чтобы поднять патрон, он машинально поправил левой рукой висевший на шее почти под самым кадыком Рыцарский крест с бриллиантовыми зернышками.

Зося зачарованно смотрела на пистолет. Синеватый блеск стали гипнотизировал ее. Ей казалось невероятным все, что происходило вокруг. Это был какой-то радостный и одновременно пугающий сон. Разве не везли ее только что к бригадефюреру Гилле? Всю долгую дорогу она думала о предстоящем допросе, об ухмыляющемся звериной улыбкой Гилле, о возможных пытках. И вдруг этот лес, сурово-задумчивый взгляд немецкого майора, добродушная, совсем дружеская улыбка круглолицего водителя!

— Фрейлейн! Девушка! Комен зи гер! — позвал ее стоявший возле машины шофер. Когда Зося подошла, он дружески положил ей на плечо большую, пропахшую бензином и табаком руку, кивнул в сторону офицера. — Майор Блюме — товарищ Блюме. Понимайт? Мы хотим ждать вас, фрейлейн! Вы приходить к нам нах Корсунь. Майор Блюме — адъютант генераль Штеммерман. Понимайт!

— Да, да, конечно, понимаю, — почему-то виновато улыбаясь, торопливо ответила Зося. — Я обязательно... Да, да, я буду в Корсуне, я рада встрече с вами.

Последние слова она произнесла с такой искренней признательностью, что оба немца невольно переглянулись и приветливо закивали.

— Вам большой-большой спасибо, фрейлейн! Мы вместе с вами делаем... Как это по-российски?.. Делаем большой, исторический дело. Понимайт?

Розовощекий водитель, вероятно, был человеком добрым и словоохотливым. Ему не хотелось расставаться с девушкой, не высказав ей всего, что волновало его, что было делом всей его жизни. Но майор Блюме уже сидел в машине и с явным беспокойством посматривал на часы.

Опустив стекло, он строго сказал:

— Гёхсте цайт, Курт! — Помахал рукой Зосе: — Аллес гутес, фрейлейн! [1]

---

[1] Пора ехать, Курт! Всего хорошего, девушка! (*Нем.*)

Водитель тем временем достал из-под сиденья большую жестяную коробку, вновь подошел к Зосе и со словами: «Унзер кляйнер презент, фрейлейн!» — высыпал у ее ног содержимое своего запасника: несколько банок консервов, завернутые в целлофан галеты, маленькие пачки концентратов.

— Ауф видерзеен, девушка! Рот фронт!

Он поднял вверх сжатую в кулак руку, потом быстро взял Зосю за кончики пальцев, поднес к губам ее ладонь и коротко поцеловал.

Загудел мотор. Многоцветный камуфлированный оппель поплыл меж деревьями и вскоре исчез.

Летчик устало повернул к Зосе голову.

— Рот фронт, фрейлейн! — произнес он с болезненной улыбкой, сжал пальцы правой руки в кулак, но так и не смог поднять его. Ему хотелось сказать Зосе еще что-то ласковое, шутливое, однако силы опять оставили его. Беспомощно улыбнувшись, он закрыл глаза.

3



Капитану Зажуре никто не писал с начала войны. Письма искали счастливых, а он, Зажура, не считал себя таковым, поэтому всякий раз безучастно, даже с некоторой иронией наблюдал, как взволнованно встречали сестру, приносившую почту, товарищи по палате. Заранее знал: его фамилию не назовут, поскольку ждать писем ему не от кого.

Но однажды утром старшая сестра сказала:

— Вот тут записка капитану Зажуре. Если спит, не будите, положите на тумбочку.

— Наконец-то и Зажуре письмо! — обрадовался за товарища юркий, рыжебровый лейтенант, схватил костыль и заковылял к порогу. — Долго, видать, шло.

— Да не письмо вовсе. Записка. — Сестра понизила голос до шепота. — Снизу кто-то передал.

— И то дело, сестричка. Давай сюда, давай!

Лейтенант сам был из тех, кого не баловала судьба: он тоже не получал ни писем, ни приветов. Может быть, именно поэтому с такой мальчишеской радостью схватил записку и стал тормошить Зажуру.

— Просыпайтесь, товарищ капитан! Подъем!

Максим сонно крутнул головой. Он не признавал чудес и не любил, когда его разыгрывали. От кого может быть ему письмо? Бессмыслица!

Лейтенант продолжал стоять возле койки, опираясь на костыль и держа в руке бумажку.

— Значит, не вам? А я думал, у нас один Зажура!

Максим окончательно проснулся, приподнялся на локте, взял записку. Когда собственными глазами увидел свою фамилию, написанную химическим карандашом на свернутом вчетверо тетрадном листке, почувствовал, как в груди потеплело.

— Спасибо! — кивнул он лейтенанту. — В самом деле мне.

Лейтенант шагнул к окну, но тут же обернулся: ему очень хотелось знать, что в записке.

— От кого? — не выдержал он.

Зажура быстро поднялся, надел халат. Если бы он знал от кого! Неопределенно пожал плечами, как-то виновато улыбнулся лейтенанту и почти бегом направился по коридору к выходу.

В записке было всего два слова: «Выйди, Максим!» — и никакой подписи. Непонятное послание таинственного посетителя. Как в детективном романе!

Вот и просторный вестибюль. В мирное время тут гудела школьная ребятня, а сейчас во всем чувствовалась мрачная суровость госпиталя: сложенные горкой брезентовые носилки за деревянным барьером гардероба, санитар, набивающий мешок грязными бинтами, белые халаты на подоконниках.

Максим достал из кармана пачку трофейных сигарет, щелкнул зажигалкой — и вдруг:

— Да вот он, товарищ генерал!

Зажура сразу понял, что это о нем. У каждого человека есть какой-то особый, загадочный нерв, который помогает среди множества разнообразных звуков и голосов почти безошибочно отличить голоса и звуки, относящиеся к нему, и ни к кому другому.

Максим обернулся, замер в выжидательной позе. К нему подошел пожилой мужчина в военном полушубке и обычной шапке-ушанке, на которой алела красная партизанская ленточка. Чуть позади остановился высокий, плотный генерал, тоже в полушубке, но в отличие от пар-

тизана в серой, немного сдвинутой назад каракулевой папахе.

Зажура и партизан молча пожали друг другу руки. Максим во все глаза смотрел на неожиданного посетителя, хмурил брови, стараясь припомнить, кто бы это мог быть.

— Вот ты какой, Максим? Довоевался, значит! — невесело выдавил из себя партизан.

— Так точно! — подтвердил Максим тоном человека, который медленно, но уверенно приближается к радостному для себя открытию. И неожиданно будто кто шепнул ему в ухо: «Ведь это Плужник! Дядька Плужник — председатель Ставкинского колхоза!..» — Андрей Северинович!—радостно воскликнул он.—Как вы сюда попали? Как разыскали меня? — Он крепко обнял правой, здоровой, рукой старого партизана, горячо и нежно, как родного отца, трижды поцеловал в губы.

— Благодари товарища генерала, Максим! — степенно сказал партизан и обернулся к генералу: — Оце ж вин и е, товарищ генерал, наймолодший Зажура.

— Вижу, Андрей Северинович, — тихо и торжественно произнес генерал. — Узнаю Захарову кровь. Мальчонкой видел его, а все равно узнаю.

И опять густые Максимовы брови сосредоточенно сдвинулись. Генерал подошел ближе, положил сначала одну руку ему на плечо, потом другую и рывком притянул Максима к своей широкой груди.

— Ну, здравствуй, земляк!

— Здравия желаю, товарищ генерал! — громко отчеканил Максим. Посмотрел генералу в лицо и улыбнулся: — Только я вас, простите, не припоминаю.

А между тем все было просто. Генерал — давний друг Максимова отца. Еще в гражданскую сроднила их боевая судьба. И вот, словно горячий всплеск прошлого, сын Захара, рослый, немного грустный капитан с перевязанной несвежими бинтами шеей.

Дивизия генерала Рогача шла по Корсуньщине, спеша за танковым соединением. Самого же генерала неожиданно вызвало по срочному делу корпусное начальство. В штабе Рогача познакомили с Андреем Северинович Плужником, партизанским командиром, бывшим председателем Ставкинского колхоза. Они быстро договорились о взаимодействии в предстоящих боях. От служебных дел

перешли к воспоминаниям и сразу почувствовали чуть ли не родственную близость: долго говорили об общих довоенных знакомых и друзьях, перенеслись мыслями в молодость. Генерал предложил зайти в госпиталь, недавно вместе с армейскими тылами перебазировавшийся в городок. И тут, в госпитале, они услышали знакомую обоим фамилию: Зажура.

Собственно, началось с того, что пожилой, несколько старомодный военврач — начальник госпиталя — пригласил их отобедать. За столом неторопливо говорили обо всем понемногу, прежде всего, конечно, о раненых из дивизии генерала Рогача. Начальник госпиталя не то в шутку, не то всерьез пожаловался комдиву, дескать, ему, старику, не дают покоя выздоравливающие бойцы и командиры. Едва поднимутся на ноги, сразу требуют — выписывай из госпиталя, отправляй в часть! Вот тогда-то доктор и назвал капитана Зажуру. Он, правда, из другой части, не генерала, но, по словам врача, настойчивее многих: каждый день надоедает просьбами о выписке, докучлив до невозможности. Совсем недавно пластом лежал, а чуть начал поправляться, сразу рапорт: прошу направить в часть! Плужник поинтересовался, как зовут капитана. Доктор назвал имя. Тут-то и задумались командиры: не приходится ли раненый капитан сыном Захару Сергеевичу Зажуре? Решили узнать.

— Вот так мы и разыскали тебя, Максим! — подытожил свой рассказ Андрей Северинович. Туго затянутый пояс перехватывал ему дыхание, но старик считал себя молодцом, способным терпеть это неудобство ради того, чтобы выглядеть бравым командиром-фронтовиком. — Зараз будем пробиваться прямо в наши Ставки. Чуешь, что у нас тут творится, Максим? — Голос Плужника стал таинственно-важным. — Окружили немца, зажали в кольцо. Войска двух фронтов соединились возле Звенигородки и устроили гитлеровцам крепкий котел. Ну, об этом ты, наверное, слышал! Войска Конева и Ватутина! Огромная силища! И наши Ставки уже освобождены.

— Бои идут в районе села. Немцы еще сопротивляются, — сухо поправил его генерал.

— Вот, вот! Слышишь, Максим, как дело-то повернулось? — Плужник провел по своим пышным, присыпанным седой изморозью усам.

Да, Максим слышал. Его сердце стучало радостно и взволнованно. Ставки освобождены. Теперь все как прежде. Можно возвращаться в родной дом, как когда-то приезжал он на летние каникулы из Харькова.

Поезд приходил обычно рано утром. От станции Максим пешком добирался до села. Дома в эту пору — ни души! Отец в поле, мать — в читальне или в районе на учительском совещании. Дверь на защелке, ключ в условном месте под порогом. В прохладной горнице чисто и опрятно, воздух напоен крепкими травяными запахами. На стене, над высоким комодом — россыпь фотографий в рамках и без рамок. На окне — любимый фикус матери. Добрую треть избы занимает печь, до самого потолка разрисованная красными и синими цветами. Старая, добрая печь, дарившая ему тепло и ласку!

Начало войны застало Максима в Москве, в просторном номере гостиницы, где он остановился после возвращения из заграничной командировки. Как раз укладывал в чемодан вещи, собирался вечерним поездом выехать домой, когда в репродукторе прозвучало страшное слово — война! Поначалу он удивился, даже не поверил. Но война уже была фактом, стучала во все двери, тревогой отражалась на лицах людей.

В номер вошел товарищ Максима, тоже лейтенант, но старше по возрасту. Сообщил, что ему звонили из Наркомата и приказали явиться к двум часам. Наверное, снова пошлют за границу, возможно, в Соединенные Штаты.

— Только я решил никуда не ехать, — твердо сказал товарищ. — Буду проситься на фронт, в действующую.

— Напрасно! — возразил Максим. — Я бы с удовольствием поехал. Война через месяц-другой закончится, а такой командировки не скоро дождешься. Побывать в Америке!.. Нет, я бы не отказался.

— Через месяц-два, говоришь, война закончится? Блажен, кто верует. Ну, а что ты собираешься делать после войны?

— Домой поеду, в село. Жена у меня там. Красивая, умная, но с характером. Не видел ее почти два года. И расстались мы не совсем хорошо. Старший брат приедет из Киева. Отец мой работает в МТС агрономом, мать — учительница. Мы с братом каждое лето приезжаем к ним. Побудешь месяц в селе — точно заново родишься. Одним словом, полная идиллия! После финской соби-

рался съездить, не удалось — послали во Францию. А теперь вот опять...

— Идиллия, говоришь! — тяжело вздохнул товарищ.— Я тоже не против идиллии, не против отдыха.—Он сел на диван, в его глазах загорелся недобрый огонек. — Только вот я что тебе скажу, Максим: плохой из тебя пророк. Война эта, по-моему, не на месяц и не на два. Тут надолго. Не знаю, право, насколько, но, думаю, надолго. Потому и не хочу лететь в Штаты, лучше — сразу на фронт.

Прав оказался товарищ! Сколько уплыло с тех пор месяцев — не счесть! Близится четвертая весна, а он, Максим Зажура, все еще не побывал дома, в родных Ставках. И не известно, когда сумеет поехать туда.

От парадной двери тянуло сквозняком — санитары вносили раненых. Плужник рассказывал последние сельские новости. Улыбаясь, что-то говорил генерал. Зажура слушал их, но думал о своем. Он чувствовал, как вновь становится озорным деревенским пареньком Максимкой. Отошли куда-то в прошлое последние годы, забылись раны. Всем сердцем он ощущал возвращение к старому, давно знакомому и близкому. И так захотелось увидеть свое село, переступить порог родной хаты, что он не выдержал, спросил:

— А далеко отсюда до Ставков?

— Вот те на! — удивленно развел руками старый партизан. — Забыл ты, выходит, свои края. Оно, конечно, не так близко, ежели пешим ходом. Суток двое надо идти. Но теперь у нас техника. Ежели на машине или, к примеру, на танке — рукой подать... Что, домой потянуло? О родных, видать, стосковался?

— Домой не отпустят, — мрачно проговорил Зажура. — Скажите отцу, Андрей Северинович, что не по пути мне сейчас домой, не та дорога.

Он не хотел кривить душой перед Плужником и генералом, не хотел казаться беспечным и беззаботным. Сколько ночей провел в мечтах о родном доме, об отце и матери, о брате, а больше всего, пожалуй, о Зосе!

Плужник обернулся к генералу, понимающе прищурил глаза. Доктор сказал им, что капитана Зажуру порядком тряхнуло взрывом мины, пришлось делать сложную операцию. Но вот стоит он перед ними, и вроде ничего. Дело идет на поправку. Может, доктор преувеличивает опасность? Плужник оглядел Максима с ног до головы, даже

ощупал его забинтованную шею. Что ж, пожалуй, есть надежда, что начальник госпиталя внемлет просьбе капитана, отпустит его на месяц в Ставки, к родителям. В родном доме быстрее долечится, наберется сил. Само собой разумеется, при условии, что он, Максим, даст твердое обещание в течение месяца оставаться в селе, не возвращаться раньше времени в свою часть.

— Неплохая идея, — сказал генерал.

— Блестящая идея! — воскликнул Плужник.

Зажура прикрыл рукой глаза, радостно улыбнулся, мысленно представив себе, как придет домой. Утренняя тишина. Белый снег в саду. Проталины возле хаты. Он, Максим, в распахнутой шинели бродит по берегу пруда, вспоминает детские годы и на противоположном берегу видит стройную фигуру Зоси.

В тридцать девятом году — тогда он заканчивал третий курс университета — Зося приехала к нему в Харьков. «Ты просил, чтобы я приехала, и вот я здесь. Будем жить вместе, просто так, не расписываясь!» Он снял комнату, крохотную каморку неподалеку от Сумского рынка. Месяц спали на жесткой койке, без подушек. Целый месяц она усердно, не жалея сил, хлопотала по дому, бегала по магазинам, стояла в очередях, а в глазах ее все тяжелее залегала тоска, с каждым днем твердела и углублялась какая-то пустота.

Потом приехала погостить мать Максима. Глаза Зоси еще больше потускнели, она стала молчаливее. Начались неприятности. В тесной комнатушке вдруг сделалось совсем невесело и неуютно. Известно, жизнь молодых трудно налаживается и порой легко, очень даже легко портится. Возвратившись как-то из института, Максим еще в коридоре услышал жаркий спор между женщинами. Мать укоряла Зосю: «Он мальчишка, только на третьем курсе учится, а ты на шею ему вешаешься! Ну зачем ты сюда приехала?..» — «Не я вешаюсь ему на шею, а он мне не давал покоя. Жизни не стало от его писем. Каждый день одно и то же: приезжай да приезжай!» — «Будь умницей, Зося, возвращайся к отцу, — умоляюще проговорила мать. — На что тебе дался мой Максим? Разве мало в селе других ребят? Возвращайся домой, девочка, не мешай Максиму учиться. А если любите друг друга, это с вами останется. Вот кончит университет, тогда и поженитесь». Хлопнулась об пол тарелка. Зося выбежала из кухни в

коридор, красная, злая. Не взглянув на Максима, выскочила на улицу. А на следующий день, когда он был в университете, собрала свои вещи и уехала. На столе осталась записка: «Не знаю, люблю ли я тебя, но больше так не могу. Прости! Навеки твоя. Зося».

Про какой век думала? До какой поры оставляла его, когда писала эти жестокие слова?

— Как там Зося? — с душевной мукой на лице глянул Максим в глаза Плужнику.

Старик сначала отрывисто засмеялся. Смех его показался Максиму каким-то деланным, нарочитым. Потом Плужник расправил под поясом складки, примирительно сказал:

— Жива твоя Зоська, здоровехонька! — Секунду помолчав, добавил: — Все в порядке, Максим. Не кручинься.

Генерал взглянул на часы. Зажура перехватил его взгляд. Настало время решать: останется он в госпитале или поедет в Ставки.

— Пошли к начальнику госпиталя! — решил за него генерал. — Думаю, уговорим. Только так: месяц — из села ни шагу. А то я вашего брата знаю: вышел за госпитальную дверь — и сразу в часть, давай, дескать, мне роту. Если доктор отпустит, отвезу тебя домой. Вместе поедем.

Максим не думал в эти минуты ни о роте, ни о чем другом, кроме родного села.

— Спасибо, товарищ генерал! Если отпустят, я с радостью.

От волнения у него пересохло в горле. Какая-то острая льдинка сдавила сердце.

Из двери тянуло сквозняком, холодным и резким.

Гимнастерка была старой, солдатской, с чужого плеча, много раз стиранной, пахла дешевым мылом. Зажура подумал о своей гимнастерке, сшитой из добротного шерстяного материала. Ему стало жаль ее. Но тут же вспомнил, что гимнастерку всю залило кровью, и теперь, пожалуй, никто ее носить не будет.

Седоголовая сестра-хозяйка окинула Зажуру печальным взглядом, сокрушенно покачала головой. Скольких она вот так провожала в дальний путь! Кто еще живой,

а кому не надо больше никакой гимнастерки. Спаси их боже!

Зажура спешил, ему не терпелось. Подтянул ремень, постучал твердыми каблуками сапог по полу, надел шапку. Вот и все! Можно в дорогу. В сердце нарастала, ширилась волнующая радость. Правда, еще побаливало плечо и левая рука была словно чужой. Но это пройдет — впереди целый месяц. Доктор настаивал на непременном условии: месяц только отдыхать, по возможности не волноваться, каждое утро делать лечебную гимнастику. Боже мой, да он согласен на что угодно, лишь бы побывать дома, вместе с отцом, матерью, старшим братом и... конечно же, повидаться с ней, задиристо-веселой и колючей Зосей. Интересно, как она встретит его после стольких лет разлуки? Не забыла ли, что написала перед войной «навеки твоя»?

Дружба между ними завязалась давно, еще когда учились в школе. Вместе готовили уроки, зимой катались на лыжах, летом гуляли по лугу. Вместе бегали в соседние Пригары к кузнецу, где мастерили из жести ветряную мельницу. Вместе ездили в Корсунь осматривать плотину электростанции, что тянулась в кружеве белой пены от бывшего княжеского дворца до старого парка со столетними дубами и уходящими в небо каштанами.

Зося моложе Максима, и, может быть, поэтому он долго считал ее просто девчонкой, не замечал ее расцветающей красоты, оставался равнодушным к тому, что на нее все чаще заглядывались ребята-старшеклассники. Зосю сердило его равнодушие, и однажды она впервые пошла в клуб на танцы без него. Стала ходить туда каждую субботу, весело и беззаботно танцевала со страшеклассниками. Только тогда Максим разглядел, какая она красивая. А Зося, как бы дразня его, теперь все больше прихорашивалась, приходила в клуб в шелковом платье, в модных туфельках.

Как-то Зажуры всей семьей отправились в лес за еловыми шишками. Максим отстал от матери и брата, затерялся в глуши. Вдруг услышал хруст валежника. Оглянулся, а перед ним Зося, в короткой юбочке, ноги стройные, загорелые. Стоит и смотрит на него ласково, приветливо, с лукавой улыбкой в серых глазах. Может, давно смотрела, а он только увидел ее. Сердце у него дрогнуло и замерло, губы сделались жесткими, непослушны-

ми. В пору удрать, не видеть ее, да куда удерешь, если ноги приросли к земле и ни с места! А Зося подзывает его к себе, просит поднять мешок с шишками, хотя там и поднимать нечего — мешок почти пустой. Однако она просит, точно насмехается над ним. «Подойди же, чего боишься! Не бойся, не укушу!» И он подошел, расстелил на траве ее полупустой мешок, сел. Зося присела рядом. Он положил ей на плечо руку. Она быстро обернулась, с иронией спросила: «Наверное, поцеловать меня хочешь? Хотя ты ведь мал еще, не сумеешь». И вдруг сама в коротком, клюющем поцелуе прижалась к его жестким губам.

Тот день запомнился ему на всю жизнь. Запомнились ее серые, диковатые глаза, и жаркие, полудетские губы, и неумелый, быстрый поцелуй. Какие теперь у нее губы? Не поблекли ли от поцелуев с другими? Сохранили ли верность ему, Максиму Зажуре?

Сестра-хозяйка проводила Максима в вестибюль. Там собрались ходячие больные, чтобы попрощаться с капитаном. На повороте лестницы мелькнула длинная, немного сутуловатая фигура начальника госпиталя. Хороший, добрый старик! Сутками на ногах. За каждого раненого душой болеет.

Неожиданно широко распахнулась входная дверь. Санитары внесли на носилках тяжело раненного офицера. Его забинтованная голова ритмично покачивалась в такт шагам санитаров. «А у меня еще целый месяц впереди»,— почему-то с чувством стыдливой радости подумал Зажура, провожая взглядом носилки. Подкинул на спине тощий вещевой мешок, подошел к рыжебровому лейтенанту на костылях. Тот протянул ему пачку трофейных сигарет.

— Возьмите, капитан, на память.

Зажура машинально сунул сигареты в карман шинели.

— Ну, хлопцы, всего вам хорошего! — помахал он рукой госпитальным друзьям. — Скорого выздоровления! И чтобы не встречаться нам больше в этом не очень веселом заведении.

Снова ловко подбросил «сидора» и двинулся к выходу.

4

Командир дивизии генерал Рогач нервно сунул в карман шинели смятый конверт. Ему только что передали присланное с нарочным донесение, немногословное, больше похожее на телеграмму: полки ведут тяжелые бои, боеприпасы на исходе, а подвоз из-за распутицы крайне затруднен.

Комдив знал, что его заместитель Иван Петрович Воронцов, подписавший донесение, не любит преувеличивать, и если сообщает, что полки ведут тяжелые бои, значит, положение действительно очень серьезное.

«Была погода как погода, и на тебе, черт те что началось, — досадливо подумал генерал. — Так развезло, что ни пройти, ни проехать. И главное — в такой ответственный момент, когда всеми силами надо держать немцев в западне, не дать им вырваться из котла».

Генерал Рогач нисколько не сомневался в командирских и организаторских способностях своего заместителя, тем не менее считал: все-таки надежнее, когда командуешь сам, лично управляешь боем. Некстати, ой как некстати пришелся этот срочный вызов в штаб корпуса! Досадно, что не удалось вовремя попасть на новый КП и части вступили в бой без него. А теперь еще это тревожное послание полковника Воронцова.

Перед дивизией генерала Рогача была поставлена задача вместе с соседями сжимать, уплотнять кольцо окружения немецкой группировки, взламывать вражескую оборону, продвигаться вперед. Но окруженные, опоясанные плотным кольцом советских войск немецкие корпуса и дивизии, их штабы и командиры тоже имели свои задачи, свои расчеты, свои отчаянные планы спасения. Те, кого дивизия генерала Рогача и ее соседи по фронту должны были подавлять, теснить, уничтожать, естественно, не хотели быть разгромленными и уничтоженными. Они сопротивлялись, сами атаковали и контратаковали, сами пытались овладеть боевой инициативой, найти слабое место в обороне русских, чтобы пробить в ней брешь и вырваться из котла. Борьба была обоюдной, одинаково ожесточенной. Генерал Рогач прекрасно понимал все это, тем не менее краткое донесение полковника Воронцова не давало ему покоя.

Рослый, широкоплечий, он стоял возле бронетранспортера, уткнувшегося фарами в низенький колодец с журавлем, и, нетерпеливо поглядывая на часы, гнал от себя навязчивую тревогу. Что же все-таки случилось? Почему трудные бои? Может быть, немцы в полосе боевых действий дивизии готовят прорыв? Но ведь утром, перед его отъездом в штаб корпуса, все было спокойно. И разведчики ничего не докладывали о сколько-нибудь значительных скоплениях немецких войск. Хотя все возможно. Там лес. У противника прекрасные условия для скрытного сосредоточения. Да-а... Пора ехать, а капитана Зажуры все нет. Где он застрял? Сказал, будет через десять — пятнадцать минут, а прошло уже не менее получаса. Видно, получает обмундирование. В госпитале с этим не очень торопятся, тем более Зажура выписывается досрочно, неожиданно. Для того чтобы подобрать брюки, гимнастерку, сапоги по размеру, требуется время.

Комдив еще раз нетерпеливо посмотрел на часы, провел рукой по холодной, закамуфлированной под цвет грязного снега броне. В некоторых местах краска успела облупиться. Отчетливо видны царапины от осколков снарядов и пуль. Бронетранспортер прошел большой боевой путь, не раз бывал в трудных передрягах. Били гитлеровцы по видавшей виды машине и с земли, и с неба, а при форсировании Днепра едва совсем не вывели из строя. Только в последних боях в бронетранспортер угодили три снарядных осколка. Правда, ни сам генерал, ни водитель не пострадали. Но ведь могло быть и хуже. А наколотили гитлеровцев за последнюю неделю немало, в том числе и в боях за этот небольшой городок.

Генерал окинул взглядом улицу. Она была загромождена брошенной немцами боевой техникой: грузовыми автомобилями, подбитыми танками и пушками. У молчаливо застывших «тигров» и «пантер» суетились ватаги ребятишек. Одни из них успели побывать внутри машин, другие деловито заглядывали в смотровые щели, третьи забрались на башни и грелись на солнце. Чуть дальше, возле «тигра» с угрюмо опущенным хоботом-пушкой, толпились взрослые. Пожилой солдат что-то объяснял им. Между разбитыми, полусгоревшими и уцелевшими танками — с десяток приземистых, юрких танкеток, или «кошек», как их прозвали наши солдаты. Тонкие стволы автоматических «максов» нацелены в небо. В конце улицы — ог-

ромная самоходка уперлась пушечным стволом в старую, дуплистую вербу, точно ошалевший от испуга зверь, в отчаянии ударившийся головой о дерево.

Вот наконец и капитан. В шинели и шапке он выглядит молодцевато, кажется почти здоровым, хотя левая рука подвешена, а над воротником белеет бинт. Глаза радостно блестят. Не терпится побыстрее попасть домой. Сейчас ему и война не война.

— Разрешите занять место в машине, товарищ генерал? — Максим положил руку на холодный металл бронетранспортера.

— Да. Поехали!

— А товарищ Плужник?

— Он приедет позже. Задерживается тут по делам. — Генерал открыл тяжелую дверцу, пропустил вперед Максима, еще раз посмотрел на разбитые немецкие танки. Усаживаясь рядом с водителем, негромко добавил: — У Плужника тут свои дела, партизанские.

Бронетранспортер тронулся. Забренчали траки гусениц, и машина с ходу нырнула в глубокую, залитую водой колею.

Никогда прежде Максиму не доводилось ездить в такой бронированной коробке. Командир минометной роты, он привык воевать на открытой местности. Порой завидовал танкистам и солдатам на бронетранспортерах: их от пуль и осколков снарядов оберегает броня! Нет, завидовать нечему. Тесно, душно, весь точно в железных путах. В танке, наверное, еще теснее? А может, ему так кажется с непривычки? Может, это потому, что едет в качестве пассажира? Возможно, у пулемета он чувствовал бы себя по-иному!..

Нестерпимо грохотало. Горьковатый запах горелого масла и пары бензина слегка одурманивали. Зажура ощущал лишь движение. Все остальное казалось ему чем-то неестественным: будто он навечно замурован в скале и ничто живое уже не коснется его — ни солнечный луч, ни озорной порыв ветра, ни нежный аромат цветка. Собственно, последние годы он и впрямь жил как бы вдали от всего прекрасного. Третий курс юридического факультета... Финская война... Лыжный батальон... Потом школа военных экспертов... Зарубежные командировки, поездки в составе различных миссий в Англию, Францию, Бельгию... Едва не стал дипломатом... Этим удивительным по-

воротом судьбы он был обязан юридическому образованию. Впрочем, какое там образование? Всего-навсего три университетских курса! Скорее, причиной послужили некоторые его лингвистические познания, которые кое-кому казались незаурядными. Возможно, то и другое вместе. Было это вскоре после заключения мирного договора с Финляндией. Его, рядового красноармейца, вызвали в штаб округа. Немолодой, худощавый полковник с болезненным румянцем на щеках завел речь о том, что Красной Армии очень нужны люди, знающие иностранные языки, причем не просто переводчики, а по возможности образованные юристы, которые могут при необходимости постоять за интересы Родины на различных международных аукционах. Он имел в виду участие в переговорах о приобретении оружия и военных материалов... Пожаром войны охвачены многие страны Западной Европы, продолжал полковник, поэтому не исключено, что в войну может быть втянут весь континент. Хотя у нас с Германией имеется договор о ненападении, фашисты остаются фашистами: всегда надо быть настороже. Красная Армия перевооружается, медлить с этим нельзя.

Зажура понял: вопрос о его отзыве из полка уже решен. На следующий день он стал курсантом школы военных экспертов, вернее, слушателем краткосрочных курсов при управлении внешних сношений Наркомата обороны СССР. Два месяца спустя ему присвоили воинское звание лейтенанта, а еще через неделю он в составе представительной советской военной делегации выехал во Францию.

Дома, в Ставках, так и не побывал. Уже много лет не видел ни отца, ни мать, ни старшего брата Павла, ни цветов под окнами родительской хаты. После харьковской разлуки не встречался больше и с Зосей. Зося, Зося! Ну просто какое-то наваждение! Он меньше думает о встрече с родителями, чем о ней. Почему так?.. Зажура прислонился лбом к дрожащей, холодной стали... Пять лет назад в Харькове она написала: «Навеки твоя», точно хотела сказать, что будет ждать. Но разве так ждут? Уехала, и больше ни одного письма. А может, в самом деле ждет? Ведь она особенная, совсем не похожая на других. Неожиданно нагрянула в Харьков, пожила месяц и уехала. Другая разве решится на такое? А она решилась. В селе, помнится, ее называли дворянской дочкой. Из-за отца. Лесник Становой, кажется, сын бывшего управляющего

княжеским имением в Корсуне, родом из Польши, из обедневшей семьи шляхтичей. Ставичане порой косо посматривали на лесника Станового, а заодно и на его детей — Антона и Зосю. Антон, правда, вел себя не лучшим образом и заслуживал осуждения. Зося же, чистая и добрая, страдала понапрасну. Не было в ней ничего дворянского. Она отличалась простотой и искренностью, всегда тянулась к людям. Подружки души в ней не чаяли, парни были без ума от ее красоты.

Андрей Северинович говорит: «С Зосей все в порядке». Значит, жива, перебедовала оккупацию. А как выжила? Может, путалась с немцами? Что скажут о ней люди?..

Гусеницы бронетранспортера визгливо заскребли по дереву. Водитель резко затормозил. Стрелок, открыв дверцу, выскочил из машины. За ним — Зажура.

— Мост разбомбили, товарищ генерал! — громко объявил стрелок.

Бронетранспортер остановился на самом краю разрушенного моста. Внизу серой, беспорядочной массой дыбился взломанный взрывом лед. Чуть дальше, возле бурлящего потока, валялся труп лошади, а рядом, на льдине, убитый немец с раскинутыми в стороны руками.

Генерал и водитель тоже выбрались из бронетранспортера. Рослый щеголеватый сержант виновато пожимал плечами: не доглядел, зазевался. Еще бы немного и... Генерал для чего-то постучал носком сапога по правой гусенице, укоризненно покачал головой. Ну и ну! Свалиться с такой высоты в воду, да еще между этими столбами! Тут, пожалуй, не собрать костей! Он обошел бронетранспортер сзади, с минуту смотрел на бурный поток, одновременно прислушиваясь к нарастающему гулу артиллерийской канонады. Его полное лицо становилось все более суровым и встревоженным.

Где-то совсем близко вели огонь наши противотанковые пушки, видимо, отражали немецкую контратаку. Сухо хлопали противотанковые ружья. Пулеметы рвали воздух заливисто и бойко. Но почему здесь? Линия фронта должна проходить гораздо дальше. Неужели прорыв? Собственно, линии фронта еще не было, фронт повсюду. Немцы рвутся из кольца. Могут неожиданно появиться и тут, ненавистным ураганом выскочить, из леса, что спускается к реке, или шарахнуть пулеметной очередью из заросшего кустарником темного оврага. И это в тот момент, ког-

да ему, командиру дивизии, необходимо как можно быстрее быть на КП, чтобы во всем разобраться самому, принять меры, навести порядок. Вероятно, Иван Петрович прав: полки действительно из-за распутицы оказались в трудном положении.

Метрах в двухстах от моста по узкой, протоптанной через речку тропе прошла группа солдат. За ними гуськом двигались гражданские — несколько женщин, седой старик и парнишка в потрепанной немецкой шинели. Все они — и солдаты, и гражданские — несли на плечах какие-то тяжелые предметы. «Снаряды!» — догадался Зажура.

Генерал нервно прохаживался по уцелевшему настилу моста, размышляя о том, как теперь добраться до командного пункта. «Идти пешком рискованно, а рисковать собой без необходимости я не имею права — меня ждут в дивизии. Да и ни к чему рисковать. Если уж сложить голову, то в бою».

На противоположном берегу показалась небольшая колонна пленных немцев под конвоем наших автоматчиков. Гитлеровцы были в серебристо-серых шинелях, в пилотках с голубыми кантами. «Из эсэсовской дивизии», — определил Зажура. Ему не раз приходилось видеть таких головорезов. Уж кто-кто, а он-то по одному виду мог отличить эсэсовцев от пехотинцев вермахта.

В госпитале Максим много слышал о зверствах эсэсовцев на Корсуньщине. Самыми свирепыми и беспощадными госпитальные няни и местные жители считали танкистов из дивизии «Викинг», которой командовал бригадефюрер Гилле, один из старых «пивных» генералов, тех, что присоединились к гитлеровской шайке еще в начале двадцатых годов в пивных Мюнхена и Нюрнберга. Три полка дивизии — «Нордланд», «Вестланд» и «Германия» — на весь фронт прославились своими каннибальскими действиями. Там, где проходили танки этой дивизии, оставались пепелища, черная пустыня и горы трупов безвинно замученных советских людей.

В смысле разбоев ни в чем не отставали от подчиненных бригадефюрера Гилле и бельгийские рексисты. Их мотобригада «Валония» рекрутировалась из отпетых подонков Западной Европы: уголовников, потерявших человеческий облик алкоголиков, бывших каторжников и просто ренегатов, предателей своих народов. «Валония» в

оперативном отношении подчинялась штабу дивизии «Викинг». Бельгийским рекситам, своим «младшим братьям-союзникам», немецкие главари СС поручали самую грязную, самую черную работу: расправу над мирным населением, уничтожение партизанских деревень и другие карательные акции. Пост «политического руководителя» в мотобригаде занимал Леон Дегрелль, по слухам, пользовавшийся личным покровительством Гитлера.

Эти, кажется, из дегреллевской «гвардии»? Ну конечно, бельгийцы! Только у них такие серебристо-серые шинели и пилотки с голубыми кантами. Идут торопливо, будто их подгоняет страх. Спешат, словно здесь, на этом берегу речки, их ожидает очищение от грехов, от всех содеянных ими зверств... «Сколько их? Куда их гонят?» — невольно всплыла в памяти Зажуры пушкинская строка. В самом деле, куда их гонят, для чего?

Колонна пленных на минуту задержалась у взорванного моста, потом свернула на протоптанную в снегу стежку, что вела к узкой полосе бурлящей воды, через которую нетрудно было перепрыгнуть. Возле протока пленные снова остановились, стали с опаской прощупывать рыхлый снег.

— А ну пошла, эсэсия! — громко и задиристо закричал на них один из конвоиров. Вспугнутые его окриком, пленные, забыв об опасности оказаться в холодной воде, начали по одному перепрыгивать через проток.

— Быстрее, быстрее! Чего прохлаждаетесь? — подгонял их конвоир, судя по всему бывалый фронтовик, для которого пленные представляли лишь один интерес: их пугливая покорность давала ему возможность снова и снова ощущать радостное чувство трудной победы.

Пленные были поджигателями. Их захватили в селе, где они торопливо подпаливали стрехи крестьянских хат. Зажура хорошо знал, кому эсэсовское командование поручало такие неблаговидные дела. Не только факелами орудовали изуверы. Часто, поджигая дома, они расстреливали жителей, в сатанинском экстазе бросали в огонь детей, устраивали настоящие кровавые оргии. Даже в частях СС бывали случаи недовольства ремеслом поджигателей.

Когда колонна выбралась из мокрого снега на дорогу, старший конвоир с нашивками сержанта на помятых по-

гонах зычно крикнул: «Стой!» и, придерживая болтавшийся перед грудью автомат, тяжело зашагал по месиву дорожной грязи к генералу. Комдив, ответив на приветствие, крепко пожал ему руку.

— Шестьдесят восемь человек, то есть пленных эсэсовцев, препровождаем на сборный пункт, товарищ генерал. Докладывает сержант Воскобойников, — пробасил конвоир.

Генерал Рогач, пряча в уголках губ улыбку, переглянулся с Зажурой, затем посмотрел на пленных.

— Сверхчеловеки, значит! — задумчиво произнес он, словно подытоживал какие-то свои мысли.

— Может, сверхчеловеки, только звери это, не люди, товарищ генерал, — по-своему прокомментировал слова комдива сержант. — Судить их надо, сволочей, строго судить. Один из этой шайки у меня на глазах убил ребенка. Бегу я по улице, товарищ генерал, а он, гад, топчет мальчонку сапогами, потом выстрелил в него. Не успел я упредить фашиста...

— Такого надо было на месте прикончить.

— Я так и сделал, товарищ генерал. Их всех надо бы там, на месте, пострелять, да замполит удержал. Мы, говорит, не убийцы, чтобы чинить самосуд. Пусть их судят законным судом. Они свое получат.

— Правильно сказал замполит. — Генерал снова переглянулся с Зажурой, и в его взгляде мелькнула горестная ирония: такова, мол, жизнь, даже поджигателей и убийц, захваченных на месте преступления, мы не должны расстреливать — в этом величие нашей справедливости.

«Замполит, конечно, правильно сказал, — с раздражением подумал Зажура. — В принципе правильно. Мы справедливы. Но нужна ли справедливость в отношении этой нечисти? Не справедливее ли было покончить с поджигателями и убийцами там, в селе, в присутствии тех, кого они истязали?..»

В школе военных экспертов Максиму как-то попала в руки книга Ницше «По ту сторону добра и зла», набранная старым готическим шрифтом. Он читал ее два вечера подряд, до глубины души возмущался филистерскими рассуждениями о том, что, дескать, война очищает человеческое общество от плесени, рождает касту «сильных и смелых людей», «сверхчеловеков», призванных

господствовать, управлять рабами. Вот они, эти «сильные люди», кровавые подонки, убийцы и грабители! Не о таких ли мечтал идеалист Ницше, духовный отец фашизма, развивая свою убогую и жестокую философию? Правда, во времена Ницше еще не было ни огнеметов, ни танков, ни авиации, не было и теории «выжженной земли». Гитлер и Розенберг во многом перещеголяли своего фанатичного пророка. Будь Ницше живым теперь, он, наверное, позавидовал бы своим последователям. А может, ужаснулся бы при виде черных дел, творимых его почитателями.

Генерал Рогач пытливо посмотрел на степенного сержанта-конвоира в мокрой, прожженной в нескольких местах шинели. Внешний вид его был явно не гвардейский. Придерживая натруженными руками автомат, он зябко поеживался. Но его глаза светились непреклонным упорством и чувством собственного достоинства. Сержант пояснил генералу, что один из поджигателей говорит по-русски, не признает себя эсэсовцем и обещает передать командованию Советской Армии какие-то важные сведения.

— Вон тот, — указал сержант на гитлеровца, который в сопровождении конвоира, прихрамывая, шлепал по мокрому снегу. — Ему, товарищ генерал, кто-то из крестьян покалечил ногу, потому он и не успевает за всеми.

Увидев на обочине дороги генерала, пленный оживился, зашагал быстрее. Белобровый, уже немолодой, он внешне казался невозмутимым: на лице ни тени страха, ни обычной в подобных случаях услужливой покорности. На плечах офицерские погоны.

— Господин генерал! Я рад нашей встрече, — произнес белобровый медленно, стараясь правильно и четко выговаривать русские слова. Он стоял перед генералом по команде «смирно», смешно расставив в стороны носки сапог.

Генерал промолчал. В его взгляде как бы слились недоверие и любопытство.

— Если вы гарантируете мне жизнь, — продолжал белобровый, краем глаза посмотрев на остальных пленных, — я могу сообщить вам важные сведения.

— В вашем положении бессмысленно ставить какие-либо условия, — сказал Рогач, сдвинув брови.

— Очень важные сведения, товарищ генерал.

— Вы слышите, капитан, он называет меня товарищем! — обернулся комдив к Зажуре. — Что это, по-вашему, наглость или глупость? — Генерал перевел взгляд на пленного. — Продолжайте.

— Мотобригада «Валония» завтра на рассвете атакует русские позиции. Я должен предупредить вас. — Голос пленного был взволнованным, в нем чувствовалась болезненная откровенность. — Главный удар предполагается нанести в районе села Ста-вки, с выходом в дальнейшем к селу По-ча-пин-цы.

Названия сел он произнес растянуто, по складам, как бы подчеркивая каждую букву.

«Основной удар предполагается нанести в районе села Ставки!..» Пленный говорил о том самом селе, в которое только вчера вступили подразделения генерала Рогача. О, если бы знать, что пленный говорит правду! Генерал развернул планшет, отыскал на карте село Ставки и, облегчённо вздохнув, улыбнулся. Эта его улыбка предназначалась пленному, и ее следовало понимать так: предположим, я верю тому, что вы сообщили, но этого еще недостаточно.

Пленный, как видно, понял, что генерал поверил ему. Это придало эсэсовскому офицеру смелости. Он даже сдержанно улыбнулся.

— Вы можете расстрелять меня... завтра утром, если я говорю неправду, — сказал он с дерзкой убежденностью человека, уверовавшего в свое спасение. — Я говорю правду. Я знаю больше, чем кто-либо в моей бригаде.

— Вот как! — холодно произнес генерал.

— Да, да! Я все знаю. Я умею слушать. Я хотел быть полезным нашему... то есть вашему командованию.

— Это мы еще посмотрим, — сказал генерал и повернулся к конвоиру: — Ведите их дальше, куда приказано.

На лице пленного мелькнул испуг. Он ждал, что его обласкают, заберут из общей колонны. Но генерал, очевидно, решил по-своему: он оставлял его вместе с остальными.

— Я прошу!..— бросился альбинос к комдиву. — Прошу вас, не надо с ними.

Генерал и Зажура переглянулись. Странный эсэсовец! Обычно у них офицеры покрепче, а у этого сразу душа ушла в пятки.

Пленный смотрел на генерала с тоскливым ожиданием. Мысль его работала лихорадочно. Он должен чем-то удивить, поразить генерала, любой ценой вырваться из общей колонны.

— У меня еще есть сведения, — сверкнул он бесцветными глазами. — Разрешите сообщить, господин генерал. — В голосе пленного теперь не было ни самоуверенности, ни заносчивости. Он перешел на таинственный шепот: — Готовится общее наступление. В штабе Штеммермана ожидают лазутчика. Я знаю этого человека. Могу описать его внешность. Будет большой танковый удар генерала Хубе. — Пленный вдруг беспомощно развел руками. — Я вижу, вы не верите мне, не верите потому, что на мне эсэсовский мундир. Поверьте, господин генерал, я не эсэсовец и ничего общего не имею с этими мерзавцами, — кивнул он в сторону колонны пленных. — Всю жизнь я боролся с фашизмом. И сейчас готов служить делу свободы и демократии. Господин генерал! Я говорю правду, поймите, правду. Завтра начнет наступление мотобригада «Валония», навстречу ей пойдут танки Хубе. И о лазутчике тоже правда.

Зажура все внимательнее прислушивался к голосу альбиноса. В нем звучало что-то знакомое. Капитана настораживали показания эсэсовского офицера, они казались невероятными, даже нелепыми и пугающими. За словами альбиноса Зажуре виделось и что-то другое, наплывали давние, почти забытые видения.

«Я где-то слышал этот голос. Определенно слышал, — пронеслось в мозгу Максима. — И это белобровое, вытянутое лицо видел. Но где и когда?»

Послышался гул мотора. К мосту подъехала старенькая полуторка. Она еще не успела остановиться, как из кабины выпрыгнул прямо в грязь ефрейтор с офицерской сумкой на боку, бросился к генералу. Вид у ефрейтора был возбужденный, казалось, он не приехал, а прибежал невесть откуда по трудной, раскисшей дороге.

— Товарищ генерал! Разрешите обратиться!

У комдива вмиг просияло лицо. Он узнал ефрейтора.

— А почему один? Где старший лейтенант Крашеница?

— Нет старшего лейтенанта, товарищ генерал. Убитый он. Один я, значит, возвращаюсь. Задание выполнил, товарищ генерал, — хмуро доложил ефрейтор.

Комдив с минуту молчал, потом подошел к Зажуре, печальным голосом сказал:

— Вот ведь как бывает, капитан. Был Крашеница взводным, потом командовал ротой, и ничего, все обходилось, даже ранений серьезных не имел, а тут поехал в тыл, в штаб армии, и погиб... Как это случилось, ефрейтор Боровой? — круто повернулся он к солдату.

Из сбивчивого, торопливого рассказа ефрейтора вырисовывалась любопытная и вместе с тем печальная история.

Офицер связи дивизии старший лейтенант Крашеница и ефрейтор Боровой должны были доставить срочный пакет в оперативный отдел штаба армии. Оседлали коней — и в путь. Это было утром. Сначала ехали лесом, затем выбрались в поле. Тут-то и повстречали они рослую женщину с мешком за плечами, в больших мужских сапогах, в низко повязанном сером платке на голове и старом ватнике. Может быть, ни старший лейтенант, ни он, ефрейтор Боровой, не обратили бы на нее внимания — мало ли бродит теперь между деревнями мешочников? Но эта женщина, завидев конников, быстро свернула в лес и побежала так проворно, не хуже любого мужчины. Старшему лейтенанту ее поведение показалось подозрительным. Повернул он коня — и за ней. «Стой, буду стрелять!» Он, ефрейтор Боровой, ринулся наперехват, тоже закричал: «Стой!» и со злости даже ругнулся. Тогда женщина обернулась, выхватила из-за пазухи пистолет и бабахнула в старшего лейтенанта. Один раз выстрелила, больше не успела: он, ефрейтор, сбил ее с ног, ударив прикладом автомата по голове. Однако и единственный выстрел для старшего лейтенанта оказался смертельным. С простреленной навылет шеей Крашеница свалился с коня. Правда, был еще живой, но недолго, всего несколько минут, только и успел сказать ефрейтору, чтобы тот взял у него сумку, в которой лежал пакет с донесением. Потом уже совсем тихо, еле шевеля губами, добавил: «Диверсантку отведи на КП армии... Тут близко... Обязательно к самому командующему...» И все, больше ничего не сказал, умер.

Пока ефрейтор копал могилу, чтобы похоронить старшего лейтенанта, диверсантка очухалась, пришла в себя, попыталась было подняться. Боровой бросился к ней, наставил автомат и сгоряча хотел прикончить ее, но, вспомнив предсмертное приказание старшего лейтенанта, воз-

держался, приказал ей встать. И тут «диверсантка» заорала мужским голосом: «Не стреляйт! Я барон фон Яген Шель к генераль Штеммерман... Ведите меня ваш обер-командо. Имею ценный сведений».

— Ну, значит, привел я этого барона на командный пункт армии, как приказывал старший лейтенант, сдал самому командующему, — продолжал рассказывать Боровой. — Это, говорю, не баба, товарищ командующий, а немецкий барон. Нужно, говорю, пристрелить его, гада, на месте за то, что он убил моего начальника — старшего лейтенанта. Генерал, командующий то есть, сказал, что мы, мол, пленным не мстим, стрелять в безоружного врага — последнее дело, а за то, что вы, товарищ ефрейтор, доставили этого мерзавца сюда, большое вам спасибо. Вы, мол, будете награждены. Потом командующий приказал какому-то полковнику принять от меня донесение, распорядился, чтобы пришел переводчик. А барон этот, значит, немецкий одернул ватник, выпятил грудь и угодливо доложил: «Не надо переводчик. Я все хорошо понимайль порусски. Имею честь сообщить вам важный сведений, господин генераль, если вы мене сохранить жизнь». Я уж не помню, что ответил ему командующий, только немец сразу обмяк, сгорбился, низко опустил голову. Потом командующий приказал, значит, мне идти в столовую, пообедать и без его разрешения никуда не отлучаться, то есть, значит, не уезжать в дивизию, а ждать...

Ефрейтор с минуту помолчал, словно обдумывал, все ли доложил командиру, что нужно. Потом торопливо добавил:

— Я уже давно за вами еду, товарищ генерал, по вашему следу, значит. Мне на развилке регулировщица сказала, что вы сюда, значит, поехали. Ну и я следом. Коней пришлось оставить в армии. Командующий дал машину. На машине, говорит, быстрее доберешься. Вручил мне, значит, срочный пакет для вас, и я поехал.

Генерал Рогач удивленно вскинул брови.

— Срочный пакет? От командующего? Давайте его сюда.

Он разорвал конверт, торопливо пробежал глазами отпечатанный на машинке текст сообщения. Потом прочел еще раз, более внимательно. Поднял голову, пытливо посмотрел на пленного альбиноса, обвел глазами горизонт и будто самому себе сказал, растягивая слова:

— Да-а-а, де-ла-а!

— Что-то важное, товарищ генерал? — несколько стесняясь своего любопытства, осторожно поинтересовался Зажура.

Комдив взял его за локоть, отвел в сторону.

— Важное, капитан, очень важное. Задержан вражеский лазутчик барон фон Яген и допрошен в штабе армии. Этот белобрысый эсэсовец сказал правду. Завтра утром мотобригада «Валония» пойдет на прорыв. Разведчик барон Яген пробирался к Штеммерману от Хубе, да попался, влип, как кур в ощип.

В голосе генерала слышалась лихая бодрость. Он действительно был рад, что все выяснилось. Дивизию ждут трудные бои, зато теперь все ясно. А ясность, знание замысла и цели противника — половина победы.

Белобровый эсэсовец ни на секунду не отрывал глаз от генерала, следил за каждым его движением. К нему подошел сержант-конвоир и, сняв с шеи автомат, приказал стать в колонну. Лицо эсэсовского офицера сделалось бледным, он весь затрясся.

— Подождите, сержант, — остановил генерал конвоира. — Этого я заберу в штаб. Он еще потребуется. А остальных ведите на сборный пункт, как приказано.

— Есть, вести на сборный пункт, товарищ генерал! — отчеканил старший конвоир, начинавший уже тяготиться непредвиденной задержкой на полпути.

Колонна двинулась дальше. Белобровый, обрадованный внезапным поворотом судьбы, стоял навытяжку, задрав кверху подбородок, и с собачьей услужливостью смотрел немигающими глазами на генерала Рогача.

К комдиву подошел ефрейтор Боровой.

— Товарищ генерал, разрешите доложить. Регулировщица сказала, что тут неподалеку, километрах в двух отсюдова, есть другой мост. Плохонький, говорит, но машины выдерживает. Может, поедем туда?

— Хорошо, товарищ Боровой. Забирайте в машину пленного и поезжайте. Скажете от моего имени полковнику Семенихину, чтобы повнимательнее допросил. И пусть о питании позаботится. Езжайте, — повторил он, — а я попытаюсь на бронетранспортере тут по снегу проскочить.

«Да, я, бесспорно, встречался с этим альбиносом, — снова подумал Зажура, провожая взглядом полуторку и

мучительно воскрешая в памяти детали прошлого. — Если это он, с ним надо непременно встретиться, поговорить».

5

Опель майора Блюме засел в мутновато-серой хляби грунтовой дороги, развороченной гусеницами танков.

— Кажется, приехали, Конрад. Из этой грязи нам без тягача или взвода солдат ни за что не выбраться, — устало повернулся водитель к майору.

Блюме расстегнул верхние пуговицы бекеши, огляделся вокруг. На черном поле по обе стороны дороги серели горбики плохо замаскированных брустверов. Тут начинались артиллерийские позиции противотанкового дивизиона. До штаба 112-го пехотного полка, куда ехал Блюме, оставалось не больше двух-трех километров.

— Ничего, Курт, выберемся, — сказал майор, видимо нисколько не сожалея о случившемся. — Когда-то мы с тобой, дружище, ездили и не по таким дорогам. — Он приподнялся, снял с себя бекешу с роскошным коричневым воротником, небрежно бросил ее на заднее сиденье, переоделся в обычную офицерскую шинель. — Я пойду, Курт, пешком, а ты слушай, — кивнул он на скрытую под сиденьем рацию. — Сейчас одиннадцать. Они начинают точно в одиннадцать десять. Только смотри, будь осторожен, а то, сам знаешь, у полевой жандармерии длинные уши.

Круглое лицо Курта Эйзенмарка сморщилось в хитроватой улыбке.

— Кто побывал у Нептуна, тот не боится моря, Конрад.

Это была его давняя присказка, связанная с грустными воспоминаниями. В ту тревожную для Германии пору, в начале тридцатых годов, Курт состоял членом «Мужского гимнастического клуба». Когда клубное начальство получило сверху неофициальное распоряжение — обязать всех спортсменов сдать зачеты на право ношения фашистского спортивного значка СА, он, Курт, назвал эту затею глупой и никому не нужной. Тогда он еще не был ни коммунистом, ни подпольщиком, а просто не мог тер-

неть своего спортлайтера Кинглебена, который всячески выслуживался перед нацистами и из кожи лез, добиваясь, чтобы все члены клуба имели значки СА. Вечером, когда Курт возвращался с работы, его прямо на улице схватили дюжие молодцы в высоких сапогах и перетянутых портупеями коричневых гимнастерках, бросили в машину и отвезли туда, откуда люди возвращались полуживыми, уже неспособными заниматься никаким спортом. Правда, Эйзенмарку повезло. В гестапо он встретил своего школьного приятеля. Тот по старой дружбе сделал все возможное, чтобы «дело» было прекращено. Курта отпустили. Но он ничего не забыл. Этот случай на многое открыл ему глаза. С горьким юмором он говорил потом друзьям, настоящим, верным друзьям, что побывал в руках Нептуна, то есть в лапах гестапо. Так родилась мрачная присказка, ставшая для него впоследствии своеобразным паролем...

Машина осталась на раскисшей, грязной дороге. Блюме вскоре потерял ее из виду. К деревне, где размещался штаб полка, он шагал напрямик, полем. Сегодня на рассвете два батальона 112-го полка атаковали деревню и вытеснили из нее русских конников. Стычка была короткой, но кровопролитной. За овладение десятком полуразрушенных изб полку пришлось заплатить дорогой ценой, зато в штаб 11-го корпуса поступило донесение: 112-й пехотный полк улучшил свои позиции и готовится к выходу из окружения.

Перед деревней, на склонах пригорка, серели неубранные еще трупы в грязно-зеленых шинелях. Блюме поочередно переходил от одного к другому, заглядывая в мертвые, застывшие в неподвижности лица. По спине пробежал знобящий холодок. Майор заспешил к деревне.

Вдруг где-то совсем близко прогремел винтовочный выстрел. Ночь была лунная, и Блюме сразу увидел на берегу огибавшего деревню ручья нескольких солдат с лопатами. Один из них держал в руках карабин. «Похоронная команда, — догадался майор. — Неужели добивают тяжелораненых?..»

— Кто стрелял?! — зло и громко крикнул он, подходя к похоронщикам и разглядывая каждого из них при обманчивом, дрожащем свете луны.

Зеленые фигуры зашевелились. Вперед вышел высокий обер-вахмистр с прыщеватым лицом, уставился на майора

почти бесцветными глазами. Карабин держал дулом вниз. Указательный палец его правой руки был еще на спусковом крючке.

Вот он, убийца! Высокий, наглый, с мутным взглядом садиста. Держится уверенно. Разглядев на плечах Блюме погоны майора, приставил карабин к ноге, отдал честь «по-ефрейторски». Хриплым голосом доложил, что третье отделение похоронной команды выполняет приказание лейтенанта Гана — сносит трупы к общей могиле для захоронения. На отведенном отделению участке обнаружено тридцать восемь убитых и шестеро тяжелораненых, всего сорок четыре человека.

— Что значит: всего? — голос Блюме задрожал от ярости. — Вы пристрелили шестерых тяжелораненых?

— Так точно, герр майор!

— Кто позволил? Какое вы имели право поднять руку на воинов фюрера?

Блюме едва сдерживал себя. Он готов был выхватить пистолет и разрядить всю обойму в мясистое, наглое лицо убийцы, в его мутные, пустые глаза.

Обер-вахмистр понял наконец, что офицер не шутит, что может быть неприятность. Нижняя губа у него неожиданно отвисла и скривилась. Он был явно обескуражен.

— Герр майор, я... я выполнял...

— Добивать тяжелораненых разрешено только в исключительно сложной, критической обстановке. А мы готовимся к победному сражению. Вы трус, вы потеряли веру в наши идеалы!

— Герр майор!.. — испуганно заскулил обер-вахмистр. Губы его задрожали, голос сделался ноющим и жалостливым. — Герр майор, я член партии с тридцать шестого года... Я выполнял... Герр майор!.. Обершарфюрер Либих советовал добивать... У меня двое детей, герр майор... Я предполагал...

— Что вы предполагали?

— Я... Я думал, герр майор...

Гнев, ненависть, презрение переполняли сердце Блюме. Как поступить с убийцей? Он, вероятно, еще не знает о чудовищном приказе Цейтлера? Добивал раненых по собственной инициативе, ради удовольствия, по привычке к убийствам? Да, несомненно так. А теперь к тому же есть приказ Цейтлера. Правда, он еще не разослан по частям. Но когда этот садист узнает о нем, он ради забавы

станет убивать всех, кого только найдет на поле боя раненным. Ядовитая, гадкая тварь!

— Значит, вы, член нацистской партии с тридцать шестого года, по собственной инициативе добили шестерых немецких воинов, солдат фюрера? Вы — убийца и изменник!

Взгляд Блюме невольно задержался на распластанном теле только что пристреленного обер-вахмистром солдата. Голова его была неестественно повернута набок, на лице еще сохранилась гримаса боли. С левой щеки струйкой стекала кровь. На груди под расстегнутой шинелью тускло поблескивали Железный крест и медаль за участие в рукопашных боях.

«Уж теперь-то я доконаю этого мерзавца!» — мелькнуло в голове Блюме. Он приблизился к убитому солдату, склонился над ним, с демонстративной торжественностью отцепил от его френча Железный крест и широкую колодку значка за участие в рукопашных боях, поднялся, держа на ладони обе награды, круто повернулся к обер-вахмистру.

— Вы знаете, кого убили, негодяй? Вы расстреляли героя, удостоенного особой чести фюрера! Вы понимаете, что сделали? Вы бросили тень на высокие идеалы нашего движения! — Голос Блюме звенел неподдельной скорбью и гневом. — За это вы ответите перед военно-полевым судом... Ефрейтор! — обернулся он к пожилому, сутуловатому похоронщику. — Приказываю доставить обер-вахмистра под конвоем в штаб полка!

Пожилой ефрейтор нерешительно выступил вперед, смерил взглядом обер-вахмистра, протянул руку к его карабину.

— Берите! — властно приказал Блюме. — Принимайте командование отделением на себя!

Ефрейтор взялся за карабин, потянул к себе. Обер-вахмистр пошатнулся, но не выпустил оружия. Блюме расстегнул кобуру пистолета. Он едва сдерживал себя, готовый в любое мгновение выстрелить в обер-вахмистра. «Нет, я не должен, не имею права пристрелить этого негодяя! — убеждал он себя. — Могут быть серьезные последствия...»

Когда два солдата похоронной команды повели под конвоем обер-вахмистра в деревню, Блюме еще раз крикнул им вслед:

— Под арест мерзавца! Под арест моим приказом!

Почти всех офицеров 112-го полка Блюме застал в помещении штаба — командир полка майор Гауф проводил совещание. Собственно, то, что происходило в штабе, скорее напоминало шумную перебранку, нервный галдеж. Никто никого не слушал, и в то же время все хотели знать, что их ждет впереди, все требовали объяснений, спорили, ругались.

Два дня назад советские танки и кавалерия молнией пронеслись перед фронтом 112-го полка на северо-запад, к селу Джурженцы. Там, как стало известно, они соединились с советскими танковыми частями, подошедшими с севера. Офицеры понимали, что надвигается катастрофа, и требовали от майора Гауфа, чтобы он внес полную ясность. Но Гауф сам мало что знал. Ему было известно лишь то, что вся группировка войск генерала Штеммермана, в том числе и его, майора Гауфа, 112-й пехотный полк, находятся в котле, окружены русскими.

Командир полка поднял руку, требуя внимания. Стало тихо. Майор Гауф с наигранной беспечностью и нескрываемой язвительностью произнес:

— Наш доблестный полк до сих пор не знал поражений. Неужели его могут напугать русские танки и кавалерия?

— Но, герр майор, мои люди утомлены, — поднялся молча сидевший в дальнем углу командир роты обер-лейтенант Буш. — Нужен хотя бы короткий отдых.

— Вы слышите?! Его люди утомлены! — Гауф окинул ироническим взглядом участников совещания. — О какой усталости может идти сейчас речь? Вы, обер-лейтенант Буш, прочтите своим солдатам «Фолькишер беобахтер» или, по крайней мере, «Райх». У меня, кстати, сохранился последний номер. Там есть рекомендации, как надо поступать с паникерами и трусами. Вы удовлетворены моим ответом, обер-лейтенант Буш? — Голос Гауфа становился все злее. Его широкое, твердое лицо сделалось красно-сизым. — Прошу господ офицеров разойтись по своим местам и помнить: полк должен сражаться до последнего человека. Это — приказ фюрера!

Офицеры вышли. Гауф и Блюме остались одни. Долго сидели молча. В соседней комнате начальник штаба настойчиво, но безуспешно пытался связаться по телефону с корпусом.

За околицей деревни изредка слышались одиночные выстрелы, от которых тишина казалась особенно тяжелой и гнетущей. Начальник штаба, так и не связавшись с корпусом, бросил трубку телефона и вышел, раздраженно хлопнув дверью.

— Я арестовал обер-вахмистра из похоронной команды, — нарушил наконец затянувшееся молчание Блюме.

— И правильно сделал, — безразлично махнул рукой Гауф, словно речь шла о пустяке. — Я терпеть не могу эту гиену.

Он пошарил под столом, достал из небольшого дорожного чемодана бутылку польской водки, наполнил зеленоватой жидкостью два стакана. Рука его дрожала, часть водки разлилась по столу.

— Ты извини, Конрад, что не могу угостить чем-нибудь стоющим, — с печальной улыбкой проговорил Гауф. — «Куантро» пьют генералы, а мы причастимся этой дрянью. Может, после выпивки кое-что прояснится. За твое здоровье, Конрад! — Морщась, он стал пить маленькими глотками. Опорожнив стакан, вяло поставил его на стол. Отодвинул от себя бутылку, тем же равнодушным голосом сказал: — Ну, а теперь расскажи, что у тебя произошло с этим живодером обер-вахмистром?

Рассказ был коротким. Блюме хотел было как-то передать свои чувства, свое отвращение к жестокости обер-вахмистра, но полного, флегматичного крепыша Гауфа нисколько не интересовала эмоциональная сторона дела. Он попросил рассказать о случившемся лишь для того, чтобы не молчать. Настороженная тишина и молчание выводили его из себя.

Гауф был типичным кадровым военным. Правда, когда-то давно, до прихода к власти фашистов, он несколько лет работал в Берлинском профессиональном совете, был даже по-своему активным социал-демократом, часто выступал на митингах против Версальского договора и против англо-французских капиталистических акул. Это, однако, не мешало ему увлекаться спортом, красивыми девочками, шумными пирушками. В тридцать третьем жизнь поставила его перед выбором: концентрационный лагерь или военная служба. Он предпочел последнее. В пору аншлюсса Австрии уже имел воинское звание унтер-офицера, в Судеты вступил вахмистром и оттуда был направлен в школу офицеров-резервистов. С тех пор военная служба

стала его профессией. Научившись в совершенстве владеть оружием, он вместе с тем быстро и без особого труда усвоил качества стопроцентного офицера-педанта: четкость действий, исполнительность, строжайшее соблюдение приказов. На Восточном фронте судьба до сих пор оберегала его от серьезных потрясений. Правда, дважды он был ранен, но легко. Начальство не преминуло отметить его служебное рвение. После второго ранения Гауф получил Серебряный крест, звание майора и вскоре был назначен командиром пехотного полка. Сейчас болтавшийся на его груди Серебряный крест выглядел как-то некстати. Гауф потрогал его пальцами, негромко сказал:

— Значит, ты, Конрад, арестовал обер-вахмистра за то, что он превысил свои полномочия?

— За то, что он добивал раненых, — уточнил Блюме.

— Об этом, пожалуй, лучше молчать. Твое счастье, что ты имеешь надежного патрона в лице генерала Штеммермана, — продолжал Гауф, по-прежнему придерживая пальцами Серебряный крест. — Ты прекрасно знаешь: в штабах уже есть распоряжение Цейтлера добивать тяжелораненых.

Он цедил слова медленно, с презрительной гримасой на губах. Водка явно не повлияла на его настроение.

Блюме внимательно приглядывался к нему. Он знал Гауфа несколько лет, и, хотя они никогда не были близкими друзьями, сердце корпусного адъютанта питало к этому крепышу-офицеру теплые чувства. Блюме было известно, что Гауф не умел кривить душой. Он принадлежал к разряду людей, которые до конца отстаивают свои собственные взгляды и не способны на подлость в личных делах. Блюме порой казалось, что майор Гауф тяготится своим юношеским заблуждением — уходом из социал-демократической партии и вступлением в вермахт. Так ли это на самом деле, он не был уверен, но считал его человеком порядочным.

— Приказ Цейтлера, разрешающий добивать тяжелораненых, действительно есть, — сказал он. — Мы получили его вчера.

— Ну вот, видишь. Значит, ты поторопился с обер-вахмистром,— блеснул на него Гауф прищуренным глазом.

— Нет! Я уверен, что ни один честный немец не станет спешить выполнить этот каннибальский приказ. Надеюсь, в твоем полку о нем пока никто не знает?

Гауф ответил не сразу. Взял бутылку с оставшейся водкой, снова наполнил стакан, но только для себя: знал, Блюме больше одного не пьет. Поднял тяжелый взгляд. Да, он, Гауф, считает себя добропорядочным немецким офицером. Он до сих пор не оглашал приказ Цейтлера. Но ему не хотелось бы слышать слова, оскорбляющие высокую честь немецкой армии. Генеральный штаб вермахта не издает каннибальских приказов. Конечно, приказ Цейтлера — жестокий, но ведь и все приказы на войне жестоки. Генеральный штаб издал этот приказ, безусловно, с ведома и согласия фюрера. Это — вынужденная мера. Спасти тяжелораненых в окружении невозможно. Единственный большой госпиталь в Корсуне переполнен. Аэродромы блокированы русскими. В такой обстановке для тяжелораненых самый лучший исход — быстрая смерть.

— Что ты говоришь?! Ты, христианин! — воскликнул Блюме. — Ведь когда-то ты был гуманным и добрым человеком.

— Уверяю тебя, Конрад, я и теперь гуманен и добр постольку, поскольку позволяют обстоятельства, — повысил голос Гауф, поднялся из-за стола и быстро зашагал взад-вперед по комнате. — Я остаюсь таким, каким был всегда, — повторил он. — Но пойми, я обязан думать не только о раненых. Меня прежде всего тревожит судьба живых, судьба всех зажатых в этом кольце войск, будущее Германии. Наши солдаты — я говорю о настоящих солдатах, а не о мясниках в синих шинелях, не об эсэсовцах и жандармах, не о тыловиках, — наши солдаты стоят того, чтобы мы проявляли к ним гуманность и доброту, но, к сожалению, не всегда это возможно. Сегодня на рассвете, когда мы вели бой за эту крохотную деревню, русские предприняли контратаку. Я приказал остановить их заградительным огнем артиллерии. И артиллеристы, и пехотинцы полка дрались как львы. Я сам был на одной из батарей «берта-четыре», видел там тяжелораненых. Один с двумя пулями в легких, харкая кровью, продолжал подносить снаряды. Потом... потом он упал и умер возле орудия. Разве такая смерть не геройство? Разве в этом поступке ты не видишь подлинной немецкой самоотрешенности, солдатского самопожертвования во имя победы? — В голосе Гауфа послышались теплые нотки, он по-приятельски положил руку на плечо Блюме. — Поверь, я не фанатик, Конрад, но я люблю свою Германию. Мо-

жет, там не все устроено так, как надо, как хотелось бы. Это другое дело. После войны, когда вернемся домой, мы наведем порядок. А сейчас главное — выиграть войну, спасти нацию.

— Извини... спаситель нации! Я должен идти, — резко поднялся со скамьи майор Блюме. — Поговорим как-нибудь в другой раз.

— Если я чем-то обидел тебя...

— Нет. Благодарю за откровенность, — холодно сказал Блюме, надел шинель, фуражку и уже направился было к двери, но, словно вспомнив что-то очень важное, обернулся к Гауфу. — У тебя нет знакомых офицеров в «Валонии»?

— В «Валонии»? Нет, — ответил Гауф, и на его полном лице мелькнула тень отвращения. — Ты разве забыл, что в этой бригаде собрано дерьмо со всей Европы? Я не хочу иметь дело с уголовниками, с мерзким сбродом!

— В этом ты прав. И все-таки жаль, что там нет у тебя знакомых. — Блюме машинально поправил на голове фуражку. — Очень жаль, — повторил он и тихо добавил: — Я сегодня случайно видел одного интересного типа из «Валонии». Бельгийский рексист, когда-то был поэтом, даже воевал в Испании против фалангистов.

— Ты боишься его?

— Я не верю ренегатам.

— Как его фамилия? — заинтересовался Гауф и тоже снизил голос до шепота. — Я сегодня буду у командира «Валонии» майора Липперта. Нужно кое-что вместе решить насчет завтрашней операции. Могу осторожно...

— Да, да, очень осторожно, — торопливо бросил Блюме. — Запомни фамилию. Леопольд Ренн. Белобровый, волосы на голове тоже белые, молочного цвета. Стопроцентный альбинос. В очках. Если он в бригаде, немедленно поставь меня в известность.

— Если он в бригаде, я скажу тебе по телефону, что встретил... Нет, лучше скажу, что у меня очень разболелась печень. Старая болезнь, об этом все знают, даже твой Штеммерман. Избыток желчи, которую некуда вылить.

— Кажется, завтра утром ты будешь иметь такую возможность?

— Кто знает? Завтра русские могут излечить меня сразу от всех болезней.

Блюме вернулся к машине, открыл дверцу, устало опустился на мягкое сиденье. Курт Эйзенмарк сразу же включил мотор. Мощный оппель с минуту побуксовал в грязи, затем медленно выполз из колеи.

— Везет мне! — улыбнулся Курт. — Выбрался из такой ямы.

— А Гауф — идиот! — с досадой выпалил не в лад его словам Блюме. — Типичный идиот. Я был о нем лучшего мнения. На таких пока еще держится берлинская банда. Ну, а как дела у наших друзей, Курт? Все принял?

— Там порядок, Конрад!

Не отрывая глаз от грязной дороги, уверенно управляя рулем, Эйзенмарк стал подробно рассказывать Блюме о только что закончившихся радиопереговорах с Москвой.

Комитет «Свободная Германия» направил в штабы 1-го и 2-го Украинских фронтов своих представителей. С ними необходимо установить связь. Комитет надеется, что многих солдат и офицеров из окруженной группировки можно склонить к прекращению кровопролития.

— Комитет надеется, — непроизвольно, но с печальной иронией в голосе повторил Блюме. — Все мы надеемся.

— Очевидно, надо предпринять решительные шаги, — продолжал водитель.

— Ты прав, Крут. Нужны решительные действия. Мы их предпринимаем, но, к сожалению, результаты не радуют.

Оба они на некоторое время замолчали, и в этом молчании явственно чувствовалась глубокая скорбь. О результатах говорить не хотелось, не хотелось вспоминать неудачи и провалы, которыми сопровождалась их поистине подвижническая работа. Их совсем немного. Ничтожно маленькая группка смельчаков-коммунистов в железном, безжалостно-тупом механизме военного подчинения, в чаду безликой храбрости и массового фанатизма. Так много сделано, и такие мизерные практические итоги!

Но, может быть, их подпольная деятельность все же не напрасна? Они, правда, не добились еще добровольного перехода на сторону советских войск сколько-нибудь значительных групп немцев. Но, возможно, уже сама их борьба — это тоже победа? Частичка их победы, может быть, заключена и в том, что они вместе с войсками вермахта, вместе с Гилле, с Дегреллем, вместе со всем этим корич-

невым отчаявшимся сбродом отступают все дальше на Запад?

— Курт, дружище!..

Лицо Блюме выражало сейчас юношеское вдохновение, светлый порыв. Оно будто помолодело, стало более красивым.

— Я слушаю тебя, Конрад.

— Все-таки мы кое-что сделали.

— Да, безусловно, что-то сделали и продолжаем делать.

— Послушай, Курт. Прошлой ночью мне стало вдруг страшно, я почувствовал отчаяние. Сын мой погиб, до самой смерти оставаясь нацистом. Я ничего не мог сделать. Сабина неизлечимо больна. Мне вдруг показалось, что жизнь кончена, все потеряно, никаких надежд на будущее. И тогда я вспомнил этого русского парня — Николая Островского. Он боролся до конца и, говорят, был счастлив. Он оставался борцом до последнего дыхания. Хватит ли на такое сил у меня?..

Эйзенмарк положил правую руку на кисть руки друга, легонько сжал ее.

— Нервы, нервы у тебя шалят, Конрад. Надо крепиться, держать себя в руках.

Блюме невесело улыбнулся, кивнул.

— Да, возможно, нервы или просто минутная слабость. Только вот что меня мучит. Я понял это сейчас, в штабе Гауфа. Мы должны смелее помогать им.

— Кому? — не понял Курт.

— Советским друзьям, советскому командованию. Коечто мы, конечно, передали через партизан. Может быть, они не ждут от нас большего. Сейчас, ты сам знаешь, с партизанами у нас пока нет связи, а у меня очень важная информация. Ее необходимо во что бы то ни стало передать советскому командованию.

— Что за информация? О чем ты хочешь сообщить, Конрад? — повернул голову к Блюме Эйзенмарк. — О том, что тут у нас все разваливается? Что Штеммерман и Гилле охвачены паникой? Полагаю, русские знают об этом.

— Нет, Курт. У меня боевая, оперативная информация: завтра утром мотобригада «Валония» и сто двенадцатый пехотный полк пойдут на прорыв. Надо предупредить русское командование. Надо подробно рассказать обо всем — о планах Штеммермана, об отвлекающих манев-

рах, о резервах, рассказать там, за линией фронта. Мы обязаны сделать это сегодня ночью. Тебе, Курт, необходимо идти туда.

Он говорил негромко и спокойно, хотя по его голосу нетрудно было догадаться, каких усилий стоило ему принять подобное решение. Эйзенмарк хорошо знал своего друга, его волевую закалку, знал, что Блюме не только чужда ложная сентиментальность, но что он по складу своего характера не способен на внезапные эмоциональные порывы.

Овладев собой, Блюме сухо улыбнулся. В его глазах теплилась далекая, нежная грусть.

— Я остаюсь здесь, буду продолжать работу. Однако, ты знаешь, может случиться все — с бригадефюрером Гилле шутки плохи. Он последнее время явно охотится за мной, ищет любой предлог, чтобы разделаться. Если мы больше не встретимся, Курт, если я никогда не вернусь в Германию, скажи Сабине, что я выполнил свой долг. Она поймет, она всегда меня понимала.

— Значит, мы должны расстаться? — переспросил Эйзенмарк больше для того, чтобы свыкнуться с тяжелой мыслью, нежели добиться отмены принятого Блюме решения.

— Ненадолго, Курт, совсем ненадолго. Если бы мы не потеряли связи с этой девушкой... Одним словом, решено: сегодня ночью ты должен идти.

— Может, пойдешь ты, Конрад? — сделал последнюю попытку вырвать у Блюме уступку Эйзенмарк. — У тебя стали сдавать нервы. И потом Гилле. Ты сам говоришь, что служба безопасности стала присматривать за тобой.

— Нет, — отрицательно качнул головой майор. — Пойдешь ты. Я не имею права оставлять Штеммермана. Должность адъютанта при таком высоком сановнике нам еще пригодится. Старик мне доверяет, а это важно. И кроме того, надо иметь в виду Леопольда Ренна. Если я не ошибся, если он действительно в «Валонии», представляешь, как это опасно для тебя! Меня он почти не знает, а вы два года в Испании воевали вместе. Ренегаты злопамятны, Курт, очень злопамятны.

Оппель с ходу влетел в залитую водой колею. Вода всколыхнулась, маленькая тучка за ветровым стеклом подскочила вверх, в ней отразилась луна, разбухшая и тяжелая. По сторонам плыла тихая в эти минуты степь.

— В Корсунь? — спросил Курт.
— Да. Но поеду я один, ты пробирайся к передовой, тебе надо спешить, иначе опоздаешь.

6

Зажуре стало жарко. Он расстегнул шинель и быстрее зашагал вдоль леса по едва заметной стежке. Справа серели оголившиеся на пригорках поля, слева тихо и неугомонно шумел простуженный ветрами лес. Сапоги скользили по прошлогодней жухлой траве. На щеках оседала надоедливая изморось.

Зажура спешил. В его сердце пробудилась тревога, которую можно было назвать и страхом, и сомнением, и ощущением какой-то неизбежной беды. О бельгийце он сейчас не думал. Не было желания думать. Внезапно вспыхнувшее возле взорванного моста подозрение теперь как-то само собой исчезло. Померкли и воспоминания о прошлом, будто он отложил их на время в самый дальний уголок памяти и дал волю тревоге, которая росла, становилась все более волнующей, нетерпимой.

Ехал в Ставки с генералом, а теперь вот остался один. Так случилось. Бронетранспортер, на котором выехали из городка, в конце концов перебрался на противоположный берег. Генерал поехал в штаб, а ему, Зажуре, сказал, чтобы добирался до села пешком: так быстрее.

«Вы обязаны сделать все, чтобы немец не прошел через ваши позиции, капитан!» — тоном приказа напомнил генерал.

Так прямо и сказал: «Через ваши позиции», будто посылал Зажуру командовать полком.

Торопливо шагая по скользкой тропе, капитан со все большим беспокойством вдумывался в суровый смысл приказа. На секунду мелькнула мысль: почему, собственно, он, раненый капитан Зажура, обязан сделать все возможное, чтобы немец не прошел через боевые позиции подразделений, обороняющихся в районе Ставков? Но тут же одернул себя: «А как же иначе? Ведь я знаю тайну противника и обязан рассказать о ней там, в родных Ставках. Главное — успеть предупредить, чтобы было время

подготовиться к отпору врагу. На войне дорога каждая минута».

Лесу, казалось, не будет конца. Оголенные деревья наплывали серой сплошной громадой. Время от времени стежка делала крутой поворот в чащу, утопала в глубоком, рыхлом снегу, затем вновь выбегала на опушку. Зажура умышленно пошел не по шоссе, а выбрал этот лесной путь: все-таки немного ближе.

Вдруг в его сознании с холодной четкостью всплыло белобровое лицо бельгийца. Да, у моста был он, Леопольд Ренн, коммунист в форме эсэсовца. Что-то невероятное! Как он изменился за прошедшие годы! Одряхлел, опустился. Может, от испуга, что оказался в плену?

Да, он, Максим, знает этого белобрового, знает, как коммуниста. Когда он впервые увидел его, с ним был молодой, круглощекий, добродушный немец, тоже коммунист, тоже боец Интернациональной бригады в Испании.

Это случилось во время первой поездки Зажуры за границу. На Западе собирались грозные тучи. Европу лихорадило. Немецкие фашисты с каждым днем наглели. Франция фактически уже воевала с гитлеровской Германией, только война была воистину странной. Немецкие дивизии почти открыто, без каких-либо помех накапливались у линии Мажино, готовясь к ее прорыву. В газетах публиковались пространные сообщения о диверсиях на французских военных заводах, а «деловой» Париж безумствовал в развлечениях. В фешенебельных ресторанах за тонкими шторами отдельных кабинетов провозглашались торжественные тосты «за самого интересного, самого восхитительного мужчину Европы мосье Гитлера», сыпались проклятия на головы большевиков, на «погрязшую в милитаризме» большевистскую Россию.

Советских экспертов встречали с подчеркнутым холодком. Полиция внимательно следила за каждым их шагом. Гостиничные портье чванливо отворачивались. Только в портовом городке Лориане местный мэр, старый радикал-социалист, проявил некоторую внешнюю учтивость. «О, великая Россия!» Мэр с задумчивой грустью вспоминал маленькие, уютные московские церкви, сибирские пельмени, расстегаи и русские тройки. Лориан гудел ветрами с Атлантики, а над ним в сизой высоте дни и ночи завывали разведывательные немецкие самолеты.

Морские волны с назойливой тщательностью обмывали безлюдные, осиротевшие пляжи.

Как-то ночью Зажуру поднял с гостиничной постели настойчивый стук в дверь. В коридоре стояли двое — напуганные и усталые. Вошли в номер. Виновато улыбаясь, стали наперебой объяснять, что за ними гонится полиция, что на улице их разыскивают жандармы и вооруженные кагуляры. Один назвался немцем, другой — белобровый, худощавый — теперь Зажура ясно вспомнил, — другой был бельгийцем Леопольдом Ренном, адвокатом из города Гента. Он знал русский язык, говорил быстро и просительно:

«Мы из Испании. Воевали в Интернациональной бригаде. Это — мой командир, немец, антифашист. Кагуляры Даладье собираются передать нас в руки фалангистов. Просим у вас защиты».

«Но я член советской военной делегации. Поскольку за вами гонится полиция, у нас могут быть осложнения, неприятности», — проговорил в ответ Зажура, настороженно прислушиваясь к шагам на лестнице.

«Мы верим, что вы поможете нам, не выдадите нас. Жандармы не посмеют ночью войти в ваш номер, не станут беспокоить вас. — Белобровый судорожно схватил Максима за руку. — Поймите, кроме вас, нам никто не поможет...»

Зажура стоял в одной пижаме, растерянный, полный противоречивых чувств. Незнакомцы теснились возле ванны в маленькой прихожей и смотрели на него с тоскливой надеждой. «Кто они? — в свою очередь размышлял Зажура. — Может, это провокация? А если нет? Разве может он, коммунист, оставить без помощи героев Интернациональной бригады?» Слова «Испания», «Интернациональная бригада» были для него священными. С республиканской Испанией были сердца всех честных людей мира. И вот перед ним два бойца-республиканца, два загнанных, измученных человека. Как быть? Как помочь им? Если полиция обнаружит их в его номере — неизбежен скандал, большой скандал, грозящий очень серьезными последствиями.

Зажура еще раз прислушался. Внизу было тихо. Он твердо сжал в руке дверную ручку, повернул ключ. Все! Товарищи, боровшиеся против кровавой диктатуры Франко, могут ему верить. Он оставляет их у себя.

Потом была долгая ночь, тихий, доверительный шепот за столом при тусклом свете ночника, пьянящe-горький запах сигарет и воспоминания, воспоминания без конца. Немец (он помнится Зажуре этаким розовощеким крепышом) намеревался возвратиться в Германию, в Берлин, где, как он говорил, его ждали друзья-подпольщики. Бельгиец же заявил, что хочет отдохнуть, уйти от дел, так как зверски устал от всего пережитого и его нервы больше не выдерживают. «Война сломала Европу! — патетически восклицал он. — Я перестал верить в человека. На смену цивилизации приходит необузданная сила, для которой нет ничего святого!..» Немец в шутку назвал его утомленным скептиком, еще не пришедшим в себя после испанских боев. Но бельгиец только уныло отмахнулся и больше не произнес ни слова.

Они ушли на рассвете. После них в номере остался горьковатый запах сигаретного дыма. Ни адресов, ни обещаний на будущее. Все давно минуло, забылось, как в суматохе неотложных дел забывается виденный перед пробуждением сон. И вдруг опять эти испуганные, просящие глаза Леопольда Ренна: «Вы можете меня расстрелять... если я говорю неправду!..» И серебристо-серый мундир эсэсовского офицера! Какое ужасающее перевоплощение! Кто же он теперь, этот Леопольд Ренн? Подпольщик, надевший на себя мундир эсэсовца, чтобы вести подрывную работу в нацистских войсках, или просто переметнувшийся к гитлеровцам ренегат? Там, на западе, есть и такие.

Справа, на взгорье, среди поля Зажура увидел пустой, полуразвалившийся коровник. Вероятно, тут было когда-то летнее стойбище для колхозного скота. Над колодцем возле длинных деревянных корыт сиротливо замер журавль. Стены скотного двора разрушены, кругом разбросана полусгнившая солома. Даже тут война оставила свою печать, прокатилась смертоносным валом. Леопольд Ренн сказал тогда в Лориане: «На смену цивилизации приходит необузданная сила...» Нет, приятель, цивилизация будет жить, а фашистская сила, что чернит землю смертными знаками, уйдет с дороги. Эти поля вновь обретут мир. Возле колодца с высоким журавлем опять будут бегать, задрав хвосты, пестрые телята, тыкаться глупыми мордочками в корыта с ключевой водой, а в заново отстроенном коровнике какой-нибудь дядька-степовик будет

ловко орудовать вилами, наводя чистоту и порядок в стойлах. Придет время — оно уже близко, — когда над всей этой мирной благодатью с новой силой засияет солнце. Никто и никогда не погасит его.

«На идиллию потянуло, — упрекнул себя Зажура. — Забыл ты, брат, что до тех пор, пока солнце улыбнется, ему еще вдоволь придется насмотреться пожаров, надышаться горькими дымами...» И тут, словно в подтверждение его мыслей, впереди зачернела обгорелыми стенами небольшая изба. Была она без крыши и окон, но над ней курился легкий дымок, кто-то, вероятно, пригрелся там, разведя нехитрый бивуачный огонь. «Друзья или лесные бродяги? — настороженно подумал Зажура. — Всякие бродят теперь по лесам: и немцы ищут тепла, и дезертиры».

Зашагал шире. Не мог подавить в себе любопытства, словно предчувствовал, что сейчас с ним случится что-то необычайное и что ему от этого никуда не уйти.

Вот и узенький створ без двери, темные сени, опять открытый створ. Зажура слегка наклонил голову, переступил порог и сразу очутился в светлице без пола и потолка с нависшими вверху обуглившимися стропилами крыши.

У костра сидели двое: военный в командирской фуражке, потрепанной шинели и парнишка в просторной на вырост свитке. В свете костра их лица и руки казались розовыми, а сзади от стен на их спины наваливалась темнота. Максиму подумалось, что они развели огонь лишь для того, чтобы оградить себя от этой тьмы, от холодного лесного безлюдья.

Бывает достаточно одного беглого взгляда, чтобы без расспросов, без подозрительной недоверчивости угадать: друзья перед тобой или враги. Зажура сразу понял: свои — и еще от порога радушно поздоровался:

— Добрый день, товарищи!

Военный повернул к нему чуть продолговатое лицо, спокойно ответил:

— Здравствуйте, капитан! Присаживайтесь к огню, отогревайтесь.

Только на фронте бывают такие простые и быстрые знакомства. Садись, твое место у огня! Грейся, не теряй зря времени! Может, завтра вместе будем в бою. Короткие знакомства, постоянные разлуки!

Засиживаться было некогда. Зажура протянул человеку в шинели руку, приветливо кивнул парнишке, назвал свою фамилию. Военный, сидевший у костра, на какое-то мгновение задумался, потер пальцами лоб, будто не сразу поверил услышанному. Потом быстро вскочил на ноги, крикнул:

— Вася, тащи сюда «сидора» со всеми запасами! Надо накормить гостя и самим заправиться. — Положил на плечи Зажуре тяжелые руки, пристально посмотрел в глаза. — Вы Максим?

— Самый настоящий, единственный в своем роде Максим, по батюшке Захарович! — ответил Зажура.

— Брат Павла Зажуры?

— Точно, родной брат. — Максиму пришлись по душе вопросы незнакомца, и он отвечал на них с полудетской шутливостью, с затаенной в уголках губ радостной улыбкой. — Выходит, не зря выбрал этот путь, не пошел по шоссе! Интересно, кого вы тут ждете?

— Возможно, вас, капитан!

— Ну что ж, верю, пусть будет так, — снова весело улыбнулся Зажура.

Глаза у незнакомца удивительно голубые, как бы освещенные изнутри. Из-под фуражки выбиваются светлые, чуть курчавые волосы. Красивый парень! На вид лет тридцать. Под шинелью — летная кожаная куртка, потертые синие галифе.

Оказывается, он летчик, старший лейтенант Задеснянский, с четырехмесячным партизанским стажем. Лесное братство изрядно ему надоело. Тянет в небо. Ждет не дождется момента, когда вновь почувствует в руках штурвал самолета. Собственно, сейчас он держит путь в свой полк. Его друзья-авиаторы расположились неподалеку от Ставков, на бывшем немецком аэродроме. О нем уже знают. Специально послали ЗИС, да водитель выбрал не очень удачный путь — лесом. Грузовик засел в яру. Теперь шофер с солдатами выталкивает его на ровную дорогу.

Парнишка принес вещевой мешок. Задеснянский присел к огню, со спокойной деловитостью стал выкладывать из него небогатые запасы.

— Садитесь, товарищ капитан, поближе, — предложил он Зажуре. — Все равно раньше нас в Ставки не попадете. Как там с машиной, Вася? — обернулся он к молчаливому пареньку.

Тот сказал, что почти все готово, осталось залить бензин. При этих словах юный партизан застенчиво посмотрел на капитана. Их взгляды встретились. «До чего ж знакомое лицо! — подумал Зажура. — Не наш ли паренек?!» Синевато-бледные щеки, большие-большие глаза, не по-детски серьезные...

В памяти Зажуры все выразительнее проступал знакомый образ, все отчетливее обрастал деталями: сначала глаза, затем нос, припухлые губы, потом...

— Слушай, паренек, твоя фамилия Станчик? — единым выдохом дополнил картину Зажура.

— Станчик. А что? — простуженно ответил юный партизан без тени волнения или радости.

— Вася Станчик!.. А я все думаю, где я тебя видел.

На Зажуру будто повеяло теплым, родным ветерком. Сердце радостно заколотилось. Все-таки узнал! Вася Станчик! Вот ты какой стал! Почти юноша!.. Большая, трудолюбивая семья Станчиков жила до войны по соседству с Зажурами. В ней было пятеро или шестеро ребятишек: все немногословные, молчаливые, как и их отец, колхозный плотник. Вася — самый младший. Зажура знал его еще совсем маленьким воробейчиком — в сереньких полотняных штанишках с тесемкой через плечо, худеньким и загорелым. Часто посылал в дом лесника с посланиями к Зосе. Василек охотно исполнял просьбы студента. Зажмет, бывало, в кулаке бумажку, оседлает хворостину и гарцует к лесу, вздымая босыми ногами пыль на всю улицу.

— Подрос ты, Василек, здорово подрос, — ласково потрепал Зажура паренька за худенькое плечо. — И, видать, успел уже научиться военному ремеслу? — спросил он то ли с уважением, то ли с грустью.

— Я двух немцев убил,—с вызовом ответил паренек.

— Герой!

Зажура глянул мальчику в глаза и невольно нахмурился: таким холодным ожесточением полыхали его зрачки! «Рано ж ты повзрослел, бедняга! — подумал Максим. — Жаль, если останешься таким навсегда и никто не услышит твоего беззаботного смеха, не увидит теплых искорок в твоих больших глазах!»

Задеснянский разлил в немецкие алюминиевые кружки спирт. Выпили. Василек хлебнул по-взрослому, запрокинув голову. При этом выражение его детского лица ста-

ло еще жестче и холоднее. Затем принялись за печеную картошку. Она была горячей, обжигала пальцы, приходилось то и дело перебрасывать ее в ладонях, и от этого становилось спокойнее, теплее на душе. Обгорелые, черные клубни словно роднили и сближали этих разных, почти незнакомых людей.

— А теперь скажите по совести, — обернулся Зажура к Задеснянскому, — откуда вы меня знаете?

— Нехитрое дело, — с печальной задумчивостью ответил летчик, перекидывая с ладони на ладонь только что извлеченную из костра картофелину. — Народная молва, товарищ капитан, та самая молва, о которой местный историк сказал, что она пахнет землей, переходит в легенду и становится бессмертной.

— О, вы поэт! — обрадовался Зажура: он любил людей с нежной, поэтической душой. — Значит, вы знаете и моего первого учителя Теслю?

Ему не терпелось спросить о другом — об отце, матери, брате Павле, о Зосе, но спрашивать было страшно: сдерживала какая-то тлеющая в сердце подсознательная осторожность. Почему ни Задеснянский, ни Василек до сих пор ничего не сказали о них? Промолчал и Андрей Северинович при встрече. Поезжай в село — и все! А живы ли старики, жив ли брат — об этом ни слова. Почему? Уж кто-кто, а Андрей-то Северинович должен был сказать — они с отцом старые друзья.

Зажура тяжело вздохнул, набрал полную грудь воздуха.

— Скорее бы ехать! Что-то ваш водитель задерживается, — проговорил он и неожиданно резко выпалил: — Моих давно видели? — В упор посмотрел в лицо Задеснянскому. — Знаете их? А?

Летчик помешал палочкой в золе, взял в ладони обожженную картофелину, разломил ее на две половинки и только после этого поднял глаза на Зажуру. Он ждал этого вопроса, ждал с минуты на минуту.

— Павел Захарович погиб, — сказал он насупленно, и под глазом у него точно что-то дернулось. — А Захара Сергеевича недели две назад схватили гестаповцы. Жив ли — никто не знает.

Говорят, слово — острый нож. Можно убить человека сразу, можно и поранить так, что потом весь век будет жить с болью в груди. Сначала войдет в него такое сло-

во, порежет внутри все жилы и там запечется раной. Вот так и Зажура всем телом ощутил его в себе. Понял: это навсегда.

— С Павлом Захаровичем мы четыре месяца вместе воевали, всегда рядом, бок о бок, — тихо и грустно продолжал Задеснянский. — В последнем бою, когда блокировали немецкий аэродром, тоже рядом шли. И вдруг пулемет. Я успел упасть, а его замертво скосило очередью. Потом и меня контузило. Что дальше было, не помню. Очнулся в лесу. Вот он, — кивнул в сторону Васи, —из-под огня вынес. Целую неделю мы прятались с ним в лесной глуши, пока наши не подошли.

Зажура уже не слушал. В глазах у него плыли красные круги. Полыхающий костер слепил. Он опустил веки, тряхнул головой, но красные круги не исчезли. Тогда он тяжело поднялся, бледный, неловкий со своей подвешенной на повязке левой рукой, долгим, тоскливым взглядом посмотрел на Задеснянского, хотел что-то сказать и, не промолвив ни слова, вышел за дверь.

— Дядя!.. — вскочил было вслед за ним Вася, но Задеснянский властным движением руки задержал его:

— Сиди, в такой беде человеку не поможешь!

И они остались у костра вдвоем, а за стеной молча, без слез плакал Максим. Вокруг была холодная пустота, какой он не знал никогда в жизни...

Из леса вышел солдат с подоткнутыми за пояс полами шинели, потный, усталый, забрызганный грязью, но довольный. Шапка набекрень, в зубах — толстая самокрутка. Юркнул в темный створ двери, доложил, что машина готова, можно ехать.

Максиму из-за стены было слышно, как Задеснянский с солдатом о чем-то разговаривали возле костра. Голоса их в пустой, заброшенной избе раздавались громко и отчетливо, но смысл слов не доходил до Максима. Потом все трое вышли. Задеснянский взял Максима за локоть, легонько стиснул:

— Поехали, капитан! — И тяжело зашагал в лесную глухомань, где за поворотом, на просеке, стояла машина.

Ехали на гром канонады. Приближались к огненно-зловещему водовороту, где смерть сошлась в жестоком единоборстве с жизнью, где порой земля забывала о древ-

нем и святом предназначении — на тверди своей носить и питать людей. Она разверзалась под ними воронками и окопами, глотала их вместе с пороховым дымом и прокаленной сталью.

Обогнали несколько маршевых подразделений, что вереницами тянулись по обочине размытой дороги. С высоты кузова люди казались Зажуре серыми и однообразными тенями. Они шагали устало, понурив головы, точно с трудом несли на себе всю тяжесть войны. То и дело приходилось объезжать застывшие в бессильной окаменелости подбитые немецкие танки с четкими, ярко-белыми крестами на броне, повозки с поднятыми вверх, как стволы зениток, оглоблями. Земля окрест была усеяна жестяными банками от немецких противогазов и россыпями штабных бумаг.

Сильная, ничем не загруженная машина, разбрызгивая грязь, с разгона преодолевала наполненные водой лужи, брала такие препятствия, которые подчас не по плечу были полуторкам и даже трехтонкам с боеприпасами, с мешками и ящиками продовольствия. Над полями разносился надсадный рев моторов: буксовали студебеккеры, буксовали неутомимые ЗИСы и ГАЗы. Возле застрявших в липком черноземе машин толпились солдаты в мокрых и грязных шинелях, что-то подкапывали, подпихивали, толкали грузовики плечами, на все лады проклиная безвременную оттепель.

Постепенно машин стало меньше. Дорога сделалась пустынной и однообразной. По сторонам замелькали настороженно-темные, слегка присыпанные соломой брустверы окопов. Звеня гусеницами, промчался навстречу танк. Впереди все отчетливее слышались пулеметные и автоматные очереди — где-то за холмами шел бой.

Наконец показались избы, сараи, овины. Неподалеку от въезда в село фанерный указатель — «Ставки». Возле крайней избы солдат поднял флажок — дальше ехать нельзя. Рядом с солдатом стоял пожилой мужчина в странном убранстве — долгополом старомодном пальто и не менее старомодной шляпе с помятыми полями. Сквозь толстые стекла очков в металлической оправе он внимательно всматривался в конец сельской улицы, откуда слышались пулеметные очереди.

«Так это же Тесля, мой первый учитель, моя мудрость! — радостно-удивленный подумал Зажура. — Узнает

он меня или нет? Может, я так изменился, что трудно признать во мне бывшего ученика-подростка?»

Старому Тесле было не до узнавания. Сейчас он стоял на посту, с винтовкой в руках охранял дорогу.

Солдат с автоматом крикнул водителю, чтобы тот быстрее сворачивал в переулок и не разевал рот, пока не перестреляли всех, как воробьев. «Кто перестреляет?» — «Как кто? Немцы почти рядом, атакуют наших вон там, за балкой. Уже несколько раз саданули по селу из пушек».

«Атакуют Ставки! — с горечью подумал Зажура. — Спешил в родной дом долечиваться, а тут бой».

Однако сразу почувствовал облегчение: приехал вовремя! К чему сейчас думать о ранах, если даже старый Тесля взял в руки винтовку! А главное — вокруг свои, близкие люди.

Зажура сощурил глаза. На его лице появилось подобие улыбки.

— Чему вы радуетесь, товарищ офицер? Чему улыбаетесь, когда вокруг творится такое, аж плакать хочется? — приблизился к машине старый Тесля, не подозревая, что перед ним его любимый ученик.

— Вспомнилось мне, Иван Григорьевич, как вельможный гетман Потоцкий переправлялся близ Корсуня через Рось и замочил штаны, а вода была холодная. Вот я и подумал: сейчас тоже холодновато, и у немцев мокро в штанах. Как вы считаете: прав я или нет?

Услышав от офицера этот рассказ, Тесля на секунду остолбенел, потом ухватился обеими руками за борт машины, с радостным блеском в подслеповатых глазах уставился на Зажуру.

— Максим!.. Мальчик мой!

Зажура прыгнул с машины и угодил прямо в объятия старого учителя.

— Все-таки узнали, Иван Григорьевич!

— Узнал, узнал, Максим. Как не узнать! А бинты почему? — Тесля горестно покачал головой. — Не уберегся от проклятой?

— А вы разве береглись тут? — сразу изменившимся голосом проговорил Максим, будто с разбегу окунулся в собственное горе. — Отец мой разве берегся? А брат?..

— Нет, нет, не хорони Захара Сергеевича раньше времени! — с горячей убежденностью остановил его старый

учитель. — Могилы твоего отца никто не видел. А мы знаем и плен, и тюрьмы. Не из таких переделок выбирались люди. С Павлом тоже не все еще известно. Может, жив, кто знает? Сильный был командир Павел, смелый, как и ты. Вот раненый, весь в бинтах, а все-таки приехал нас оборонять от супостатов.

«Я не оборонять вас ехал, — хотелось сказать Зажуре, — а долечивать свои раны. Я соскучился по вас, по вашему доброму слову. А вы тоже стали солдатом, в вас тоже стреляют».

Задеснянский спорил с подошедшим к машине сержантом из заградительного отряда, рослым, плотно скроенным усачом. Худощавый летчик казался перед ним мальчишкой и со свойственной молодости горячностью доказывал, что едет на аэродром, который находится где-то неподалеку от села, что возвращается в свой полк и должен прибыть туда обязательно сегодня: его там ждут. Сержант внимательно слушал, кивал и беспомощно разводил руками.

— Не могу пропустить, товарищ старший лейтенант, не проедете вы. Верно, вчера летчики перелетели сюда, расположились на бывшем немецком аэродроме. Это недалеко, только сейчас туда на машине ни за что не добраться. Не имею права пропустить вас. И не гневайтесь, товарищ старший лейтенант. Мое дело казенное — служба, приказ.

Каждый стоял на своем. И кто знает, чем бы закончился этот спор, если бы их не рассудил вражеский снаряд. С тоскливым воем простонав над дорогой, он взорвался за избами, на огородах, взметнув тучу едкого дыма.

Сержант, теперь уже не обращая внимания на летчика, строго крикнул водителю:

— А ну, съезжай быстро, не демаскируй нас!

Вслед за первым снарядом взорвался второй, третий... Впереди застрочили пулеметы, сыпанули мелкой дробью автоматы. Возле рощи все яростнее разгорался бой.

Сидевший рядом с водителем Василек быстро открыл дверцу, легко выпрыгнул на шоссе, одернул полушубок, сдвинул на затылок шапку-ушанку и спокойно, с рассудительностью взрослого сказал Задеснянскому, что до аэродрома можно добраться и без машины, в обход, через хутор. Если товарищ старший лейтенант согласен, они будут там в два счета, даже быстрее, чем на машине.

Насчет того что быстрее, он, конечно, приврал. Без умысла приврал, просто так, с досады. Он был зол на сержанта, чувствовал себя обиженным. Ну чего тот, в самом деле, заупрямился, не пропустил машину хотя бы до сельсовета? Там Василек лихо выпрыгнул бы из кабины, встретился со своими однолетками. Пусть бы посмотрели на его партизанскую медаль, которую месяц назад вручил ему командир отряда. Но нелегкая партизанская жизнь научила Васю скрывать свои огорчения.

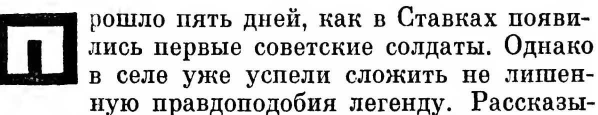
— Пойдемте, товарищ старший лейтенант! Чего ждать? — сказал он деловито. — Точно проведу.

— Сейчас пойдем. Только попрощаемся с капитаном. — Задеснянский огляделся, ища Зажуру. Увидел его возле соседнего дома, побежал к нему. Хотя познакомились они всего два часа назад, их уже что-то крепко связывало между собой и нелегко было сразу расстаться.

— Заезжайте ко мне, как выкроите свободное время, — пригласил Максим. — Наш дом за третьим прудом, спросите, все знают.

— Зажур тут знают! — ответил ему улыбкой Задеснянский. — Ну, всего вам доброго, капитан! Держитесь, не пускайте в село немца, а когда немного утихомирится, обязательно встретимся, выпьем по чарке. — И, не оглядываясь, широко зашагал вслед за своим юным проводником.

7



Прошло пять дней, как в Ставках появились первые советские солдаты. Однако в селе уже успели сложить не лишенную правдоподобия легенду. Рассказывали, будто однажды вечером, с наступлением темноты, кто-то постучал в окно одной из хат, что на околице. На стук вышел парнишка лет четырнадцати. У крыльца стояли мужчина и женщина — молодые, с небольшими, но тяжелыми холщовыми котомками за спинами.

— Нельзя ли у вас переночевать? — обратился к пареньку мужчина.

— А вы откуда?

— Корсуньские. Солью промышляем, меняем на хлеб, на сало, на картошку. За ночлег тоже солью заплатим.

Мальчик посмотрел на пришельцев с явной неприязнью: «Шляются тут всякие. Небось за щепотку соли целый каравай потребуют. Спекулянты! — Однако тут же решил: — Если дадут соли, пусть ночуют, места не пролежат». Неприязнь сменилась чувством жалости к соляным торговцам. Нелегкий ведь у них промысел: попробуй походи в стужу, в слякоть из села в село, да еще с такой ношей на плечах!

— Заходьте в хату, — пригласил мальчонка. — Насчет ночевки мамка придет скажет, она скоро вернется, а вы пока обогрейтесь и обсушитесь малость.

Он проводил гостей в горницу.

— Сидайте, — предложил, — отдыхайте, а я борща вам налью. Проголодались небось?

Отошел к печке, застучал мисками, ложками.

А «торговцы солью» при свете каганца увидели на стене среди семейных фотографий портрет советского командира: в петлицах довоенные кубари, на голове фуражка со звездой. Сразу смекнули: в этой избе, видать, живут добрые люди, поэтому нечего ломать комедию. И тогда «баба» стянула с себя юбку, скинула с головы платок, расправила плечи. Смотри, дескать, парень, кто мы есть на самом деле, да не робей! Мы особые соленосы, и соль у нас дюже колючая — смертью пахнет... Перед оторопевшим пареньком вместо жены и мужа стояли советские солдаты, скупо улыбаясь, тая в глазах тревогу.

Вскоре вернулась хозяйка. «Неужели наши пришли?» — всплеснула она руками. Потом засуетилась возле печи, стала готовить ужин. Вытирая радостные слезы, спросила, не останутся ли дорогие гости ночевать, но те отказались: «Не время спать, мамаша, дел много!»

Это были разведчики. Паренек тайком провел их по селу, показал, где стоят немецкие интенданты, в какой хате отсыпается их начальник. Все было взято разведчиками на заметку. А для надежности они решили прихватить с собой «языка» — немецкого интендантского офицера. Застали его в постели, заткнули кляпом рот, связали руки и увели.

Следующий день прошел в тревоге и неведении. Немецкая хозяйственная команда, что располагалась на колхозном дворе, к вечеру драпанула из села, оставив после себя подводу без одного колеса и битюга-тяжеловоза с вывихнутой ногой, который дремал у колодца, без-

заботно помахивая куцым хвостом. Двое полицаев удрали еще раньше. Все насторожилось, замерло в ожидании.

Ночью в село без боя вошли советские танки и стрелковые подразделения. Радости ставичан не было предела. В избах началась веселая суматоха: кто резал кур, кто разводил за клуней костер, смолил чудом уцелевшего поросенка. В глазах у девчат — хмельной блеск: свои пришли, родные! Конец вражьей неволе!

Не успели, однако, молодицы расшуровать в печах огонь, не успели утомленные, иззябшие солдаты просушить мокрые шинели и портянки, как на восточной околице, со стороны Корсуньского шоссе, заговорили вражеские пулеметы. Опять немцы!

Весь следующий день советский полк отражал контратаки противника. Правда, контратаковали немцы осторожно, будто с оглядкой, видно, только прощупывали нашу оборону, но уже чувствовалось: нелегкая судьба ждет ставичан.

Максим торопливо шагал по сельской улице, шагал прямо по грязи, не выбирая дороги. Он ничего не замечал вокруг: ни людей, изредка встречавшихся ему, ни притихших за тынами опаленных ветрами тополей, ни набухших водой прудов. В его душе еще теплилась надежда. Может быть, отец жив и уже вернулся домой? Может, случилось чудо, и Павел тоже не погиб, выжил?

На огороде взметнул землю разорвавшийся снаряд. Всполошенные куры, махая крыльями, с шумом выскочили со двора на улицу прямо под ноги Зажуре. Над местом взрыва поднялся сизый дым, перемешанный с пухом и перьями. Ударило снова, теперь где-то дальше, за прудом. Послышался детский плач, тоскливый и жалкий.

Максим ускорил шаг. «Веселое начало! — горько усмехнулся он. — А завтра, если бельгиец сказал правду, будет еще горячее. Возможно, немцы тут и попытаются прорваться к Лысянке».

Он остановился у неглубокой колдобины. На ее дне в грязи белела затоптанная, измятая сапогами и колесами тряпка, расшитая по белому красными цветами. Беззащитные, всеми забытые красные цветы! А может, кровь? Цветы как кровь, и кровь как цветы!.. Он постоял, равнодушно посмотрел, пошел дальше. «На смену цивилизации

приходит необузданная сила», — сказал Леопольд Ренн. Вася Станчик убил двух немцев. Дети побратались со смертью. В глазах Васи ненависть и темнота. Может быть, в моих глазах такая же темнота?»

— Товарищ капитан! Вы не знаете, где третья рота?

Максим обернулся на голос. Под хатами на узенькой стежке остановилась небольшая колонна новобранцев, одетых по-домашнему: кто в полушубке, кто в пальто, кто в сапогах, а некоторые в чунях. У всех за плечами винтовки. К Зажуре подъехал верховой на низенькой мохнатой лошади монгольской породы.

— Вероятно, там, за высотой, у дороги! — неуверенно пожал плечами Максим.

Колонна двинулась к шоссе. Зажура долго смотрел ей вслед. И чем дальше она отходила, тем тяжелее становилось у него на сердце.

«Генерал сказал — поднимай село на оборону, на помощь войскам, а меня тянет домой. Ну и защитник!.. Хотя у каждого свое. Больше болит то, что ближе...»

Улица свернула вниз, к плотине. Вот и пруд. Знакомые места! Зажура подошел к самому берегу. На противоположной стороне, между ольхами, вился крутой подъем, с которого в детстве Максим вместе с соседскими ребятишками не раз съезжал на санях и ледянках. Увидел настил из досок. Там он сидел по утрам с удочкой, закутавшись в старое отцовское пальто; в раннюю пору на воде всегда было тихо, пруд еще сонно парил, только в камышах надоедливо квакали лягушки.

Эта мирная картина родного села так разволновала его, что он невольно остановился у плотины.

Возможно, так и стоял бы в тоскливой задумчивости, но тут в небе послышался надсадный, вибрирующий гул. Инстинктивно пригнув голову, Максим перебежал плотину и только потом глянул вверх: немецкие бомбардировщики вытягивались кильватером для пикирования. Натренированным глазом Зажура определил: бомбы упадут на шоссе, возможно, там, куда только что прошла колонна новобранцев.

Он видел, как «юнкерсы», сваливаясь на левое крыло, круто опускались вниз, как от их туловищ острыми, черными каплями отделялись бомбы. Всем своим существом Максим чувствовал, как вздрагивала и колыхалась от взрывов земля. А «юнкерсы», выходя из пике, снова воз-

вращались и снова поливали шоссе черным, грохочущим дождем.

Когда бомбардировщики ушли на запад, на какое-то мгновение наступила звенящая тишина, тягостная и прозрачная. На околице села, близ шоссе, взметнулись пожары, загорелись два или три дома. В серое небо сквозь влажную ясность дня потянулись клубы черного дыма. Над крышами сельских изб, над сиротливо-оголенными тополями заполыхали красные языки огня.

Тополя! Неизменные, молчаливые стражи человеческих жилищ! Летом они щедро рассеивают по ветру снежно-белый пух, в зимнюю пору уныло звенят иззябшими ветвями. Зажура любил их. Они всегда были с ним рядом, где бы он ни находился, всегда возникали перед его взором во всей пышной, манящей красе. Даже во Франции, в туманной Бретани, увидев их издалека, он вспомнил отчий дом. Они трепетали листьями, покрывались серебристой зыбью, блестели на солнце, как во время штиля блестят бесконечные воды Атлантики. Изредка над ними пролетали немецкие самолеты, пролетали высоко в небе и казались маленькими, словно игрушечными, беззлобно-далекими. Не самолеты, а комочки гула, материализованные сгустки удивительного, нереального страшилища, имя которому — война.

Мэр Лориана, добродушный старик с белыми кисточками бровей над темными провалами глаз, удивился, когда Зажура спросил его, почему французские зенитные батареи не открывают огня по вражеским разведчикам, почему небо Франции отдано на откуп бошам.

«Вы забываете, мосье, что мы живем в век цивилизации, — снисходительно скривил губы старый радикал. — Война с немцами идет там, на линии Мажино, на фронте, а тут — глубокий тыл. Немецкая авиация строго придерживается Гаагских законов. Уверяю вас, международное право защитит нас надежнее, чем самые мощные зенитные системы».

«Извините, мосье! — попробовал возразить ему молодой советский лейтенант. — Вы забываете о Мадриде и Варшаве. Кому не известно, что немцы слишком вольно толкуют Гаагские соглашения...»

«О, нет! — с добродушной отеческой улыбкой отвечал мэр. — Настоящая война — это война в рамках законности. Разумеется, возможны отдельные эксцессы: недис-

циплинированность некоторых солдат или младших офицеров может иногда приводить к нарушению правопорядка. Но мы верим в цивилизацию и современный дух Германии».

«Там жгут книги, мосье, совершают надругательства над мировой культурой!»

«Война и политика — разные вещи, мосье».

«Но ведь и Франция начала эту войну по политическим соображениям, во имя справедливости, чтобы помочь своему союзнику — Польше».

Мэру скучно было спорить о войне. И некогда. Стояла ужасная жара. В уютном ресторане его ждал обед с шефом английской туристской фирмы, с которым предстояло обсудить детали будущего курортного сезона. Старый радикал-социалист не терял надежды, что «законная» война быстро кончится и на пляжах Лориана вновь появятся расфранченные, скучающие бездельники из-за Ла-Манша.

Где он сейчас, этот доверчивый, педантичный мэр со своими наивными иллюзиями? Может, все еще слоняется по безлюдным пляжам Бретани? А может, брошенный в застенки гестапо, посылает проклятия богу, так безжалостно обманувшему старика в его лучших надеждах?

В те летние дни сорокового года в Берлине еще не был окончательно разработан зловещий план «Барбаросса». Нацистские генералы все еще обсуждали детали. Однако на оперативных картах германского генерального штаба были уже вычерчены синие стрелы, направленные на Париж и туманную Англию. Пройдет еще год, и желтые тучи пыли от немецких танков поднимутся над просторами Ливии, лязг их гусениц докатится до Волги. И тогда фельдмаршал Кейтель поставит свою по-канцелярски строгую подпись под приказом о расстреле военнопленных: «Принимая во внимание неподготовленность имперских служб к принятию больших масс живой силы противника...» Формулировки будут четко и логично обоснованы, в каждом слове будет звучать властность и «государственная законность».

О, старый, наивный мэр Лориана! Он не мог или просто не хотел верить в возможность появления таких «государственных» рескриптов. Он не считал нужным даже думать о том, что Кейтель «именем тысячелетней империи» введет в действие самое черное беззаконие ве-

ка. У старого радикала были собственные иллюзии, и расстаться с ними ему было так же трудно, как с жизнью.

Изба Зажур, старая и ветхая, с темной соломенной крышей и маленькими окнами, ютилась в стороне от главной улицы. Во дворе, за полуистлевшим забором, Максим увидел санитарную машину с большим красным крестом по белому кругу. Из дверей хаты санитары вынесли раненого, положили в кузов. «Уж не медсанбат ли тут разместился?» — подумал он невольно и вдруг увидел на крылечке мать.

— Мама! — почему-то тихо, почти шепотом произнес он.

Не услышала. Высокая, статная степнячка, в платке и мужском полушубке, она что-то строго внушала стоявшему рядом солдату-санитару.

— Мама! — окликнул Максим чуть громче.

Она медленно обернулась на знакомый голос. Ее лицо побледнело, в глубоких, темных глазах мелькнул испуг. Не поверила сразу. Кто это? Крикнул «мама», а сам стоит у ворот, будто чужой.

Зажура быстро подошел к крыльцу. Мать протянула к нему руки, взяла за плечи, внимательно осмотрела с головы до ног и молча, словно теряя сознание, прижалась головой к его груди. Сердце Максима сжалось от боли.

Он чувствовал, как жадно она целует его сухими губами, как ощупывает пальцами лицо, шею, влажную шинель, но сам еще никак не мог рассмотреть ее.

— Максим, сынок! Чуяло мое сердце, что увижу тебя. — Она на самом деле ослабла, еле держалась на ногах. — Пойдем присядем, сынок! У нас тут со вчерашнего дня медсанбат стоит. Теперь вот собираются переезжать. Чего только я не нагляделась за ночь! Видела смерть, увечья, нечеловеческие муки. Все, чему я когда-то учила вас, детей, за одну ночь точно померкло. И когда все это кончится? Вот и ты, Максим, пришел весь в бинтах. В шею или в плечо ранен?

— Ничего, мама. Уже проходит.

— Крови, наверно, много потерял? Бледный какой и худой — ни лица, ни виду.

Пошли к завалинке. Мать посадила сына рядом с собой, и он теперь мог спокойно рассмотреть ее. Мать все

такая же. Свела колени вместе. Руки худые, изможденные, в синеватых прожилках. Нисколько не изменилась. И, пожалуй, не изменится. Всегда они для нас остаются такими, наши мамы. И мы для них остаемся до старости детьми.

— У Петренков тоже санбат, — вновь заговорила она, смахивая слезы. — Полная изба раненых. Ты скажи мне, сынок, я ведь кое-что смыслю в этом... Неужели везде так много гибнет людей? Одни на поле боя расстаются с жизнью, а другие тут, в медсанбате, или в госпитале умирают от ран. Вон, видишь седоусого доктора, что хлопочет возле машины? Он говорит, лекарств, бинтов не хватает. Как же так? Выходит, наши союзники и воевать по-настоящему не воюют, и даже лекарствами помочь не хотят.

— На войне всякое, мама, бывает, — попытался отговориться Максим.

— Ой, сынок, жаль людей. Больше все молодые. И ведь часто умирают из-за горячности, не берегут себя, на шальную пулю лезут. А пуля, она знает свое дело.

— В бою, мама, иначе нельзя. Пули и осколки там не мечены. А я давно заметил, мама, — пуля труса ищет. Смелость лучше оберегает от пуль и снарядов, чем излишняя осторожность, тем более трусость.

— Это я понимаю, сынок, сердцем понимаю — от пули не спрячешься, не убежишь. А вот нагляделась сегодня ночью на раненых, жутко стало. — Она виновато посмотрела на свои изъеденные мылом, стертые до крови руки, видно, перестирала целый ворох белья за ночь, потом торопливо поднялась. — Заговорила я тебя, а ты, наверное, голодный. Я что-нибудь сготовлю, посиди пока.

— Нет, нет, мама, не нужно, — преувеличенно бодрым голосом отозвался Максим, удерживая мать за руку.—Мы тут, недалеко, возле леса закусили. Ты лучше отдохни, посиди со мной.

Им было трудно разговаривать. Мать ждала, что он спросит об отце, о брате, и он знал, что терзает душу матери. Оба, как могли, оттягивали ту неизбежную минуту, когда будут произнесены имена дорогих им людей. Максим отважился первым:

— Я все знаю, мама.

Она прикусила нижнюю губу, быстро закивала головой, точно подтверждая случившееся и молча соглашаясь

с сыном. В ее строгих, полных слез глазах мелькнуло что-то суровое и далекое.

К ним подошел высокий, седоусый военврач, тихим голосом отозвал мать в сторону. Она посмотрела на него отсутствующим взглядом, устало-строгая пошла к сараю. Остановилась, обернулась к Максиму:

— Ты подожди, сынок! Я сейчас.

Он молча кивнул. Не было мыслей. Ничего не было. Вспомнилось детство. Мать любила сидеть на этой завалинке. Возвращаясь из школы — она всю жизнь учительствовала в младших классах, — проверяла здесь ученические тетради либо перед сумерками, когда стекла маленьких окон горели пожаром, а на стенах лежал розовый отблеск зари, лущила фасоль. И он, Максим, часто помогал ей в этом нехитром занятии. И тишина стояла тогда вокруг невероятная.

Из дома на крыльцо вышел раненый солдат, окинул близоруким взглядом двор и заковылял к санитарной машине. Потом в дверях появился степенный, пожилой солдат-санитар, держа в руках ручки носилок. За ним проплыли носилки. Зажура увидел на них прикрытый серым солдатским одеялом труп и услышал, как другой санитар, державший носилки сзади, спросил у пожилого:

— Лука, ты достал вторую лопату? Будем копать вдвоем, а то целый час провозимся.

Они понесли свою ношу в сад. Вероятно, там находилось медсанбатовское кладбище. В такт шагам санитаров мерно покачивалась голова мертвого.

Мать вернулась немного успокоенной. Максим понял: она бралась за любую работу, лишь бы не оставаться наедине со своим горем. И тогда Максим подумал, что, пока у нее во дворе шумно, пока суетятся тут эти трудяги-санитары, хлопают дверью, толкаются, переругиваются между собой, а у нее все время требуют то ведерко, то лопату, то старое рядно, то еще что-нибудь очень нужное, она может кое-как перебиваться в заботах. Но, не дай бог, загрустит в одиночестве.

— Мне пора. Я пойду, мама, — поднялся Максим навстречу матери.

— Ты скоро придешь? — спросила она, провожая его до ворот. Хотела еще что-то сказать, да побоялась вконец

растравить себе душу. — Смотри... не долго там. Я приготовлю ужин.

— Мне нужно к командиру полка, — пояснил Максим, останавливаясь возле ворот. Придержал здоровой рукой мать за локоть. — Мама, может, тут бой будет, ты побереги себя, а то не ровен час... — Говорил медленно, старался подбирать слова, чтобы не напугать ее. — Я думаю, лучше, если ты уйдешь сегодня на Антоновский хутор к тетке Марине.

— А ты останешься здесь? Раненный, с больной рукой? — Глаза матери смотрели на него с таким испугом, что он на мгновение смутился: может, сказал что-то не так?

Все-таки пора идти. Усилившаяся за селом стрельба настораживала Максима. Мать молча продолжала смотреть на него глазами, полными мольбы.

И тут будто кто дернул его за язык:

— Я приду не один, мама. Я приду с Зосей.

Знал, что мать не любит Зосю. Но ведь то было давно. Неужели они до сих пор не помирились? Неужели между ними по-прежнему вражда?

В глазах матери мелькнуло холодное отчуждение, Максим уловил его.

Мать смотрела строго и вопросительно. Он должен сказать ей правду. А в чем она, правда? Желание во что бы то ни стало увидеть Зосю не оставляло его ни на минуту. Он верил, что помирит мать с любимой.

— Мама, мне говорили, она в селе.

— А где ж ей быть? И зачем она тебе, сынок?

— Она моя жена.

Из груди матери вырвался тяжкий вздох.

— Иди, Максим, иди. И знай, не жена она тебе, не жена. Слышишь? «Немецкая овчарка», вот она кто. — В глазах гнев и неимоверная мука. — Павел через нее погиб. Брат ее Антон полицаем у немцев, а она с немецкими офицерами путалась. Все село знает об этом.

— Мама!..

Не хотела больше говорить. Он испугался ее гнева, стоял в смятении. Мать повернулась и быстро пошла к хате, словно побежала от своего горя.

8



ело облетела неожиданная новость: приехал генерал, говорят, сам командующий армией. Танк его стоит возле школы, а сам он с офицерами совещается, дает им задание.

— А почему сам приехал? Мог бы вызвать офицеров к себе.

— Кто ж его знает? Видать, дела. Может, тут главный бой будет с окруженными немцами. Они ж, подлюги, пытаются вырваться.

По селу поползли всевозможные слухи и домыслы, были и небылицы.

Вокруг танка командарма собралась группа ставичан. Ребятишки — те уже успели подружиться с водителем — облепили стальную махину, осматривают и ощупывают со всех сторон. Больше всего их интересует пушка. Как она, крепко ли лупит фашистов? Пробивает ли «тигра»?

— Если сбоку, то пробивает, а в лоб — нет, — объясняет ребятам танкист в черном комбинезоне и до блеска начищенных простых сапогах, человек уже не молодой и, видно, добрый, общительный. Разговор с детворой доставляет ему удовольствие: он зачарованно разглядывает ребятишек, шутит с ними, добродушно улыбается.

— Дядя, а сколько вы сами подбили «тигров»? — с выжидательным уважением смотрит на него большеголовый парнишка в старой немецкой шинели с обрезанными полами.

— Не скажу, не имею права.

— А почему не имеете права?

— Военная тайна, браток!

— Какая же это военная тайна, дядя? — вступает в разговор другой парнишка, курносый, рыжий, с хитровато поблескивающими глазами-бисеринками, и недоверчиво кривит губы. — Теперь все фашистов бьют, да еще как. У нас в избе солдаты живут. Знаешь, как колотят немцев? Один из петеэрки три танка подбил. Орденов у него пять, а может, больше.

— А которые у нас в хате живут, у них медали.

— Медали и у наших есть. Ордена важнее. Их дают за подбитые танки и пушки. Я бы на войне все время по танкам целился.

— По танкам стрелять — уметь нужно. Ты думаешь, это просто?

Прислушиваясь к детской болтовне, механик-водитель с грустной задумчивостью улыбается. Где-то в далекой сибирской деревне остались и у него такие же курносые и быстроглазые. Сидят, наверно, в жарко натопленной избе, об отце вспоминают. А может, в школе оба. Жена писала осенью, что их вместе в первый класс приняли. Близнецы, потому и приняли. Хорошо, что они не видят войны, что минула их эта тяжкая доля. В Сибири живется теперь тоже не сытно, не как прежде. Но это ничего, перемогут.

Танкисту радостно сознавать бескрайность просторов родной земли. Тут война, а там тихо! Он берет на руки маленького, бледнолицего паренька, прижимает к своей груди, потом поднимает выше и долго-долго смотрит в темно-голубые мальчишеские глаза.

«Слава богу, что остался ты живой, постреленок. Вырастешь большой, пожалуй, не вспомнишь, что когда-то держал тебя на руках солдат-фронтовик. И хорошо, что не вспомнишь».

— К чему об этом вспоминать! — произносит он вслух, продолжая улыбаться своим мыслям. — Кличут-то тебя как, герой?

— Мыколкой, — с солидной гордостью отвечает паренек.

— Ну что ж, доброе имя. — Танкист опускает мальчонку на землю, шершавой рукой гладит его вихрастую голову. — По-нашему, по-сибирски, Николай, значит.

— Мыколка, — повторяет паренек.

Танкист вспоминает, что в машине лежит несколько сладких сухарей, которые прихватил он в дорогу в офицерской столовой. Хотел было достать их, угостить своего маленького друга, но раздумал: ребятишек много, а сухарей всего штук пять, на всех не хватит. Лучше уж никому не давать, чтобы не было обиды.

Командарм сидел в штабе полка без фуражки, в расстегнутой шинели, в левой руке держал телефонную трубку, в правой — носовой платок, которым время от времени вытирал широкое лицо и крутой лоб. Одновременно что-то говорил стоявшему рядом полковнику.

За селом продолжалась пулеметная стрельба. Там были немцы. Они не подозревали, что почти рядом, в одном-двух километрах от линии фронта, в деревне Ставки, находился командующий армией, человек, от воли и решительности которого во многом зависела их жизнь, их судьба. Окруженные враги намеревались через украинское село Ставки пробиться на юго-запад, вырваться из железного кольца советских войск. Командарм и несколько старших офицеров приехали в то же село, чтобы определить практические меры по срыву замысла немцев, на месте ознакомиться с обстановкой. Хотя личное посещение полка командующим армией ничего, в сущности, не меняло, даже, может быть, в известной степени связывало свободу действий полкового командира и его штаба, тем не менее приезд в полк генерал-лейтенанта имел определенный смысл. Он свидетельствовал о нерушимой спаянности всех звеньев войск, о непреклонной решимости сделать все возможное и необходимое, чтобы не пропустить вражеские части.

— Так вы говорите, мы не сможем быстро перебросить сюда артиллерию РГК? — положив на место телефонную трубку, спросил командарм полковника.

— К сожалению, это практически невозможно, Иван Васильевич. Потребуется не меньше суток...

— Но немцы не будут ждать.

— Они и не ждут, товарищ генерал, во всяком случае, Хубе не ждет. — Полковник посмотрел в окно, словно желая напомнить командующему о далеком гуле артиллерийской канонады. — Вы же знаете: танкисты Хубе с утра начали атаки.

Да, немцы рвутся к Лысянке, генерал знает об этом. Свои танковые атаки части генерала Хубе начали, как и запланировали, 4 февраля. Барон фон Ягеи не соврал. Такие не врут, если попадаются с поличным, и любой ценой стремятся сохранить собственную шкуру. Генералу вспомнился допрос фон Ягена. Как смешон и жалок был этот матерый разведчик в своем бабьем наряде! Он не заставлял подгонять себя, с суетливой поспешностью старался выложить все известные ему подробности плана прорыва. Спешил, разумеется, не потому, что раскаивался, а из-за трусости, из желания вымолить себе жизнь. Пусть все рушится, только бы остаться живым! А ведь он слыл у немцев хитрым и смелым разведчиком. Но вот

попался — и конец: механизм потерял прочность, отказал.

«Он назвал 4 февраля «днем икс», — продолжал размышлять генерал, склонившись над картой. — Все подтверждается. Сегодня танки Хубе атакуют позиции наших войск с внешней стороны, а завтра Штеммерман ударит изнутри, попытается прорваться через это село, через тонкую цепочку утомленного боями, обескровленного полка».

Глаза командующего тревожно сузились, высокий лоб перечеркнули три поперечные морщины. Хубе бросает на выручку окруженным войскам свежие резервы под Лысянкой, под Татьяновкой, под Вотылевкой — сразу в нескольких местах. Но там и наших сил достаточно, а тут, внутри кольца, почти открытые позиции стрелковых подразделений. И ко всему — лютое бездорожье.

По опыту прежних сражений командующий знал о способности немцев оперативно перебрасывать резервы с одного направления на другое. Очевидно, сейчас они используют даже ближайшие стратегические резервы, чтобы предотвратить повторение сталинградской трагедии. Да, будет трудно, очень трудно.

Генерал прикрыл рукой глаза. Мысли потекли спокойнее, ровнее. Вновь подумал о Хубе, о Штеммермане. И вдруг понял: они руководствуются страхом, азартом зарвавшихся игроков. Все ва-банк, все на игорный стол, лишь бы ошеломить советские войска, добиться видимого успеха! Ну что ж, хотя резервы врага велики, но не безмерны, не бесконечны. Уже сегодня немцы на внешнем обводе потеряют, по меньшей мере, сотню танков. Завтра их натиск будет слабее. Наконец, горючее: в такую распутицу его быстро не подвезешь. Только бы выстоять здесь! Продержаться несколько часов!

Командующий резко повернул голову к полковнику.

— Как вы полагаете, Павел Петрович, если мы перебросим сюда танковый полк Ящукова, сможет он перебазироваться за ночь?

— Далековато, товарищ генерал, — склонился над картой полковник. — Но, думаю, что часам к одиннадцати будет на месте.

— Что ж, к одиннадцати тоже неплохо. Распорядитесь, чтобы быстро передали мое приказание командиру.

Полковник вышел, направился к стоявшему у подъезда танку.

В высокие венецианские окна школы неутомимо светит солнце. Его предвечерние лучи четкими квадратами ложатся на черную классную доску, расплываются на сдвинутых в дальний угол партах. Сквозь приоткрытое окно временами доносятся треск пулеметных очередей, хлопки одиночных выстрелов. Линия фронта почти рядом, и парты пока никому не нужны. Хорошо еще, что уцелели, что какой-нибудь шальной снаряд не разнес на части высокое, старомодно-торжественное здание школы! Где-то далеко непрестанно гремит артиллерийская канонада.

К столу, за которым сидит командарм, подходит приземистый, плотный офицер в короткой шинели с погонами подполковника на широких плечах. Это — командир полка. Вежливо сдержанный, сосредоточенный, с наспех побритым, исчерченным морщинками лицом. Во всем его облике чувствуется достоинство бывалого фронтовика, способного подобающим образом держаться перед любым высоким начальством.

Подняв на него глаза, командующий чуть смутился. Чуткий и внимательный к людям, он почувствовал себя сейчас в чем-то виноватым перед командиром полка. Получилось в самом деле не совсем хорошо: приехал в полк, занялся делами, а о «хозяине» забыл, даже не поздоровался с ним. Впрочем, его и не было. Он, видно, только что вернулся с передовой, успел лишь побриться.

— Разрешите обратиться, товарищ командующий? — с уставной четкостью проговорил командир полка.

— Обращайтесь, а прежде всего здравствуйте! — пожал ему руку генерал. — Видать, сейчас только с передовой?

— Так точно, товарищ командующий. Разрешите доложить обстановку?

— Нет, докладывать ничего не надо. Все ясно, — остановил его генерал. — Обстановка известна, а вот о резервах доложите. На что может рассчитывать полк в случае попытки немцев прорваться?

— Резервов нет, товарищ командующий. Во втором эшелоне один батальон, да и тот с большим некомплектом.

Подполковник угрюмо сдвинул брови, обвел взглядом класс: пусто, голо — парты и столы.

— Да, резервов нет, и я пока ничем вам помочь не могу, а надо держаться. Завтра сюда подойдет танковый полк.

Командующий повернулся к окну. Теперь оно было распахнуто настежь. За ним слышались детские голоса, щебетание птиц. Эхом разнесся по улице тонкий девичий голос: «Ма-мо!» Протяжно и голодно промычала корова. И опять настойчивое, чуть плаксивое: «Ма-м-о!»

Это была жизнь. Ее необходимо было сберечь, защитить, укрыть от огня, от насилий и зверств оккупантов, от слепой неизвестности, которая надвигалась на село вместе с треском пулеметов и автоматов. Генерал особенно остро почувствовал сейчас свою ответственность за эту жизнь. Он думал о большой битве, но все зависящее от ее исхода как бы сошлось в одном, несколько раз прозвучавшем за окном плаксивом, похожем на стон слове: «Ма-м-м-о-о!»

— Товарищ подполковник! — произнес командующий голосом, которым врачи говорят с тяжело больным, не скрывая от него правды. — Сегодня немцы начали атаки с внешней стороны кольца. Завтра они непременно попытаются атаковать и тут, изнутри, на участке вашего полка. У вас мало людей, но имеются надежные помощники — местные жители.

— Понимаю, товарищ командующий.

— Зовите к оружию тех, кто пережил оккупацию. Это будет хорошее пополнение.

— Ясно, товарищ командующий. Мы уже объявили в селе митинг. Жители собираются к сельсовету.

— Ну что ж, митинг — неплохо, только митингуйте покороче. В долгой агитации нет нужды. Немцы сами провели ее за время оккупации, лучше не придумаешь.

За дверью послышались возбужденные голоса. Кто-то настойчиво добивался разрешения войти в класс. На пороге появился дежурный по полку. Он был несколько взволнован, хотя в голосе его сквозила веселая ирония.

— Товарищ командующий, разрешите обратиться!

— Что там у вас? — обернулся на голос генерал.

— Тут к вам ефрейтор один. Просит пропустить. Говорит, вы его знаете. — Дежурный виновато развел руками: — Извините, товарищ командующий, за беспокойство. Прикажете пропустить ефрейтора?

— Пусть войдет, коли знакомый. У него, видать, важное дело ко мне, — улыбнулся командующий.

Дежурный приоткрыл дверь, пропустил вперед настойчивого просителя, а сам вышел.

Переступив порог, рослый ефрейтор в фуфайке, туго перетянутой брезентовым ремнем, на секунду словно растерялся при виде генерала и командира полка, но быстро овладел собой, сделал шаг вперед, вскинул руку к ушанке, негромко доложил:

— Ефрейтор Боровой! Разрешите обратиться, товарищ командующий, по личному вопросу.

Генерал сразу вспомнил, где видел ефрейтора. Встал, протянул ему руку, испытывая чувство любопытства, которое охватывает человека при встрече с личностью незаурядной и располагающей к себе.

— Рад вас видеть, товарищ ефрейтор! Прошу садиться. — И, словно знакомя присутствующих, пояснил: — Это товарищ из комендантской роты дивизии, ефрейтор Боровой, тот самый, что изловил немецкого разведчика фон Ягена. Кстати, Павел Петрович, — обернулся командующий к только что вернувшемуся в класс полковнику, — проследите, пожалуйста, чтобы ефрейтор был включен в очередной приказ о награждении. Помнится, мы договорились представить его к ордену Красного Знамени.

Лицо ефрейтора внезапно побледнело, вытянулось. На нем отразилось удивление, близкое к испугу, — такой неожиданностью была для него весть о награде. Он готовился к трудному разговору с командующим, честно говоря, даже не верил, что такой разговор состоится, а тут вдруг — награда.

— Какое у вас ко мне дело, товарищ Боровой? — спросил командующий, глядя на хитровато-добродушное лицо ефрейтора. — Докладывайте.

Командующий умышленно назвал его товарищем Боровым, а не ефрейтором, тем самым как бы подчеркивая существующую между ними близость. Человек душевный и справедливый, глубоко уважающий в людях смелость и решительность, генерал в самом деле испытывал сейчас к Боровому чувство искренней симпатии. В его памяти живо воскресла сценка на КП армии — ефрейтор подталкивает автоматом одетого в женское платье немецкого

барона. Многое могло бы обернуться к худшему, если бы Боровому не удалось задержать вражеского лазутчика.

— Вы меня извините, товарищ командующий, что я, значит, отрываю вас от важного дела, — поднялся ефрейтор. — То, о чем я хочу вам доложить, касается, значит, совести, солдатской чести...

В глазах генерала, как всегда в минуты волнения, запрыгали веселые огоньки, но лицо оставалось строгим и подчеркнуто внимательным. Слова «совесть» и «честь» были произнесены ефрейтором с большим, волнующим чувством. Генералу почудилась за ними человеческая драма. И хотя он с самого начала знал, что Борового волнует что-то сугубо личное, тем не менее решил выслушать его до конца.

— Говорите все начистоту, товарищ Боровой.

— Я так и разумею, товарищ командующий, надо все начистоту, коль речь идет о совести. — Боровой глубоко вздохнул. — Вот вы, товарищ генерал, сказали, что к ордену меня представили. Большое вам спасибо. Медалью наградят — для меня тоже большой почет. Но меня вот какое дело беспокоит и волнует, товарищ командующий. Может ли, значит, человек командовать людьми, ежели не желает им верить?..

Командующий озорно пошевелил бровями, хотел ответить, но Боровой опередил его:

— По-моему, товарищ генерал, не может такой человек быть командиром, если никому не верит. По-моему, нет такого права не верить людям на фронте. Тут ведь, значит, все жизнью и смертью проверяется. Иди в бой и проверь свою душу, какая у тебя правильность тут есть, — приложил он руку к груди. — Я так, значит, понимаю, товарищ командующий: убедись во всем лично, потом решай, говори, что хочешь. А с бухты-барахты разве можно человека в грязь?..

— Погодите, товарищ ефрейтор! — решительно прервал Борового командующий. — Вас, видать, кто-то несправедливо обидел? Говорите прямо — кто?

— Есть такие.

— Ну что ж, если не хотите назвать фамилию обидчика, дело ваше. А что касается совести, то она действительно лучше всего проверяется в бою, — сказал генерал.

— Вот об этом я и толкую, товарищ командующий, — резко изменил тон Боровой, сообразив, что туманное фи-

лософствование совсем ни к чему. — Я не жаловаться к вам пришел, товарищ генерал. Командир он и есть командир. А я солдат, свою стежку знаю. Только растолкуйте вы мне, значит, что к чему. Ведь нет такого закона, чтобы душу человеку ломать. Ну, значит, говорю я ему, лейтенанту нашему, то есть ротному — он у нас недавно, всего неделя как из училища прибыл, еще не нюхал пороху, — говорю я ему: «Не верите, поезжайте на место, убедитесь». А он и слушать не хочет. «Я тебя, баит, в штрафную роту упеку. Тут дело трибуналом пахнет. Скажи и за то спасибо, что в стрелковый батальон отчисляю, иначе в штрафники загремишь...»

— Объясните поточнее, в чем дело? — сдержанно проговорил командующий. — Из комендантской роты дивизии вас перевели в стрелковый батальон? Правильно я понял?

— Так точно, товарищ командующий.

— Но в этом нет ничего незаконного, товарищ Боровой. Вы сами знаете: на передовой не хватает людей.

Последние слова генерал произнес с подчеркнутой строгостью.

— Я вовсе не о том, товарищ командующий. Передовой я не боюсь. Был в стрелковой роте и под Сталинградом, и под Курском. В комендантскую уже после госпиталя попал. Даже просил бывшего нашего ротного — он теперь комбатом, — просил его, значит, взять меня с собой. Передовая меня не пугает, только пусть не посылают на передовую, как в чем-то виноватого, вроде как штрафника. Ни в чем я не виноват и хочу воевать по совести, а не как какой-нибудь разгильдяй, значит...

Командующий по-прежнему слушал ефрейтора внимательно, не перебивая. Боровой рассказал, где и когда вручил пакет генералу Рогачу. Задание командарма он, таким образом, выполнил в срок, даже раньше, чем предполагал. И все было бы хорошо, если бы не новая забота: генерал Рогач приказал ему немедленно доставить в штаб дивизии для допроса пленного эсэсовского офицера. Вот тогда, значит, и случилась беда. Как только машина, в кузове которой находились он, ефрейтор Боровой, и пленный эсэсовец, выбралась на шоссе, в воздухе появились «юнкерсы», стали бомбить шоссе. С первого же захода подожгли несколько машин. Зашли второй раз и снова сыпанули бомбы... Больше он, ефрейтор

Боровой, ничего не помнит. Очнулся в кювете. Над ним стояли какие-то солдаты, тихо переговаривались между собой, а он смотрел на них и удивлялся, что у людей такие чудные, совсем неслышные голоса. На самом деле солдаты говорили обычными голосами, только Боровой был контужен, оглушен взрывом и не мог сразу отделаться от глухоты. Когда же пришел в себя и услышал шум машины на шоссе, сразу вспомнил: случилась беда. Увидел опрокинутый газик, на котором ехал, чадившее дымом колесо, а чуть в стороне — убитого водителя.

— И вы, поняли, что немец сбежал?

— Да, так и было, товарищ командующий. Утек проклятый фриц, — развел руками Боровой, и на его лице отразилась горестная обида. — Лес там рядом, туда, видать, и драпнул этот бандит, пока я, контуженный, валялся в кювете.

— Вот теперь все ясно. Пленный сбежал, доказать, что вы в этом не виноваты, некому. Лейтенант, командир роты, не поверил вам, — подытожил рассказ ефрейтора генерал.

— Так точно, товарищ командующий, некому доказать. Кабы силы у меня, значит, были, я бы сам в лес пошел искать эсэсовца. Только после контузии очень плохо чувствовал себя, едва на ногах держался. До штаба дивизии добрался, когда уже темно стало.

— Да, незадача. Одного немца взял, другого упустил, не довез до штаба. Такое тоже случается. — Командарм прошелся по классу, остановился у окна, некоторое время молчал. Потом резко обернулся к Боровому. — А ко мне вы пришли все-таки за тем, чтобы проситься обратно в комендантскую роту?

Эти слова командующего ошеломили Борового. Его широкое, улыбчивое лицо сделалось серым. Глаза выражали растерянность, скрытый гнев и обиду. Всего мог ожидать он от разговора с командующим, но только не этого. Хотя, в сущности, вопрос генерала был вполне логичным, ефрейтор воспринял его почти с оскорблением.

— Зачем же так, товарищ командующий? — тихо произнес он, стоя по команде «смирно». — Не о переводе я вовсе, а чтобы все было по правде, значит, чтобы не считали меня виноватым. Разрешите идти, товарищ генерал?

Командарм некоторое время с волнением смотрел на

ефрейтора, потом быстро подошел к нему, положил на его плечо руку.

— Простите меня, старика, товарищ Боровой. Я не хотел вас обидеть. Спросил так, из любопытства.

— Какая же может быть обида, товарищ командующий? — смущенно отозвался ефрейтор. — Ваше дело спрашивать, а я что, я солдат. Обижаться мне не на что. Я только хотел, значит, чтобы по-справедливому все было. В комендантскую роту мне возвращаться незачем. Буду на передовой, мне не привыкать. Я лишь о том, чтобы честь мою солдатскую не марали, уважали во мне человека и верили мне. Потому только и пришел к вам, когда узнал, что вы в штабе полка. А теперь пойду к себе, в окопы, надо, пока время есть, напарника своего подучить, он еще молодой, плохо знает пулемет. Разрешите идти?

— Ступайте, товарищ Боровой. Я рад за вас, от души рад и прошу простить меня за бестактный вопрос, — с чувством пожимая ефрейтору руку, сказал командующий. — Идите и воюйте, ефрейтор, бейте врагов беспощадно, дорожите своей солдатской честью превыше всего. И еще хочу вам сказать: людей без совести, без веры, без уважения война отсеет, в этом не сомневайтесь.

К зданию сельсовета со всех концов Ставков собирались люди. Шли торопливо, кто в чем: в наскоро наброшенных на плечи кожушках, в ватниках, в довоенных, изрядно потертых пиджаках, в долгополых овчинных шубах, в кованых немецких ботинках, в резиновых чунях.

На улицах, несмотря на гремевший за высотами бой, стало вдруг по-праздничному людно. Только лица у ставичан были хмурыми, серыми, немного испуганными.

Спеша к сельсовету, жители села на ходу обменивались новостями:

— Максим Зажура вернулся. Чулы?

— А як же! Худой, кажут, як сама смерть. Пораненный, весь в бинтах. А тут в семье лихо.

— Этот не пропадет, отцовской закваски.

— А почему митинг?

— Болтают, немец может вернуться. Надо, пока есть время, вакуироваться.

У плетня спорят мать с дочкой:

— Я тоже пойду на митинг, мама!

— Вот я те пойду! Мало прятала тебя за печкой от немцев? Лучше ступай в избу, телка напои.

— Мама!..

— Не мамкай, делай, что говорят!

Хозяйское перемешивалось с тревогой дня. Хмурая неизвестность бередила души. Хотелось услышать что-то утешительное. На площадь! На площадь!

На сельсоветском крыльце уже собрались офицеры. С ними учитель Тесля в своем старомодном пальто, Плужник, еще кто-то из партизан.

На площади шум, гомон. Задние подпирают ближе к крыльцу передних. Один из офицеров — бледный, с глубоко запавшими глазами (видно, не одну ночь провел в окопах!) — поднимает руку, что-то говорит. Из-за шума почти ничего не слышно, особенно задним.

— Громче, громче говори! — слышится из толпы.

— А вы их «катюшами», товарищ майор! — перебивает оратора парень, стоящий ближе к крыльцу.

Две девушки, точно воробьи, устроились на заборе соседнего с сельсоветом двора. В их глазах печаль.

— Мой уже записался добровольцем.

— Мой Петька тоже.

Младшая притулилась головой к подружке и вдруг уставилась на крыльцо. Кто это? Кто там поднимается? Не сын ли Елены Дмитриевны? Он и есть. Максимка! Тоже держит речь. Перевязанный, боженько мой! О чем он? Немцы рвутся из окружения... Могут снова вернуться в село... Идут бои... Нужно помочь войскам...

Девушки зачарованно смотрят на Зажуру. Видать, смелый! И красивый, ничего себе. Черные брови как стрелы. Весь в Елену Дмитриевну. Счастливая будет та, которую своей назовет.

— Уже назвал Зоську. Давно любятся, еще с довойны.

— Теперь она ему не пара. С немцами путалась.

— А ты откуда знаешь?

— Все знают. Видели ее с немецкими офицерами.

Кто-то громко крикнул:

— Бабоньки, проходите вперед, слушайте боевое задание!

С крыльца объявили: если в селе будет бой, детей укрыть в погребах, женщинам запастись чистым полот-

ном для перевязки раненых, а тем, кто побойчее и посмелее, придется подносить патроны.

Зажура снова поднял руку.

— Ставичане! Мне генерал поручил принять командование над вашей группой самообороны. Кто не записался добровольцем в армию, слушай мою команду! Расходитесь сейчас по домам, берите лопаты, мешки, харчей побольше и снова сюда. Все ясно?

— Ясно! — загомонили в толпе. — Мы быстро.

— А дедам, которые не в этой... не в обороне, тоже приходить?

— Приходите! И жинок с собой забирайте! — крикнул в ответ Зажура. — Всем селом будем немца бить. Не пустим его, проклятого, в Ставки.

За столом возле сельсоветского крыльца лейтенант составлял списки добровольцев. У стола толпилась в основном молодежь — недавние партизаны из отряда Плужника. Многие вооружены немецкими автоматами и карабинами.

Вот протиснулся вперед старый дед в смушковой шапке. Настойчиво тыча прокуренным пальцем в лежавший перед лейтенантом список, он срывающимся фальцетом кричал:

— Пиши и меня, лейтенант, в добровольцы. Я еще с японцем воевал. «Егория» — награда такая была — из рук самого генерала получил. В прошлую немецкую кампанию, в эту самую, империалистическую, тоже воевал, в гражданскую на Колчака ходил. И теперь от молодых не отстану.

— Нет, дедушка, вы свое отвоевали, посидите лучше дома, — вежливо ответил лейтенант. — Или идите в группу самообороны.

Дед недовольно пожал сухими плечами.

— Ну ладно, пойду в эту самую оборону. Мне все одно, лишь бы немца бить.

К столу подошла статная молодуха, метнула острыми глазами на лейтенанта:

— Пишите меня. Не хочу от бомб в селе прятаться, пойду в окопы.

— Не женское это дело, Саша, в окопы, — пытается отговорить ее Тесля. — В окопах мужчин хватит.

— Это смотря каких мужчин, Иван Григорьевич, —

отрезает молодуха. — Если таких, как вы, то бабы лучше справятся с немцами.

— А не боитесь, Саша? — блеснул очками Тесля. — Ведь там убить могут.

— Чего мне бояться! Кроме свекрухи, я никого не боюсь. Пишите! — обернулась она к лейтенанту.

К крыльцу подбежала здоровенная тетя, укутанная в добрую полдюжину платков и шалей, голосисто, как на похоронах, запричитала, что провалится сквозь землю, если ее проклятущий хозяин не послушается и не пойдет с ней сейчас же домой. А «хозяин», худенький, щуплый, в коротеньком кожушке, краснея от стыда, упорно протискивался к столу, и на его лице была такая решимость, что, казалось, он готов выдержать любые испытания.

Зажура и майор спустились с крыльца. Майор Грохольский был начальником штаба полка, который освобождал Ставки. Человек уже немолодой, с продолговатым, бледным лицом и седеющими висками, он слыл в дивизии отличным штабником. Разрабатываемые штабом под его руководством оперативные схемы не раз приносили полку успех. Однако последние, почти непрерывные бои и бессонные ночи вконец измотали Грохольского. Говорил он нервно и раздраженно. На его тонкой шее постоянно, словно в агонии дергалось «адамово яблоко».

Майор все еще находился под впечатлением недавней встречи с командующим армией. Хотя он лично и не участвовал в разговоре с генерал-лейтенантом о боевых задачах полка, а всего лишь скромно представился ему и провел его в класс, тем не менее приезд в полк столь высокого армейского начальства воспринял как событие необычайное. Ему все время казалось, что, приказывая удержать село, выстоять, генерал обращался именно к нему, начальнику штаба полка, надеялся на него и был уверен, что майор Грохольский не подведет, выполнит задание как надо.

Майор не раз слышал фамилию генерал-лейтенанта, но никогда не видел командующего армией так близко, как сегодня. Он представлял его напыщенным, замкнутым, недоступным, а, оказывается, генерал совсем-совсем простой, как все умные люди. И радости, и печали у него, наверное, такие же, как и у самого Грохольского, только забот во много-много раз больше — за целую армию думать и решать приходится. Глаза печальные, за-

думчивые и внимательные. Наверное, строгий. Иначе, конечно, не может быть: на фронте нельзя без строгой требовательности.

Грохольского почти постоянно преследовала мысль о собственной незащищенности. Ему порой даже казалось, что и должность свою в полку он занимает вроде не по праву, что нет у него настоящих способностей для выполнения обязанностей начальника штаба. В постоянных заботах об атаках и контратаках, в думах о противнике, об измотанных боями, поредевших ротах и батальонах, об отставших тылах, о так некстати наступившей оттепели и о многом-многом другом он порой представлял себе свой полк чуть ли не единственной реальной силой против всей немецко-фашистской военной машины. Понимал, что все это глупость, но все же нередко думал так. Когда-нибудь может случиться, рассуждал он с самим собой, навалятся немецкие танки, сомнут, раздавят полк и не останется от него никакого следа, никто, может, и не вспомнит, что был в этом полку начальником штаба майор Грохольский, у которого где-то на Урале остались двое ребят, жена и старуха мать, заведующая поселковой библиотекой.

Посещение полка командующим армией точно перевернуло все в его душе. Человек с виду, да и по складу характера не очень воинственный, привыкший иметь дело главным образом со штабными картами и бумагами, сегодня Грохольский, пожалуй, впервые за время войны, за всю армейскую службу по-настоящему ощутил свою неразрывную слитность со всей той огромной силой, которая гнала немцев на запад. В образе командующего он как бы увидел величие и мощь всей Советской Армии.

Майору очень хотелось поговорить о командующем с понравившимся ему задиристым, неугомонным и несколько резковатым на язык капитаном Зажурой, но для душевного разговора не было времени, в полку Грохольского ждали дела.

— Ну, я пошел к себе, товарищ капитан, — протянул он руку Максиму. — Может быть, еще увидимся, а пока всего доброго! Я рад, что вы приняли на себя командование самообороной. Собирайте побыстрее людей.

— Собирать их нечего, сами придут, — уверенно сказал Зажура. — Будут драться как полагается.

— Значит, договорились? — Майор нервно потер руки, надвинул на седые виски фуражку. — Будете в Ставках за коменданта.

— Все ясно, товарищ майор.

Провожая Грохольского взглядом, Максим привычно отдал честь.

— Дядька Максим! Товарищ капитан!

Зажура обернулся. К нему подбежал Вася Станчик, взял за рукав шинели, отвел чуть в сторону.

— Там, за прудом, ваша Зоська. Велела позвать. Ждет вас.

Сказал и отошел к крыльцу, где по-прежнему было людно.

Сердце Максима застучало тревожно и радостно. Зося!.. Велела позвать, ждет. А он? Почему он медлит, не идет к ней? Может, боится людских наговоров и горестного взгляда матери? Нет, он все равно должен пойти. Нужно все узнать самому, узнать от нее! И он зашагал к пруду с таким ощущением, будто шел на виду у всего села, будто все наблюдают за ним, и не будет ему прощения, не будет доброго материнского слова.

Зося стояла под старой яблоней в легком зеленом пальто. Он зашагал быстрее, шлепая сапогами по мокрому снегу. В его сердце кипела злость, и что-то горячее щемящим клубком подступало к горлу.

Уже издали, не отрывая глаз, смотрел он на знакомое лицо — продолговатое, матово-бледное, осунувшееся, на тонкую стройную талию, на иссиня-черные волосы, спадающие волнами на узкие плечи. Тогда, в Харькове, у нее была точно такая же прическа.

Она встретила его иронической усмешкой:

— Я ждала, думала, что ты сам догадаешься прийти.

У него пропал голос, болью сдавило грудь. Перед ним были ее большие серые глаза, которые когда-то он целовал с пьянящей любовью. Они рядом, нужно сделать лишь один шаг.

Она первая протянула руку. Но это не было светлым порывом любви.

— Уйдем отсюда, — сказал Зажура, слегка сжимая ее теплую, маленькую ладонь.

— Не нужно. Все равно люди видели, что ты пошел ко мне.

Он с такой силой дернул ее к себе, что она пошатнулась, и повел к пруду. Остановились возле деревянного настила.

Максим грубо спросил:

— Это правда, что говорят?

Она с минуту молчала, устремив невидящий взгляд куда-то за дома, к далекому лесу. Губы ее побелели, словно их обдало морозом:

— Если говорят и ты веришь, значит, правда.

Он видел, как она мучается, терзает себя, стараясь что-то придумать, чем-то оправдаться. И эти ее муки приносили ему сейчас радость. Он готов был наговорить ей тысячу грубостей, накричать на нее, даже поколотить, чтобы эта хрупкая, пышноволосая, кокетливо-печальная дрянь хотя бы на мгновение поняла, осознала, кто она теперь! О, ему хорошо знаком этот печальный взгляд! Теперь он знает ему цену! Наверное, не такими глазами смотрела на тех, что расхаживали по улицам со стеками в руках и овчарками на поводках! «Немецкие овчарки»! Так их называют люди. И поделом. Слово — приговор. Слово — позорище.

Он сделал шаг назад, зацепился за ветку.

— Ну, что ты молчишь? Оправдывайся! Клянись в верности... Вспомни, что писала мне в Харькове, в той записке...

Сверху, от сельсоветской площади, донеслось:

— Товарищ капитан! За-жу-ра!

Значит, все. Конец безжалостный и горький, и никакие мольбы, никакие оправдания уже не помогут. Он подаст ей руку так же, как это сделала она у яблони, — со сдержанной вежливостью. Потом... Нет, он не подаст ей руки, не глянет на нее. Просто скажет ей... Ничего не скажет. Ни слова больше. И никогда не видеть ему этих глаз, этой шеи, этих маленьких рук!

— Любимый мой! — тихо произнесла Зося, сдерживая рыдания. — Я буду ждать тебя.

— Нет!

— Я буду... Всю ночь буду ждать. Мне нужно многое сказать тебе, и тогда ты поймешь...

— Нет! — повторил Зажура и в тот же миг ощутил в себе неожиданную легкость. Никакого гнева. Все просто! Облегченно вздохнул, подал ей руку, усмехнулся. Все просто! Круто повернулся и пошел через сад к площади.

С крыльца сельсовета спустился приземистый, полный офицер. За ним лейтенант, который составлял списки добровольцев. Потом неторопливо сошел Андрей Северинович Плужник. Направились к стоявшему за углом дома мотоциклу с коляской.

Увидев Зажуру, Плужник приветливо улыбнулся. Он полагал, что встреча Максима с Зосей закончится хуже. Впрочем, это не так важно. Главное сейчас там, на передовой. Обстановка усложнилась, немцы усилили артиллерийский огонь, подтянули танки. Видно, собираются атаковать очень большими силами. Он, Плужник, едет вместе с офицерами к своим людям. Надо побеседовать с ними, ободрить. Ведь среди добровольцев не только бойцы-партизаны. Есть совсем юнцы. В селе тоже народ тревожится. Ежели немцы вернутся в Ставки, они никого не пощадят.

Зажура слушал и не слушал, что говорил ему Плужник. В нем еще жило зримое присутствие Зоси. Он мысленно видел перед собой ее похудевшее лицо, плотно сжатые маленькие губы, едва заметную морщинку на лбу (раньше морщинки не было!). Ей, конечно, тоже жилось не сладко. А может, от страха морщинка? Может, Зоська боится ответственности за свои преступления? Да, именно преступления! Никто ей не простит. Она это знает, ждет кары, потому и мучается. Ишь как похудела.

— Ты что, Максим, заснул?

Громкий голос старого партизана вернул его к действительности.

— Простите, Андрей Северинович. Я слушаю.

— Ну так вот... Быстро собирай свое ополчение и сразу на дивизионный склад. Веди людей через Гусячее озеро, там лучше пройти, туда немец не бьет. С патронами в полку плохо, а на машинах не проедешь. И гранат противотанковых пусть дадут. Если немец пустит танки, придется отбиваться гранатами. На артиллеристов надеяться нельзя — у них снарядов в обрез. Ведь так, лейтенант? — обернулся он к молодому офицеру, который не сводил с Зажуры чуть удивленного и даже сочувствующего взгляда.

— Да, точно! Гранаты нужны как воздух. Первую атаку отбить, может, хватит, а потом — беда! — живо подтвердил офицер. — Нужны, очень нужны гранаты!

Старший у мотоцикла нетерпеливо сигналил. Плужник поправил на плече ремень автомата. Зажура наконец сбросил с себя гнетущую связанность.

Чего это он сам до сих пор не расспросил обо всем Плужника? Старик что-то знает, только не хочет сказать.

— Андрей Северинович! — Максим крепко сжал локоть партизана. — Я видел Зосю... только что.

— Знаю.

— Скажите правду...

Офицер за рулем мотоцикла вновь нажал на кнопку сигнала. Плужник отвел глаза в сторону:

— Сейчас я ничего тебе не скажу, Максим. Не могу, не имею права. Потом, когда вернусь с передовой.

— Скажите, верно болтают люди?

— Ну и человек! — досадливо махнул рукой Плужник. — Сказал же, не могу, а он опять. Делай свое дело, Максим. Все будет хорошо.

Он повернулся, чтобы идти к мотоциклу, но Зажура преградил ему дорогу:

— Это все?

— Максим, все будет хорошо, поверь мне. А сейчас, видишь, мне пора ехать.

Сел в коляску. Низко наклонил голову. Завертелись, запрыгали по кочкам колеса. Мотоцикл с ревом понесся вдоль улицы, разбрызгивая по сторонам грязь.

«Все будет хорошо»! Кому и когда будет хорошо? Зажура посмотрел себе под ноги, наступил сапогом на маленькую ветку, вдавил ее в грязь. Вот так и в жизни: наступит сильный на слабого — и конец, никакая жалость не поможет! Хотя не только в силе дело... Когда же все-таки будет хорошо? И кому?..

Ждать, пока соберутся все, было некогда. Солнце, к концу февральского дня еще по-зимнему усталое, спешило уползти за горизонт. Оно все больше наливалось бордовым цветом, мрачнея, разрасталось. Чуть-чуть начинало подмораживать.

К сельсовету собирались ставичане, в основном женщины. Они зябко ежились, молча ожидая распоряжений, кому что делать.

Максим и старый Тесля отошли в сторону, быстро

прикинули, сколько человек следует оставить на рытье второй траншеи, сколько послать на дивизионный склад за боеприпасами. Тесля достал из бокового кармана своего долгополого пальто план села (предусмотрительно разыскал в залежалом сельсоветском хламе!), расстелил плотный лист на коленях и, подслеповато щурясь, водил по нему длинным, тонким пальцем.

— Товарищ майор сказал, чтобы мы вот тут, за прудами, тянули траншею. Говорит, если придется отойти, то не дальше прудов, на плотине задержим немца.

— А вы неплохой тактик, дорогой мой учитель! — с мрачной улыбкой пошутил Зажура. — Видно, в свое время хорошо изучили баталии Богдана Хмельницкого?

— Эх, Максим, не те теперь времена, что при Хмельницком. — Тесля выпрямился, глаза его за стеклами очков сделались злыми. — Богдану было легче, чем нам. Таких супостатов и разбойников, как немецкие фашисты, наша земля еще не знала. А обороняться надо!.. Вообще-то повоюем, Максим, — добавил он бодрым голосом после паузы и даже слегка подмигнул Зажуре. — Не посрамим Хмельницкого: он громил вражью силу, сумеем и мы поддать немцам жару.

— Ну что ж, Иван Григорьевич, забирайте мужчин и приступайте к рытью траншеи, а я со своим войском,— кивнул он в сторону женщин, — пойду на склад. Время не ждет. Сколько тут до станции? Километров пять будет?

— Пожалуй, побольше. Все семь наберутся.

— Да, нелегкая дорожка по раскисшему чернозему... Трудно будет бабам, особенно тем, что постарше.

От сельсовета двинулись небольшой группой, но пока шли по селу, число добровольных помощниц войскам почти удвоилось. Из притихших изб выходили девушки, молодые женщины и, ни о чем не спрашивая, пристраивались к остальным. Шли сосредоточенные, хмурые, задумчивые. Платки, платки! Серые, черные, пестрые... Где ты, женская краса? Какая сила повернула тебя к горькому служению войне?

В международных конвенциях, освещающих великие принципы гуманизма, есть слова: «гражданское население», «неприкосновенность жилища», «нерушимость законов контрибуции», «этика оккупационных войск». Он, Зажура, хорошо помнит лекции своего университетского профессора Гая по международному праву — Гуго Гро-

ций, Ласса Оппенгейм, Гаагская и Женевская конвенции... Древние и сегодняшние мечтатели! «Этика оккупанта остается неизменной и обязывает всех...» Профессор Гай читал эти строки по тексту Гаагской конвенции, иронически прищурив глаза. Он знал жизнь и имел достаточно ясное представление об «этике оккупантов».

И все-таки старый университетский профессор верил в незыблемость международного права, в его справедливость. И он, Зажура, тоже, помнится, верил. Собственно, не то чтобы верил, ему просто очень хотелось верить. Но всякий раз наплывали противоречивые мысли, брали за душу сомнения, и тогда он говорил себе, что все это — обман, что нет и не может быть права вести грабительскую войну, права убивать, истязать, насиловать. Есть одно право: бороться с фашизмом, бороться всеми силами и средствами. И он, Зажура, будет служить этому праву всю свою жизнь.

Зажура шел впереди колонны. За его спиной глухо шлепали по грязи сапоги, ботинки, чуни. Колонна росла. Шагавшие в ней люди мало что знали о международном праве. Какое им дело до древнего Гуго Гроция, до солидных томов, написанных английским юристом Оппенгеймом? Не читали они и международных конвенций об этике оккупантов. Зато испытали на себе «этику» гитлеровских захватчиков и ничего не забыли. Они оставили свои избы и неухоженных детей, для того чтобы в меру сил помочь войскам отстоять родное село, не выпустить фашистов из окружения. Они идут, охваченные страхом и печалью. Долгие месяцы недоедания, затаенной боязни и сейчас отражаются на их лицах. Но они готовы отдать последнее во имя разгрома «нового порядка», ибо нет ничего ужаснее того, что обещает им близкий гул немецких пушек.

День все больше хмурился. Над полями темной громадой нависали тучи. Моросил холодный дождь. Несмотря на ненастье и тревожную боевую обстановку, Зажура ощущал удивительное спокойствие. Он был при деле и знал, что для него это тоже боевое задание.

«Капитан Зажура во главе женской роты прибыл за боеприпасами!» Звучит необычно? Ну и что из того? Главное, он видит (это запомнится ему на всю жизнь), что все вокруг него начинает жить по-новому, с новой силой, с новой радостью.

Когда они вышли на пригорок, перед ними открылась панорама словно иного мира. По шоссе быстро проносились грузовые машины, двигались колонны солдат, подводы.

— Теперь уж недалеко, скоро дойдем, — облегченно вздохнул Зажура и обернулся к топавшему следом за ним от самого сельсовета сухому старичку, который все время что-то монотонно бормотал себе под нос.

— Теперь, видать, скоро, — подтвердил старичок, останавливаясь. Его сухонькое лицо сразу повеселело, преобразилось и как бы разгладилось. Вслед за старичком остановилась на грязной дороге и вся женская колонна. Зажура окинул ее взглядом и вдруг среди овчинных кожушков, шубеек, серых ватников увидел родную мать. «Мама!» — едва не крикнул он. Мать была все в том же мужском полушубке, в котором Максим застал ее дома. На голове, как и у большинства женщин, серый платок. Широкая, «колоколом», юбка прикрывала старые солдатские кирзовые сапоги. Она ничем не отличалась от остальных и сейчас совсем не походила ни на сельскую учительницу, ни на жену агронома.

Максим хотел подойти к матери, чтобы шагать с ней рядом, но как раз в этот момент стоявший за его спиной старичок озабоченно проговорил, дернув Зажуру за рукав шинели:

— Бачишь, товарищ капитан, який в Ставках пожар? Горить село... Может, немец уже преть с другого боку? Ой, будэ лихо, будэ!..

Мельком глянув на поднимавшиеся над селом густые клубы дыма, Зажура властно поднял руку и приказал двигаться дальше.

...Возвращались уже в темноте, той же расхлябанной, грязной дорогой. Тучи на западе несколько рассеялись, кое-где сквозь них просвечивались красные, словно пропитанные кровью, куски неба.

Стало холоднее. Временами крупными хлопьями падал снег. Сгибаясь под тяжестью мешков и котомок, женщины ступали по грязи осторожно и тихо: казалось, идут не люди, а привидения, не знающие ни цели своего похода, ни своей судьбы.

На самом же деле они знали все. Это были женщины нового мира, новой эпохи, как бы мог сказать о них поэт или философ. Это были женщины, пережившие неимо-

верную тяжесть вражеской оккупации, женщины, готовые на все ради защиты своих детей, ради защиты своих очагов. Они несли патроны, мины и гранаты. У каждой за спиной был мешок или котомка, на лице — застывшее отчаянное напряжение, а тревожный взгляд устремлен вперед — к закатному небу, на темно-багровом фоне которого расплывались дымы горящего села.

Пройдут годы. Вырастут новые поколения. Появятся новые заботы и новые тревоги. Исчезнут раны войны. Разрушенные города и села обретут новый облик. Вырастут светлые школы, театры, дома. И тогда поседевшие ветераны армии, вероятно, вспомнят этот ветреный, овеянный дымами вечер, вспомнят, как безлюдной степью шла колонна женщин в насквозь промокших сапогах и чунях, женщин, не похожих на солдат, но ставших солдатами. Вряд ли их имена прославят поэты, ибо невозможно назвать поименно всех тружеников войны. Вряд ли о них напишут стихи и поэмы! И лишь какой-нибудь степенный отставной генерал за чашкой чая скажет своим друзьям-однополчанам: «Помню, как сейчас, молчаливо бредущую колонну женщин с тяжелыми ношами за плечами. В ту трудную пору они были нашим вторым эшелоном. И кто знает, дожил бы я до сегодняшнего дня, если бы не было этого второго эшелона...»

Зажура не подошел к матери и на обратном пути. Он словно стыдился ее, а почему — не знал и сам. Возможно, его угнетало воспоминание о Зосе, которой он все-таки подал руку, хотя мать не хотела этого и, пожалуй, не зря предупреждала его. Сейчас он с особой остротой чувствовал правоту материнского упрека. Мать идет с ним в колонне односельчанок, а та, обленившаяся «паненка», точно назло людям, наперекор всему селу осталась дома.

«Ну что ж, — размышлял Максим, — хоть война — большое горе, но и от нее есть прок: она разметает всякую нечисть и фальшь! Теперь-то я научусь распознавать людей! Не раскисну от первого сладенького взгляда».

В это мгновение откуда-то слева, со стороны леса, гулко застрочили пулеметы. Не было видно, кто стреляет, — гремело где-то словно под землей, но гремело упорно, с сатанинской настойчивостью. Вслед за пулеметами загрохотали артиллерийские выстрелы. Зажура

догадался — очередная немецкая атака. Он невольно замедлил шаг, оглянулся вокруг. Женщины тоже насторожились, стали пугливо озираться по сторонам, будто отмахивались от слепней. Какая-то молодуха поскользнулась, упала, мешок с патронами придавил ее, и она застонала, заголосила, словно пораженная пулей. Едва подняли одну, как упала другая. И опять стоны, суматоха. Вскоре уже отовсюду слышались испуганные голоса, истерические всхлипывания...

Над головами пролетел снаряд, разорвался где-то далеко, на скате высоты. Место взрыва обозначилось огненной вспышкой и клубом белого дыма. Просвистел еще один, еще... Теперь снаряды рвались совсем близко. Было видно, как во все стороны разлетались комья земли, в воздухе запахло едким пороховым дымом.

— Пропали мы! Ой, лихо! — заверещали женщины. — Побьют нас тут всех!..

По размокшей дороге заметались серые тени. Вот-вот все побросают в грязь, табуном побегут в темные яры и ложбины.

Зажура поднял руку вверх, что-то громко крикнул, выругался. Его никто не услышал. Сердце капитана охватило смятение: «Все пропало. А там, в селе, ждут, надеются...»

И вдруг совсем неожиданно в мятущейся толпе, в каких-нибудь десяти шагах от Зажуры, в самой гуще перепуганных, растрепанных, охающих и стонущих односельчанок гневно и печально зазвучала старинная казацкая песня.

Зажура не видел и не мог в темноте видеть, кто запел, но сразу узнал сильный голос матери, звучавший гордо и уверенно, со скорбно-глубокими переливами. Когда-то этот голос не раз приводил в трепет его детское сердце. И сейчас повторилось то, что было в детстве, что неизбежно должно было случиться с каждым любящим сыном. Максим почувствовал себя безмерно счастливым. Вмиг исчезли сомнения, страхи, не осталось и следа от только что охватившего его отчаяния. Он стоял в наполненной водой колдобине и беззвучно плакал, давясь слезами радости, волнения, сыновней гордости.

Женщины, не то пристыженные, не то подавленные пением матери, стали возвращаться на дорогу. И вот уже песня зазвучала громче, ее подхватили другие го-

лоса. Теперь в ней пробудилось что-то вечное и неумирающее, отчего блекли все страхи, и холодная вечерняя степь точно ожила в радужных видениях.

Зажура подкинул на спине тяжелый мешок с патронами, наклонил голову и широко зашагал к селу. Его уже не пугали близкие разрывы снарядов и зловещий рокот пулеметов. Он был уверен, что теперь никто не бросит своей ноши. Зажура шел и пел. Оглядываясь временами назад, он видел, с каким твердым упорством уставшие, хмуро-однообразные женщины шагают за ним в такт старой, полузабытой казацкой песне.

9


не не нравится ваш почерк, старший лейтенант, — часто говорил ему полковник Аграновский. — Летчики в воздухе не рой жалящих пчел. Каждый из них — сокол». Задеснянский не раз вступал с полковником в спор по поводу тактических приемов воздушного боя, стремясь доказать свою правоту. Правда, спорили без ругани, очень корректно, в строгих рамках служебных взаимоотношений, но иногда казалось: еще миг — и произойдет взрыв.

Бывает так: прослужишь с человеком год, два, переживешь самые тяжкие испытания войны и все-таки не найдешь с ним общего языка. Разве сам он, старший лейтенант Задеснянский, не чувствует себя в небе соколом? Разве не приходилось ему вступать в бой одновременно с двумя, а то и с тремя «мессершмиттами». И, наконец, разве не знает он, что в воздухе, сколько бы там ни появилось вражеских самолетов, бой все равно распадется на отдельные жаркие стычки, на парные поединки? Полковник Аграновский, безусловно, отчаянно смелый летчик, он справедливо требовал настойчиво, постоянно учиться тактике воздушного боя. Но почему прежде всего только парному бою? Уметь вести парный бой необходимо, однако этого мало. В последнее время немцы стали действовать осторожнее, редко вступают в бой один на один с советскими истребителями. Утратив численное превосходство в воздухе, особенно после поражений на Дону и Курской дуге, они теперь, как пра-

вило, применяют авиацию на относительно узких, решающих участках фронта, поднимают в воздух одновременно несколько эскадрилий. Навстречу нашим истребителям вылетают ярусами, в два-три эшелона, на огромной скорости, стараясь держаться кучно, окружая себя огненными трассами пуль. Словом, применяют в воздухе так называемые «психические атаки», которые в свое время использовали для устрашения противника их тевтонские предки в наземных боях.

В подобных условиях даже самое высокое мастерство отдельных летчиков-истребителей далеко не всегда достигало необходимого эффекта, если их действия не поддерживались всей эскадрильей, а то и полком в целом. Необходимо было овладевать новыми тактическими приемами, настойчиво оттачивать мастерство парного и коллективного боев. Именно в этом Задеснянский всякий раз и старался упорно, но безрезультатно убедить полковника Аграновского. Командир полка соглашался с ним и тем не менее продолжал свою линию.

И вот теперь все споры с Аграновским остались позади: полковника перевели в другую часть. Задеснянского принял новый командир — подполковник Савадов. Значительно старше своего предшественника, в длинном кожаном пальто, в огромных яловых сапогах, с биноклем на груди, с крупным властным лицом и сурово-настороженным взглядом постоянно прищуренных глаз, он показался старшему лейтенанту больше похожим на командира стрелковой части, нежели на летчика. На щеках сизовато-красные рубцы, на подбородке глубокий шрам. Видно, не раз пришлось побывать в огне. Строго глянув на Задеснянского, подполковник басовито, без тени улыбки и приветливости проговорил:

— Слышал, что мой предшественник крепко жал на вас за приверженность к «пчелиной тактике». Кажется, так он называл коллективный бой?

— Так точно, товарищ подполковник! — ответил Задеснянский. Не хотел скрывать: что было, то было. Возможно, придется спорить и с новым командиром, но сейчас — только служебный разговор, и ничего лишнего. Задеснянский испытывает какое-то неопределенное, неясное ощущение собственной вины перед этим громоздким человеком. Может быть, потому, что тот побывал в огне и на его лице глубокие шрамы? Так уж повелось: всег-

да чувствуешь себя в долгу перед тем, кто больше, чем ты, померялся силами со смертью.

— Ну, а я буду жать на вас за иное, товарищ старший лейтенант. За недостаточно умелое использование в воздухе преимуществ коллективного боя, — продолжал чуть хриплым басом Савадов. Он прошелся по землянке, остановился у стола, что-то прикинул в уме. — Плохо мы еще воюем, товарищ старший лейтенант, хотя и гоним гитлеровцев на запад. Я внимательно изучил материалы о вашем последнем вылете, о том неприятном рандеву, в результате которого вам пришлось совершить неудачную посадку в лесу. Считаю своей обязанностью строго осудить ваше поведение как командира эскадрильи и поведение ваших подчиненных. Ну разве это порядок? Командир идет на сближение с немцем, а его ведомые уже драпанули на аэродром!..

«А он не стесняется в выражениях! — раздраженно подумал Задеснянский. — Рандеву!.. Драпанули!.. Но ничего, не в словах дело, как-нибудь притремся друг к другу. Главное, что он мой единомышленник. А в последнем воздушном бою получилось действительно глупо».

— Прошу не винить моих ведомых, товарищ подполковник, — резко сказал Задеснянский, чувствуя какое-то наслаждение от того, что может поспорить с новым командиром полка, и одновременно ругая себя в душе за упрямую несговорчивость. — Во всем виноват я сам. У немцев не было прикрытия, ни одного «фоккера» в воздухе, ну вот я и решил. А тут — знаете, как это бывает, — неожиданно три немца сразу.

— Неожиданно не появляются! Значит, были где-то близко, а вы их не заметили.

— Нет, товарищ подполковник, бывает, налетают внезапно, застают врасплох.

— А я вам говорю: так не бывает! — голос Савадова сделался сурово-строгим. — Вы забыли святое правило истребителя — враг всегда может оказаться рядом. Постоянно ищи и жди его, сукиного сына, пока находишься в воздухе! С того самого момента, как сел в кабину, постоянно ищи и жди!

«Он таки неплохой парень!» — невольно с чувством воодушевления подумал Задеснянский, все больше проникаясь уважением к новому командиру полка. Захоте-

лось сгладить свою резкость, поговорить просто, по душам. И Задеснянский сделал то, что делают в подобных случаях умные люди: тепло и приветливо улыбнулся.

На войне добрая улыбка — великая вещь. Нередко ее яркая вспышка гасит тяжкую боль, врачует душевные муки, как бы напоминает лишний раз о том прекрасном и вечном, ради чего человек идет в бой. Задеснянский не любил угрюмой хмурости. Она напоминала ему о смерти, спешить навстречу которой совсем ни к чему.

После улыбки на душе сразу стало легче, и ему захотелось сказать Савадову, как другу, что не такой уж плохой полк, командование которым тот принял всего несколько дней назад. А что касается последнего вылета, то он, Задеснянский, атаковал немца правильно, держал на перекрестье прицела, был уверен, что собьет его за несколько секунд, но неточно рассчитал дистанцию. Может быть, потому, что как раз выходил из пике. А тут «фоккеры»...

Савадов не ответил на его улыбку. Его суровое, обожженное лицо, вероятно, разучилось улыбаться. Выслушав внимательно Задеснянского, он сдержанно сказал:

— Вы не обижайтесь, старший лейтенант. Когда начальство критикует, обижаться нашему брату по уставу не положено.

— Я не обижаюсь, товарищ подполковник. Все правильно, — вновь улыбнулся Задеснянский. — Какая может быть обида, если сам допустил промах? — Нахмурив брови, будто совсем некстати, добавил: — Не люблю, когда немец так близко, а мы на земле.

— Вы о чем?.. О близком расположении аэродрома к переднему краю? Да, немного рискованно. Но комдив разрешил, и я пошел на риск. В этом есть свои преимущества, — с дружеской откровенностью сказал Савадов.

— В общем-то, может, правильно. Только поднялся в воздух, тут тебе и передовая.

— В том-то и беда, что передовая, — озабоченно вздохнул подполковник и стал рассказывать о положении в полку. Машины все исправны, потерь последнее время почти не было. Но с горючим беда: бензовозы застряли в грязи, а на самолетах много не подбросишь.

— Что же, приходится «загорать»? — спросил Задеснянский.

— Почти что так. Машины, правда, заправлены, на

один-два вылета запас горючего имеется, а вообще — на голодном пайке. — Савадов раздраженно махнул рукой.— То, что сидим на земле, мало летаем — полбеды, хотя не положено нашему брату отсиживаться в такой обстановке. Беда в другом: немцы могут прорваться. Сегодня ночью слышал их танки, они совсем недалеко. У меня на этот счет слух обостренный, еще в сорок первом научился слушать.

Чтобы Задеснянскому было легче ориентироваться в обстановке, Савадов коротко рассказал, чем занят летный состав. Перед полком поставлена задача перехватывать и уничтожать немецкие воздушные транспорты, блокировать окруженные аэродромы врага. У немцев сейчас один путь связи с попавшими в мешок войсками — воздух. Вот и лезут со всех сторон. Только следи! Лучших своих летчиков посылают. Нередко стараются прорваться за кольцо окружения целыми караванами: сцепят в ряд несколько планеров, нагруженных боеприпасами, продовольствием, и прут под охраной истребителей. У них тоже немало смельчаков, есть очень отчаянные асы. Говорят, некоторых из Берлина сюда перебросили.

— Все-таки иногда прорываются?

— Бывает, прорываются.

— Я слышал, что вам приходилось участвовать и в отражении танковых контратак?

— Под Капитоновкой прикрывали своих танкистов с воздуха, ну и гитлеровцев штурмовали. — Савадов нахмурился. — Все было, брат. Война как война... Ну, а у партизан каково? — участливо спросил он. — Вы там, кажется, штабом заправляли, главным военным теоретиком были? Ну и как, неплохо получалось?

— Какая там теория, товарищ подполковник! Больше топали по земле. — Задеснянский снял шинель, сел к столу, положил перед собой руки, плотно сцепив пальцы. — Месяц отлеживался, лечился, три месяца воевал, остался живым. Сам до сих пор не верю, что так все случилось. Поначалу немцы схватили, а потом немцы же, но другие спасли, отвезли в лес. Невероятно, но факт.

— Да, да... Я слышал. — Савадов хмуро свел выгоревшие брови. — Тех, кого отпускают немцы, у нас любят брать на карандаш. В этом, бесспорно, есть своя логика.

— Странная логика, товарищ подполковник! — откинулся назад Задеснянский, далекий в эти минуты от того, что и его могут взять на карандаш. — Я сам раньше думал — все немцы одинаковые, не люди, а звери. В общей-то массе, может, верно. Фашисты, разбойники! Лишь в плену прикидываются добренькими: «Гитлер капут!» Но тут иное. В этом я лично убедился. Майор Блюме и его водитель, что выручили нас, оказались не такими немцами. Отвезли меня вместе с партизанкой в лес и сказали: «Пробирайтесь к своим. Рот фронт!» А ведь этот майор Блюме не рядовой офицер. Адъютант генерала Штеммермана!

— Не верю я в их благородство! — еще больше насупился Савадов. — Все они одним миром мазаны.

— Так вот же доказательство! — стукнул себя в грудь Задеснянский. — Солдаты хотели пристрелить меня, один даже прицелился. А тут майор: подошел, посмотрел, приказал уложить в машину. Никогда не забуду, как потом, в лесу, он протянул мне пистолет, назвал себя другом.

— Не знаю! Не знаю! — мотнул большой головой Савадов. — Не верю я им, не могу верить. Понимаете, старший лейтенант, не могу! — повторил он.

Задеснянский посмотрел на командира с недоумением. Откуда у него такая глухая, непримиримая ненависть ко всему немецкому? Ведь и в Германии есть честные люди. Не всех же Гитлер превратил в негодяев, подлецов, убийц и грабителей!

Позже Задеснянский узнает, что неспроста Савадов так жестоко и слепо ненавидел немцев. При случае командир полка сам расскажет летчику о своей первой встрече с гитлеровцами и о ее последствиях.

Случилось это в трудном сорок первом году. Самолет Савадова подбили, и он вынужден был приземлиться на занятой врагом территории. Набежавшие немецкие солдаты вытащили его из кабины и с хохотом стали издеваться над ним. Один отстегнул флягу со спиртом, облил его комбинезон, плеснул в лицо, затем чиркнул зажигалкой. Охваченный пламенем летчик, почти теряя сознание, поднялся на ноги и, словно живой факел, бросился в перелесок. Сзади застрочили автоматы, над головой засвистели пули. Немцы были уверены, что он все равно сгорит, им даже хотелось, чтобы он подольше

помучился в огне, и поэтому стреляли в воздух. Задыхаясь, едва живой, Савадов достиг опушки мелколесья, свалился в болото. Очнулся ночью. Черный, с обожженным лицом, он кое-как доплелся до деревни. Немцев там не было. Больше недели отлеживался на сеновале у старика пасечника, а когда почувствовал себя немного лучше, пробрался к своим, перешел линию фронта. Но встреча с немцами осталась в памяти на всю жизнь. И когда он думал о врагах, перед его взором неизменно возникали смеющаяся рожа немецкого солдата, фляга со спиртом и зажигалка.

Задеснянский продолжал рассказывать командиру о своих партизанских приключениях:

— Наш отряд действовал в Таганчанских лесах, неподалеку от Днепра. Местность там лесистая, а немцы побаиваются лесов. Да и партизаны не дремали, делали все, что возможно, разыскивали в лесных чащобах людей, брали в отряды. В урочище Паланки наш отряд собрал около пятисот человек. В тот же день фашисты атаковали нас крупными силами. Бой продолжался дотемна. Мы оказались в окружении, но решили драться до конца. Ночью радист перехватил сообщение немецкого штаба о том, что к лесу подтягивается танковый полк и что новые атаки на партизанские позиции будут поддерживаться с воздуха вражеской авиацией. Что было делать? У нас оставалось мало боеприпасов. И тут нашелся один сметливый разведчик. Сказал, что знает Паланкинское урочище не хуже, чем печь в собственной избе, и сумеет вывести отряд в безопасное место. Мы сразу же снялись с позиций и, отшагав за ночь километров тридцать, выбрались в Черкасские леса.

— А немцы?

— Они поступили так, как говорилось в перехваченном нашим радистом сообщении. С рассветом атаковали урочище и... штурмом взяли пустые окопы.

Савадов открыл дверцу «буржуйки», щурясь от огня, поворачивая железным прутом догоравшие чурки, задумчиво произнес:

— Ясно, не те теперь времена, что два года назад. И у немцев поубавилось спеси, и наши многому научились. А в сорок первом... Хотя что вспоминать! Не напрасно прошли суровую школу. — С минуту он молча смотрел на огонь, затем перевел взгляд на Задесняпско-

го, тихо добавил: — Вчера не вернулся с задания Федоренко.

— Ваня Федоренко?! — воскликнул Задеснянский. — Наш бог войны и дыма?!

— Да, полк остался без начальника воздушно-стрелковой службы. Жаль парня, очень жаль. — Савадов еще раз вопросительно глянул на Задеснянского. — Нужно кого-то назначать на место Федоренко. Вот я и думаю, не представить ли командиру дивизии на эту должность вас, старший лейтенант. А?

Вопрос был задан неофициально, как бы между прочим, но Задеснянский сразу понял, что Савадов говорил вполне серьезно.

«А как же мои ребята? — с грустью подумал он. — Четыре месяца воевали без меня и теперь опять... Перейти в штаб, оставить эскадрилью, прекратить полеты. Все сразу. Главное — прекратить полеты! Как же так?»

Савадов, видимо, догадался о его волнении, деловито пояснил, что, по его мнению, начальник ВСС полка не должен отсиживаться в штабе, а обязан всегда быть среди летчиков. И от боевых полетов его никто не отстраняет. Вылетал же на боевые задания Федоренко.

Задеснянский, положив на колени стиснутые в кулаки руки, невидящим взглядом долго смотрел на шершавые доски стола. Перед ним возникло, как живое, всегда улыбающееся лицо капитана Федоренко. Вчера не вернулся с боевого задания, погиб! Нет теперь среди них неунывающего кубанского соловья, отпел свое... Задеснянский знал, что Федоренко не любил штабной работы, не любил возиться с бумагами, а летал, как настоящий сокол. Должность начальника ВСС явно не подходила ему. Однажды, помнится, еще на Дону, он доверительно сказал Задеснянскому: «Я, Сашко, прирожденный летчик, за должностями не гонюсь, а летать и стрелять готов хоть сто лет!» Не долетал, не дострелял до своих ста лет кубанский соловей.

— Товарищ подполковник, благодарю вас за доверие, но...

Савадов нахмурился.

— Значит, отказываетесь?

— Отказываюсь, товарищ подполковник. Мне на роду написано летать. Не могу оставить эскадрилью. И потом я немного суеверный. Как-то бродячая цыганка

нагадала мне, что умру в хате, в землянке, значит. Я не хочу умирать в землянке. Если уж умирать, так в бою, в воздухе.

— Цыганка, говорите, нагадала? — Савадов недоверчиво посмотрел на старшего лейтенанта прищуренными глазами. — Сказал бы прямо: хочешь наверстать упущенное, — неожиданно перешел он на «ты». — Ну ладно, летай! Только имей в виду, что спуску тебе не дам. Отобьем немцев подальше, устрою семинар, выступишь на нем главным консультантом по групповому бою. Так что готовься.

В землянку доносились отзвуки недалекого боя. Задеснянский с тревогой прислушивался к ним. Неожиданно вспомнилось виденное в селе: человек в долгополом пальто и старомодном пенсне с автоматом за спиной, усач из заградотряда, тревожная суета на сельских огородах... Немцы могли ворваться в село по шоссе. Задеснянский знал, что там может не быть регулярных войск. Обескровленный стрелковый полк вряд ли поможет селянам, если немцы атакуют Ставки с фланга.

И он снова вспомнил пожилого человека в пенсне, который так горячо обнимал Зажуру. Он учитель. Ну что ж, если старые учителя берутся за оружие, а села становятся крепостями, может, не потребуются регулярные войска? У немцев в рощице, что справа от села, наверное, не так уж много сил. Будь достаточно, они давно бы ворвались в Ставки... Вооруженный народ не так-то легко победить. Санкюлоты Франции в свое время сумели отразить атаки первоклассной прусской армии, парижские горожане штурмовали Бастилию, петроградские рабочие в дни Октября мастерски дрались с регулярными частями Временного правительства, с юнкерами...

На лицо Савадова тоже легла тень тревоги. Он отодвинул плащ-палатку, которой был завешен вход во вторую половину землянки. Ему навстречу быстро поднялся молодой связист с наушниками на голове. Савадов задумчиво потер безбровый лоб и, приняв какое-то решение, поднял глаза на солдата.

— Начальника БАО к телефону. Немедленно!

Солдат покрутил ручку аппарата, протянул подполковнику трубку.

— Командир батальона аэродромного обслуживания слушает.

— Прибыли ли машины? — спрашивает Савадов командира БАО. — Еще нет? Ну это... черт знает что!

Он бросает трубку, возвращается к столу и, ни к кому не обращаясь, с болью в голосе говорит:

— Зачем только я их привез на свою голову?! Что теперь делать? Немец рядом, а машин до сих пор нет.

Несколько успокоившись, он объяснил Задеснянскому, в чем дело. Вчера, когда полк перебазировался на новый аэродром, на этот прифронтовой клочок земли, прибежали из села ребята и сказали, что в лесу стоят два грузовика и в них дети, много детей. Чьи, откуда привезли их фашисты — никому не известно. Савадов сразу же бросил все и сам поехал в лес. Действительно, у оврага стояли два застрявших в трясине бельгийских грузовика. В их кузовах под брезентами — ребятишки, легко, не по-зимнему одетые, посиневшие от холода, перепуганные, плачут. Те, что постарше, утешают малышей, пытаются развести костер. «Мы из детского дома, — сказала Савадову девочка лет двенадцати. — Немцы, когда отступали, посадили нас в машины, забрали с собой... Мы хотим есть. Дайте хлебушка, дядя! Хоть корочку, хоть кусочек!..» По распоряжению Савадова детей привезли на аэродром, накормили, обогрели, уложили спать. Ну, а что дальше? Как с ними быть? Фашисты под боком, могут прорваться к аэродрому, придется вести бой, а тут двадцать восемь ребятишек. Оставлять их у себя опасно. В селе — тоже. И кроме того, там сгорела почти половина изб. Временно детей поместили в одной из палаток санчасти, а сегодня утром Савадов приказал командиру БАО вывезти их подальше в тыл. Но, как выяснилось, везти не на чем — все машины еще ночью отправлены на армейский склад за боеприпасами и горючим. Когда вернутся — неизвестно. Может быть, застряли в пути.

В землянку вбежал запыхавшийся солдат, в грязной, порванной шинели. Взволнованно и торопливо, срываясь на крик, доложил, что немцы перешли шоссе и теперь находятся совсем близко от аэродрома.

— Какие немцы, Васюта? Ты что-то путаешь, — поднялся из-за стола Савадов.

— Никак нет, товарищ подполковник, не путаю. Сам видел — перешли шоссе, — повторил солдат.

По разведданным, поступившим утром, Савадову было известно, что от аэродрома до вражеской передовой примерно десять километров. По собственному опыту он знал, что на фронте случаются самые нелепые вещи: порой, вопреки всем расчетам, противник появляется там, где его совсем не ожидаешь. Возможно, это и был такой случай. Вот почему Савадов нарочито медленно и спокойно поднялся из-за стола, будто ничего особенного не произошло, вышел из землянки, долго прислушивался к пулеметной стрельбе за селом. Командир полка прекрасно сознавал опасность и вместе с тем понимал, что в сложившейся обстановке должен действовать обдуманно и рассудительно. Прежде всего, ему нужна была выдержка, как командиру, как человеку, облеченному большой властью и ответственностью.

В конце взлетного поля Савадов увидел цепочку людей — не то женщин, не то мужчин в стеганках и кожушках: издали трудно было узнать. Они шли, сгибаясь под тяжестью заплечных мешков. Савадов поднес к глазам бинокль, некоторое время молча рассматривал едва различимые фигуры, затем обернулся к Задеснянскому и с недоумением произнес:

— Ничего не понимаю. Впереди военный, а за ним женщины. Откуда они? Может быть, Ставки уже заняты немцами и население эвакуируется?

Люди между тем приближались. Уже ясно было видно идущего впереди офицера, который часто оглядывался назад, словно проверял, не отстал ли кто. У него за спиной тоже был мешок, только более громоздкий, нежели у других, и шел он устало, порой спотыкался и едва не терял равновесия. Под воротом распахнутой шинели белели бинты.

«Капитан Зажура! — догадался Задеснянский. — Точно, он!»

Да, это был Зажура. Он шел, не глядя вперед, стиснув зубы, с трудом передвигая ноги. Следом за ним, прихрамывая на правую ногу, шагал сухонький старичок в приплюснутом картузе, а потом женщины. Они появлялись из темноты одна за другой, будто выплывали из тумана — насупленные и грозные.

— Несут патроны, товарищ подполковник! — тихо сказал Задеснянский.

— Вот видишь, старший лейтенант, значит, не зря я рисковал, — облегченно вздохнул Савадов. — В случае чего будем драться здесь. Разве такой народ отдаст немцам аэродром?

Зажура был уже совсем близко. Теперь и он увидел летчиков, но, утомленный до изнеможения, вероятно, не узнал в одном из них своего недавнего знакомого.

«Железный ты мужик, капитан Зажура! — уважительно подумал Задеснянский. — Павел тоже был таким. И батя твой. И весь ваш зажуринский род».

Колонна идет дальше. Фигуры будто проваливаются во мрак, расплываются в вечерней мгле. Патроны! Женские руки и патроны!.. Задеснянский неотрывно смотрит вслед колонне и чувствует, как в его сердце что-то твердеет и всего его охватывает какая-то новая, властная сила.

Вдруг в памяти, будто всплеск пламени, вспыхивает мысль: он должен поговорить с капитаном Зажурой, все, все рассказать ему о последнем бое партизан, о Павле, об отце.

Колонна спускается в долину, последние фигуры исчезают во влажной синеве.

«А что, собственно, рассказывать?.. Война есть война».

Задеснянский продолжает стоять возле штабного блиндажа. За холмами стреляют пулеметы. Над лесом вспыхивают ракеты. На поля тяжело ложится фронтовая ночь.

К блиндажу подошел худенький человек в шляпе. За ним вытянулся высокий сержант с автоматом в руке. «Те самые... Тесля!» — сразу узнал их Задеснянский.

— Товарищ подполковник! — Сержант молодцевато подкинул руку к пилотке, замер перед командиром полка по стойке «смирно» и теперь казался особенно высоким в своих накрученных до колен обмотках. — Наш майор приказал сообщить вам, что атака немцев на шоссе отбита.

— Спасибо за приятное сообщение! — козырнул в ответ Савадов, словно подчеркивая этим несколько торже-

ственным жестом свою благодарность всем, кто мужественно дрался с врагом. — Как же вы там управились? У вас в батальоне, по моим сведениям, не так уж много людей.

— Так точно, товарищ подполковник, людей немного. Нам помогли местные.

— Мы атаковали их с фланга, товарищ подполковник, — не без гордости добавил учитель. В своей старомодной шляпе и пенсне, в огромных сапогах с чужой ноги, он выглядел рядом с военными смешно и необычно, но видневшийся за его плечом темный немецкий автомат как бы равнял его и с командиром истребительного полка, и с молодым, стройным летчиком Задеснянским, и с высоким сержантом в обмотках.

Пожимая сухую ладонь учителя, Савадов хотел было сердечно поблагодарить его, но увидел группу солдат аэродромной команды во главе с замполитом стрелкового полка майором Ружиным, приближавшуюся к штабному блиндажу. Собственно, в появлении солдат и майора Ружина не было ничего необычного. Удивило подполковника то, что среди них были два незнакомых человека в немецкой форме: один полный, круглолицый солдат в старой светло-зеленой шинели нес на плече ручной пулемет, у другого, более молодого, стройного, с офицерскими погонами на плечах, свисал с шеи автомат. Оба они о чем-то весело, по-дружески разговаривали с майором Ружиным.

Круглолицый немец остановился в нескольких шагах от Савадова, приставил к ноге пулемет и, отдавая ротфронтовский салют стиснутой в кулак рукой, с добродушно-смущенной улыбкой проговорил:

— Здравствуйте, товарищи!

Молодой, в офицерской форме, тоже поднял вверх руку, но ничего не сказал, только смущенно улыбнулся.

— Здравствуйте! — ответили Савадов и Задеснянский.

Потом наступило неловкое молчание. Майор Ружин подошел к командиру полка и, перехватив его настороженный, не совсем дружелюбный взгляд, которым тот окинул немцев, поспешил объяснить, в чем дело.

Минут двадцать назад рота эсэсовцев из мотобригады «Валония» попыталась вновь перейти шоссе, продвинуться к селу, но была встречена дружным огнем треть-

его батальона. Эсэсовцы, однако, продолжали рваться к шоссе, и вскоре положение стало угрожающим. Гитлеровцы почти вплотную подошли к дороге. И вот тогда, совершенно неожиданно, по атакующим застрочил пулемет с фланга.

— Огонь вел вот этот товарищ, — указал Ружин на полного, круглолицего немца.

— Курт Эйзенмарк! — слегка наклонив голову, представился тот.

— Потом, когда рота эсэсовцев откатилась назад, — продолжал майор Ружин, — Курт Эйзенмарк и его товарищ перешли к нам.

Савадов пригласил всех в штабной блиндаж. Курт Эйзенмарк пропустил вперед офицера, затем неторопливо прошел сам, по-прежнему держа в левой руке тяжелый пулемет. Подойдя к столу, огляделся вокруг, прикидывая, где удобнее оставить оружие.

— Пулемет и автомат мы можем принять как трофеи, — напомнил ему Савадов. — Давайте сюда. У нас этого добра целая гора.

— Это очень хороший пулемет, товарищ подполковник, — серьезно сказал Эйзенмарк. — Прицельный огонь на тысячу пятьсот метров!

Савадов зло сжал губы. Рубцы на его безбровом, обезображенном лице побелели.

— Можете считать себя счастливым, что вовремя расстаетесь с этой штукой, — бросил он. — Дней через пять не приняли бы и с пулеметом.

Савадов полагал, что перед ним обычные немцы-перебежчики, возможно, более сообразительные, раньше других понявшие безвыходное положение своих войск. Таких, правда, еще немного, но через несколько дней их будет больше, гораздо больше.

Глядя на утомленного, добродушно улыбающегося Курта, командир полка не мог подавить в себе чувства холодной отчужденности и к нему, и к немецкому офицеру. Он собирался допросить их со всей строгостью, диктуемой фронтовой обстановкой. Сел к столу, достал из кармана шинели блокнот, наморщил безбровый лоб. А Курт Эйзенмарк все с той же чуть виноватой, но добродушной улыбкой на круглом лице смотрел на него полными радости глазами, с трудом припоминая русские слова, чтобы запросто рассказать этому суровому

подполковнику о том большом счастье, которое он впервые в жизни испытал сегодня.

Еще в Испании, шагая по пыльным дорогам Эстремадуры, прячась от фашистских самолетов в зарослях маквиса и фуриганы, окровавленный, измученный многодневными переходами, он не раз переносился мыслью в Советский Союз, в страну свободы, сыны которой вместе с ним воевали против ненавистного фашизма, в страну, которая верила ему и называла его героем. Но этот советский подполковник, кажется, не собирается ему верить. Достал бумагу, карандаш, будет допрашивать, как пленного. Надо сказать ему все сразу, чтобы рассеять недоверие.

И Эйзенмарк говорит, тщательно подбирая русские слова:

— Я должен быстро, немедленно связь... Как это по-российски?.. Установить связь с товарищами из комитета «Свободная Германия».

Савадов некоторое время молча смотрит на него, будто изучает его круглое лицо.

— Не вы первый, не вы последний, — наконец произносит он. — Все пленные желают связаться с комитетом «Свободная Германия».

— Я вас очшень прошу, товарищ подполковник, выслушать меня... Я... Как это по-российски?.. Я — уполномочен подпольный группа одиннадцатый корпус. Я имею важный сведения для советского командования.

— Вы из подпольной группы штаба одиннадцатого корпуса? — поднял удивленные глаза Савадов. — Простите, товарищ! Да, да, это о вас мне сегодня звонили из разведотдела армии. Курт Эйзенмарк! Совершенно верно.

Савадов медленно встал из-за стола. Его безбровый лоб разгладился, с него слетела хмурость. Встретившись взглядом с Задеснянским, командир полка на секунду задумался. Возможно, вспомнилось ему горькое лето сорок первого года? Может, вспомнился немец с флягой спирта и зажигалкой в руках?

«Сейчас ему, пожалуй, потруднее, чем в бою, — невольно подумал о Савадове Задеснянский. — Даже поняв, что перед ним действительно друг, он все еще сомневается».

Но Савадов не сомневался. Со свойственной ему прямотой и резкостью он вдруг протянул через стол обе

руки к Эйзенмарку, схватил его полные ладони и начал горячо, возбужденно трясти.

— Так что же вы?.. Что же вы сразу?.. — Казалось, он хотел перетянуть немца через стол в свои объятия. Потом, отпустив его, выпрямился, обвел строгим взглядом тесную землянку, торжественно и властно произнес: — От лица службы, дорогие товарищи немецкие патриоты, объявляю вам благодарность!

Поздно вечером немцев повезли в село, в штаб стрелкового полка. Повезли на той самой машине, на которой командир БАО отправлял в деревню детей-сирот.

У здания школы стояли привязанные к забору верховые кони. Часовой у двери, увидев выпрыгнувших из кузова машины немцев, взял автомат наизготовку.

— Свои, свои! — успокоил его Задеснянский. — Нам к командиру полка. Он у себя?

— Никак нет, товарищ старший лейтенант, — хрипло проговорил часовой, словно спазмы сдавили ему горло. — Нет товарища командира полка. Убитый он... в бою на шоссе. Недавно убило.

Прибывших встретил в коридоре майор Грохольский. Попросил пройти в класс, где на сдвинутых к стене партах валялись набитые соломой матрацы. Возле широкого окна устроился радист. Он монотонно упрашивал отозваться какую-то «Ромашку». Перед ним на столе тускло горел светильник, сделанный из сплющенной сверху медной гильзы сорокапятимиллиметрового снаряда.

— Начальник штаба полка Грохольский! — представился майор и, бросив косой взгляд на немцев, спросил: — Почему пленные без конвоя?

— Это не пленные, товарищ майор.

— Значит, перебежчики? — вновь поинтересовался Грохольский. — Мне сейчас не до них. Везите их в штаб дивизии, пусть там допрашивают.

Казалось, что майора ничто не интересует. Он весь был погружен в себя: не то подавлен гибелью командира полка, не то утомлен до такой степени, что с трудом воспринимает происходящее вокруг.

Задеснянский связался по телефону со штабом дивизии. Ему ответили — за немцами высылают машину.

Старший лейтенант положил трубку возле аппарата и некоторое время смотрел в темное окно, за которым едва угадывались багряные полосы неба.

— Товарищ майор! — повернулся он к начальнику штаба, который о чем-то тихо говорил с радистом. — Там, в машине, дети, сироты. Их надо разместить на ночь в селе. Помогите нам.

— Что? Дети? Какие дети?..

— Вам звонил подполковник Савадов?

— Да, да! Звонил... Дети!.. Я помню.

Майор поднял на Задеснянского побелевшее лицо, посмотрел каким-то яростным, отрешенным взглядом. В нем все было напряжено до предела, почти до неистовства.

— Чего вы от меня хотите? Что я должен делать с этими детьми?.. У меня, у всего полка — большое горе. Понимаете? Большое горе. Только что погиб командир... Вы уже знаете об этом?.. А известно ли вам, что немцы готовят прорыв? Зачем же вы привезли детей? Что я буду делать с ними? Это просто дикость, неимоверная дикость!..

Казалось, не будет конца торопливому, истеричному потоку его слов и восклицаний. В этом потоке как бы вырывалась наружу боль, терзавшая душу майора, вся его неуемная скорбь о командире и о погибших в вечернем бою солдатах, а возможно, и страх перед неизвестностью завтрашнего дня.

Нервное напряжение Грохольского достигло апогея. На войне так бывает — человек не из стали. Сталь и та устает. Есть выражение: предел усталостной прочности металла. Почему же не придумали слов «предел усталостной прочности человека»? Именно такой предел переживал Грохольский. Только это ненадолго. Нужна лишь небольшая разрядка. Скоро станет легче. Человек попрочнее стали. Он вновь может стать твердым и решительным, надо только взять себя в руки.

Грохольский уже сожалел о случившемся: к чему эта истерика? На него в упор смотрел старший лейтенант Задеснянский. С чуть заметным изумлением смотрели Курт Эйзенмарк и его друг, офицер. Неподвижно замер у своей рации связист. Он-то знал, что с начальником штаба это иногда случается: нервная вспышка немолодого, до крайности уставшего человека.

Неожиданно из дальнего угла классной комнаты, точно из темного провала, вышла высокая пожилая женщина в мужском полушубке и тяжелом шерстяном платке, с усталым строгим лицом. Окинула пытливым взглядом немцев, с доброй материнской улыбкой посмотрела на Задеснянского, на радиста, остановилась перед Грохольским, сказала спокойно и твердо:

— Вы правы, товарищ майор: одному человеку не по силам заниматься всем. Но и сиротам тоже надо жить. Они, наверное, перемерзли, им спать хочется. Дети же.

— Да, я понимаю, — вдруг весь сжался Грохольский. — Я сам подумал об этом.

Теперь ему было стыдно. Чувство подсказало ему, что женщина в душе осуждает его. Он узнал ее — еще накануне, когда полк вступил в село, она передала ему ключи от школы. Это была Елена Дмитриевна Зажура, сельская учительница, мать того капитана, что выступал днем на митинге. Местные жители успели рассказать майору о ней удивительные вещи. Будто в день отступления немцев она пришла в школу и, увидев, что фашистские солдаты обливают бензином парты, готовятся поджечь здание, сказала им по-немецки что-то очень дерзкое, отчего поджигатели оторопели. Потом один из эсэсовцев хотел застрелить ее, но офицер приказал не стрелять, а вытолкать «русиш швайн» за дверь. Позднее, как говорили, она вместе с мужчинами из группы самообороны участвовала в отражении немецких контратак. Затем два дня и две ночи стирала белье и бинты для медсанбата, а сегодня пришла в штаб полка вместе с младшим сыном — капитаном. Сын вскоре куда-то ушел, а она терпеливо и упрямо ждала его возвращения.

Елена Дмитриевна поправила на голове платок, прошла к столу радиста. Под ее тяжелым шагом слегка прогнулись, жалобно скрипнули доски пола. Качнулся и на секунду померк светильник. Подняла голову. Мать! Опаленная пламенем войны, пережившая горечь утрат, она, словно степная орлица, не сложила крыльев. Внутренняя боль, потеря мужа и старшего сына, казалось, не только не сломили ее, напротив, придали ей сил.

— Где дети? — спросила она Задеснянского.

— Там, у подъезда, в машине, — ответил летчик,

пораженный суровой решительностью ее строгого взгляда.

— Я возьму их к себе.

— Елена Дмитриевна... — хотел ей что-то сказать Грохольский.

— Ничего, товарищ майор, — словно опережая его сомнения, спокойно подняла руку женщина. — Вместе с соседями как-нибудь устроим их. Скажите капитану Зажуре, я буду дома, пусть обо мне не беспокоится. — И вышла на улицу.

Майор с минуту смотрел ей вслед, затем торопливо выбежал в коридор, едва не сбив с ног солдата из комендантского взвода.

— Это ты, Матюшкин? Быстро разыщи начальника ПФС. Скажи, пусть даст для детей побольше консервов, особенно тушенки.

— Есть, разыскать начальника ПФС и сказать...

— Подожди. Скажи, пусть не жадничает, даст мешок сахару... И галеты трофейные отдаст.

Потом что-то горячо прошептал в самое ухо солдату. Тот улыбнулся, уважительно козырнул и побежал выполнять поручение, дробно стуча сапогами по полу. А Грохольский снова вернулся в класс, несколько смущенный своей чрезмерной суетливостью, сел возле телефона и угрюмо уставился на аппарат.

— Спасибо, товарищ майор. За детей спасибо! — тихо проговорил Задеснянский.

Майор ничего не ответил. Снял фуражку, вытер тыльной стороной ладони пот со лба.

— А вы говорите, дети! — неожиданно выдохнул он. — Тоже ведь люди, живые люди. Им бы в куклы и всякие там игрушки играть. — И, будто упрекая себя, добавил со смущенной улыбкой: — Устал я, очень устал. Нервы подводят. Нужно держаться. Дело только начинается.

Опершись острыми локтями на колени, он закрыл ладонями лицо и погрузился в тягостное раздумье.

Приехавшие с Задеснянским немцы молча переглядывались между собой. Их тоже поразила высокая чернобровая женщина. Хотя они не все поняли из ее разговора с майором, но главное уловили: женщина взяла всех детей к себе.

— Киндер. Арме киндер! — прошептал Курт Эйзенмарк своему товарищу. — Дас ист дас шреклихсте» [1].

— Яволь, яволь! [2] — понимающе кивнул тот в ответ.

Доброта и неиспорченность человеческой натуры убедительнее всего проверяются на детях. Человек, у которого при виде ребенка глаза загораются радостью и лицо озаряется теплой улыбкой, никогда не очерствеет душой на многотрудном жизненном пути. Да, дети — самое дорогое. И война эта, в сущности, ведется ради них. Счастлив тот, кому в трудные минуты боя вспоминаются чистые детские глазенки, удивленный взлет бровей!..

Самые лучшие годы жизни — молодость — Эйзенмарк отдал борьбе с фашизмом. Сперва в Испании, потом у себя в Германии. В огонь этой борьбы он бросил и не успевшую расцвести любовь к девушке со светлыми, точно лен, волосами, с которой провел два вечера после тайных встреч с товарищами по партии в Темпельсгофе, и свое пристрастие к технике, и свою юношескую веселость. Правда, он бывает временами весел и теперь. Любит пошутить. На его круглом, румяном лице почти никогда не угасает лукавая улыбка. Но это уже привычка, ставшая профессиональной чертой характера: всегда играть роль добродушного простака. Меньше подозрений. Какой спрос с постоянно улыбающегося солдата? Приходилось делать вид, что весел и беспечен даже тогда, когда глаза туманили слезы.

А сейчас ему весело по-настоящему, весело от души. И улыбается он с радостным удовлетворением. Все идет превосходно! О переходе ими линии фронта уже известно высокому советскому командованию. Скоро прибудет машина, чтобы отвезти их в дивизию. Нужно только подождать, и он, Курт Эйзенмарк, встретится с людьми из комитета «Свободная Германия». Впрочем, вряд ли это случится так быстро, как хотелось бы. Эйзенмарк знает, что танки Хубе рвутся с запада на выручку Штеммерману и что завтра окруженные войска попытаются выйти им навстречу. Главный удар будет направлен на это село.

Бог мой, как хочется спать, точно кто-то давит на веки!.. Эйзенмарк с трудом открыл глаза, тряхнул головой. Перед ним, совсем рядом, у стола с телефоном, —

[1] Дети. Бедные дети! Это самое ужасное! (*Нем.*)

[2] Конечно, конечно! (*Нем.*)

стройная фигура советского офицера в новенькой фуражке пилота.

«Я видел его где-то раньше, — вдруг подумал Эйзенмарк, и это открытие сразу отогнало сон. — Где я с ним встречался?.. Бледное, худощавое лицо, по-девичьи яркие губы, узкие брови... Да, я видел его. Тогда на лбу у него была кровь. Та же кожаная куртка...»

У Курта была натренированная, цепкая память, способная годами хранить в своих тайниках мельчайшие детали человеческого лица, выразительного жеста, цвета волос, глаз, бровей... Это было в лесу. Рядом — красивая девушка с застывшим взглядом. Да, это тот самый раненый летчик!

Эйзенмарк подошел к Задеснянскому.

— Товарищ! Я знай вас... Вы биль мой машин оппель... Не помните? На шоссе, раненый... Мы увозиль вас в лес вместе с фрейлейн.

— Что? Какая машина? — ничего еще не понимая, посмотрел на немца Задеснянский.

Теперь Эйзенмарк был уверен, что перед ним тот самый летчик, которого он вместе с девушкой-партизанкой отвозил осенью в лес. Конечно, тот самый. Только в глазах больше спокойствия и уверенности. И какие-то новые, насмешливые черточки в уголках рта. Подтянутый, стройный, немножко резковатый...

Начались воспоминания. Задеснянский рассказал, как повернул свой самолет на лесную поляну, как потом ненадолго очнулся на обочине шоссе, как подъехали два закамуфлированных оппеля. Рядом была девушка — молодая, красивая...

Разговаривали, держась за руки, как дети, всей душой отдавшиеся порывистому чувству дружбы.

— О, майн либер фройнд! [1] — громко восклицал расчувствовавшийся Эйзенмарк.

— А вы помните, как ваш солдат на шоссе хотел меня застрелить?

— Нихт, нихт! То не зольдат, то фашист. Я есть ваш зольдат, вы есть мой зольдат, майн официр.

— Ну хорошо, пусть будет так.

— А фрейлейн потом быль... Как это есть по-российски?.. Быль майн гаст, то есть гость... И майор Блюме быль гость, — продолжал Эйзенмарк. — То быль конспе-

[1] О, мой дорогой друг! (*Нем.*)

рацион встреч. Мы пили шнапс, а фрейлейн браль у майор Блюме маленький бумаг и читаль, унд алле дизе цифрен, алле дивизион... Она есть умный альз фухс... Как это по-российски? Хитрый лиса... О, совет партизанен есть гут!..

Взволнованный неожиданной встречей и воспоминаниями, Курт Эйзенмарк часто переходил на родной язык. Спохватившись, начинал медленно переводить. Из его поспешного рассказа Задеснянский узнал, что его спасители — Курт Эйзенмарк и майор Блюме — очень сожалели, что не могли тогда в лесу по-настоящему открыться перед ними, не осмелились рассказать им о своей подпольной антифашистской работе. Правда, через две недели фрейлейн Зося сама разыскала майора Блюме в Корсуне. И это было очень важно, ужасно важно. Зося была их связной с партизанами, но в последнее время куда-то исчезла, связь прервалась...

У подъезда школы остановилась машина, засветились и сразу погасли фары.

— Это из штаба дивизии,—сказал майор Грохольский.

Немцы быстро встали. Офицер резким, привычным движением руки поправил на голове фуражку с длинным козырьком. Эйзенмарк подошел к Грохольскому и негромко доложил:

— Я везу в штаб дивизии важный документ. Завтра утром генерал Штеммерман будет делать ангриф, то есть, по-российски, атаковать... Главный удар — дорф Ставки. Вы понимайт?..

— Да, мы знаем об этом,— сухо ответил Грохольский.

— Вы?.. Знайт? — изумился Эйзенмарк.

— Да, знаем.

— Конечно, так, — спокойно сказал немец. — Совет партизанен, разведка...

Задеснянский ждал немцев возле открытой двери. В его взгляде, как показалось Эйзенмарку, скрывалась тайна.

Когда Эйзенмарк и немецкий офицер были уже в коридоре, Грохольский вышел из класса, догнал Задеснянского.

— Вы поедете с ними?

— Нет.

— Ну тогда все, пусть едут, — кивнул он в сторону немцев. — Я хотел отправить с вами пакет комдиву, а

раз вы не едете, отошлю с нарочным. Передайте немцам мою благодарность за помощь третьему батальону.

Задеснянский вышел к подъезду, где стоял дивизионный виллис. Ночь была темной и неуютной. Дул сырой, пронизывающий до костей ветер. За селом вспыхивали ракеты. Их трепещущий свет вырывал из тьмы могильно-однообразные, угрюмые стрехи изб.

Немцы сели в машину. Эйзенмарк, прощаясь с летчиком, поднял вверх стиснутый кулак, громко крикнул:

— Рот фронт, геноссе старший лейтенант!

Задеснянский тоже вскинул руку в прощальном салюте. Виллис уже потонул во тьме, а он все стоял и держал стиснутый кулак.

Кто-то вышел из-за угла школы. Несмотря на густую темноту, Задеснянский сразу узнал учителя Теслю, спросил его:

— Где капитан Зажура?

— Наверное, дома, с матерью, — тихо отозвался старый учитель. — А может, в сельсовете, с Плужником.

В ночном небе загудели немецкие бомбардировщики, и оно сразу будто приблизилось к земле, сделалось настороженно-грозным. В черной давящей высоте над Ставками проплывала грохочущая смерть, ревущая неизвестность. Задеснянскому на мгновение показалось, что нет ни ночи, ни затянутого тучами неба, а есть лишь прерывистый, постепенно замирающий стальной гул. Село затаилось, прижалось к израненной земле, ушло в сон и, бредя тишиной, словно вздрагивало в конвульсиях страха, в неясном предчувствии беды, в ожидании суровой и неизбежной своей судьбы.

Задеснянский знал, что почти полтысячи ставичан, мужчин и подростков, не дожидаясь официальных повесток о мобилизации, добровольно взялись за оружие, ушли в окопы, уже участвовали в бою с эсэсовцами, познали горечь первых утрат, похоронили многих своих товарищей, но, опаленные первыми вспышками взрывов, не дрогнули... А что будет завтра? Успеют ли подойти новые подкрепления? Сумеет ли стрелковый полк, потерявший в недавнем бою своего командира, выстоять, отразить еще более мощный натиск врага?

О завтрашнем дне с тревогой думали не только в штабах, не только в окопах и траншеях. Об этом думали в каждой сельской избе. Одни готовились на рассвете,

забрав детей и кое-какой домашний скарб, покинуть село, уйти подальше на восток. Другие, наоборот, решили драться с оккупантами до конца, драться за каждый дом, за каждый двор, за каждую улицу. Таких было больше.

Это отнюдь не означало, что люди преодолели страх. Нет, они по-прежнему с ужасом думали о возможном возвращении немцев в Ставки, но сердца их были полны ненависти к оккупантам, полны священной злости. Большинству ставичан казалось, что, оставаясь в тяжелую пору возле своих очагов, они сумеют лучше защитить себя и своих детей, гораздо лучше, нежели в открытой, холодной степи...

Немцы тоже на что-то надеются, готовятся к прорыву, хотя не могут не знать, что обречены. Они верят в счастливый случай, как приговоренные к смерти до самого конца верят в спасительный поворот судьбы. Им кажется: должно непременно что-то произойти. Не обманывает же в конце концов генерал Хубе, обещая пробить кольцо окружения! Не должен оставить свои войска в беде и сам фюрер. Из Берлина он шлет окруженным радиограммы: дескать, положитесь на меня, как на каменную стену, я вас выручу! Может, действительно выручит? Ведь на войне случается всякое...

Гремят, клокочут в боях Богуславщина, Звенигородщина, Корсуньщина. Над селами и деревнями полыхают зарева пожаров, в чадных дымах вместе сливаются дни и ночи. Так было вчера, так было сегодня... А завтра дымов будет намного больше, завтра начнется самое страшное, завтра немцы попытаются осуществить свой замысел — вырваться из котла.

От этих раздумий Задеснянскому вдруг сделалось горько и тревожно. Он окинул мысленным взглядом всю рассеченную фронтами советскую землю. Ему вдруг почудилось, будто родная земля, израненная, истерзанная, но не покоренная, тяжело и устало стонет, зовет к мщению, требует окончательного освобождения: «Скорее, скорее! Терпеть больше нету сил!..»

Летчику захотелось ободрить старого учителя, сказать ему что-то доброе, обнадеживающее. Он и в самом деле сказал ему несколько сердечных слов, а может, лишь думал сказать, но этого было достаточно, чтобы они поняли друг друга, потому что оба были людьми одинакового строя мыслей, оба любили красоту и величие родной зем-

ли, оба прекрасно сознавали, что, воюя против немцев, защищают самое дорогое: и улыбку ребенка, и первую девичью любовь, и ласковый рассвет над мирными селами, и родное небо, и каждый полевой цветок, и каждый колос жита.

Они еще долго стояли у забора, провожая невидящими взглядами постепенно затихающий гул ночных бомбардировщиков. И хотя думали о разном, их мысли были по существу одинаковыми, напоминали им о недавнем прошлом и рисовали будущее, а отдаленные выстрелы, вспышки ракет снова и снова возвращали их к суровой действительности.

— Вы помните, товарищ старший лейтенант, наш последний разговор в отряде, тогда, в присутствии начальника армейской разведки? — спросил Тесля.

— Помню, — тихо ответил Задеснянский.

— Я сегодня опять встретился с разведчиком. Он сказал, что все, о чем тогда договорились, остается в силе. Поэтому если случайно увидите Становую, то... вы понимаете сами...

— Да, я понимаю, товарищ Тесля.

— Особенно осторожны будьте в разговоре с капитаном Зажурой.

— Я буду осторожен, товарищ Тесля. — В голосе Задеснянского послышались нотки раздражения. — Я буду осторожен, — повторил он, — сделаю все, как положено. Но мне кажется... не слишком ли жестоко?

— Так надо, старший лейтенант!

И Тесля зашагал в темноту улицы.

Задеснянский посмотрел ему вслед. Перед ним мелькнули и исчезли во влажной темноте его худые плечи, согбенная старостью, словно придавленная тревогой ночи, спина.

10

Состояние майора Грохольского можно было охарактеризовать одним словом — растерянность. Он и раньше не отличался особой собранностью, умением твердо держать себя в руках, а после гибели «хозяина» и командира третьего батальона растерялся вконец,

почувствовал себя совсем одиноким, неспособным управлять полком. А между тем нового командира еще не было, и вся тяжесть ответственности легла на худые плечи майора.

Приказ командира дивизии был краток и лаконичен: «Во что бы то ни стало удержать село Ставки. Ждать подкреплений. Использовать все возможности для стабилизации обороны».

Легко сказать — использовать все возможности. А где они, эти возможности? Активных штыков в полку почти наполовину меньше нормы. Один комбат убит, второй — тяжело ранен, а третий — совсем еще мальчишка, недавно командовал ротой.

Во что бы то ни стало удержать село!.. Кому же не ясно, что полк должен удержать Ставки, что иного выхода нет! Он, Грохольский, опытный штабник, и без напоминаний знает, как важно удержать в своих руках село, волею случая оказавшееся в центре событий. Позже сюда, конечно, будут брошены крупные силы, возможно, даже армейские резервы. Но все это позже, потом. А сейчас за оборону села полностью отвечает он, Грохольский, временно принявший на себя командование полком. Он должен использовать все возможности для стабилизации обороны, держаться при любых обстоятельствах, стоять насмерть или погибнуть в бою вместе с вверенным ему полком. Дело, конечно, не в нем, он готов умереть, но что это даст?!

В коридоре послышались громкие голоса. Кажется, прибыл старший адъютант третьего батальона? Грохольский нервно улыбнулся, представив себе красивого, всегда чисто выбритого, подтянутого старшего лейтенанта, пользующегося неизменным вниманием штабных телефонисток... Нет, не адъютант, не его голос, кто-то другой. Хлопнул одной дверью, второй. Что-то спрашивает у часового. А-а! Так это же капитан Зажура!

Майору почему-то не хотелось видеть его. Может быть, потому, что проницательный взгляд Зажуры, бледное, хмурое лицо неприятно действовали на нервы, напоминали Грохольскому о собственной растерянности.

— Разрешите, товарищ майор? — распахнул дверь Максим и на секунду задержался у порога.

Грохольский молча кивнул. Зажура прошел к столу, устало оперся на придвинутую к стене парту.

— Я сяду, товарищ майор. Ноги отказывают.

Лицо капитана было землисто-серым. Грохольский с запоздалой торопливостью сказал:

— Садитесь, садитесь, капитан!.. Может, воды дать?

Зажура, как бы стирая с себя усталость, провел рукой по лицу сверху вниз.

— Докладываю, товарищ майор, с боеприпасами — порядок. Теперь патронов хватит и вам, и артиллеристам, и самооборонцам.

— А мины? Гранаты?

— Гранаты, мины тоже принесли. Даже десятка два снарядов.

— Сколько же раз вы ходили на склад?

— Три раза, товарищ майор!

— Трижды? По такой грязи?

— Так точно!

Перед майором сидел вконец обессиленный человек. Казалось, еще миг — и он свалится со стула, распластается у стола, погрузится в непробудный сон.

— У нас тяжелая потеря, капитан. Убиты командир полка и командир третьего батальона, — тихо, словно самому себе, сказал Грохольский.

Зажура широко открыл глаза. Его черные брови поднялись и, казалось, еще больше потемнели. Как убиты?.. Когда?.. Брови не верили, брови протестовали. Лицо стало еще более суровым.

— Одним снарядом обоих, — бесцветным голосом пояснил Грохольский. — Вот такие дела, капитан.

Стало тихо. Словно исчезли слова, исчезло и рассеялось все вокруг, осталась лишь тишина. Первым нарушил ее Зажура:

— Когда вы собираетесь пойти в батальоны, товарищ майор?

— Сейчас.

— Я пойду с вами.

— Вы? — Грохольский вытянул тонкую шею, нервно повертел головой, затем с неожиданной решительностью сказал: — Ну что ж, принимайте временно третий. Приказом оформим после.

Встал строгий, сразу успокоившийся, будто ждал этого момента и нашел выход из трудного положения. Зажура тоже поднялся вслед за ним, молча отдал честь.

Окопы третьего батальона тянулись сразу за большаком, что поблескивал в темноте наполненными водой выбоинами. Грохольский шел впереди по узкому ходу сообщения, время от времени поворачивал назад голову и монотонно рассказывал Зажуре, как немцы под вечер пытались перейти дорогу и прорваться к окраине села. Стены траншеи были мокрыми и скользкими, под ногами надоедливо чавкала грязь. У Зажуры от усталости кружилась голова. Он почти не слышал майора, плелся за ним будто в полусне, а мысли упрямо возвращались к событиям дня. То он видел перед собой Зосю, отчужденную и недоступную, словно отгороженную от него каким-то туманным барьером, то высокую фигуру матери среди черного, ветреного поля, с тяжелым мешком за плечами, то испуганные лица женщин, мечущихся среди разрывов по мокрой, скользкой пахоте.

— Это вы, товарищ майор? — вдруг послышался из темноты резкий, простуженный голос. — Заходите сюда, товарищ майор, и вы тоже, товарищ офицер.

Они спустились в тесный блиндаж с такими же мокрыми, как в траншее, стенами, слабо освещенными желтовато-тусклым пламенем каганца. Зажура увидел в углу прикрытое шинелью тело. Сразу догадался — убитый. Солдат в шапке и ватнике, который позвал офицеров в землянку, осторожно приподнял край шинели, прикрывавшей лицо мертвого.

— Это — ефрейтор Бучма, ординарец командира полка. Прикажете здесь похоронить или отвезете в село, товарищ майор? — глухо спросил высокий боец, вновь закрывая лицо убитого полой шинели.

Грохольский зло сузил глаза. Ему стало как-то не по себе от слов солдата, быть может, он подумал, что и его самого когда-нибудь вот так же положат в углу землянки, накроют мокрой шинелью и спросят, где хоронить.

— В машину! Повезем в село, — приказал он, хотел уже выйти из землянки, но неожиданно опустился перед телом ординарца на одно колено и беззвучно заплакал.

Зажура почувствовал тяжесть в ногах. На секунду перехватило дыхание. Он быстро вышел в траншею, прижался спиной к липкой стене и долго стоял так, глядя на темно-серые, низко нависшие над землей облака.

Из соседнего блиндажа вынесли погибшего комбата. Тусклый лучик фонарика пробежал по дну траншеи, вы-

хватив из темноты чьи-то сапоги, потом вмятый в грязь котелок и рассыпанные гильзы. Над лесом вспыхнула ракета. Зажура увидел майора Грохольского и высокого солдата в ватнике. Пригнувшись, они торопливо шагали по траншее в противоположную от него сторону. Вот ракета погасла, и все вокруг вновь окутала непроглядная, влажная темень.

Чтобы не оставаться одному, Максим, не раздумывая, пошел вслед за Грохольским. На повороте траншеи обо что-то споткнулся и чуть было не упал. Откуда-то из темной ниши послышался бойкий голос:

— Чего шляешься там? Шумишь, как на базаре.

Слова эти прозвучали в холодной темноте столь нелепо и дерзко, с такой разухабистой грубостью, что невольно остановили Зажуру. Чуть в стороне он увидел тусклую полоску света. Его рука коснулась мокрой шинели, которой был завешен вход в крохотный блиндажик, а скорее, в прикрытый сверху окоп. Максим увидел трех солдат: два — совсем молодые, третий — значительно старше. Они сидели прямо на влажной глине, поджав под себя ноги, и при свете коптилки, сделанной из гильзы патрона от противотанкового ружья, поочередно пили из закопченного котелка.

— Чайком балуетесь? — строго спросил Зажура.

— Проваливай, браток! Иди, куда шел, — хриплым голосом, с нескрываемым раздражением проговорил старший, не отрывая губ от котелка.

Это был ефрейтор Боровой. Он сидел в углу, в распахнутом ватнике, без пилотки, его лицо было потным и окаменело-отчужденным. Молодой солдат, что примостился у самого входа, разглядев в полутьме офицерские погоны, толкнул ефрейтора в бок. Тот поставил котелок, с каким-то тупым вызовом посмотрел на офицера, попытался встать.

— Простите, товарищ капитан... Здравия желаю! Простите, что мы тут... Земляков, значит, встретил я, вот немного на радостях...

Лицо ефрейтора на глазах преображалось, становилось более осмысленным и одновременно встревоженным. В душе он уже ругал себя за то, что выпил лишнего. У капитана, видать, по горло всяких забот, а они тут... Теперь всем им крепко достанется, а ему, ефрейтору Боровому, первому. И поделом.

Боровой уже успел разглядеть, что левая рука капитана подвешена, а из-под воротника шинели торчат бинты. Память подсказала: он, ефрейтор, уже видел капитана утром, когда вручал комдиву пакет командующего армией. Ну, конечно же, капитан стоял возле бронетранспортера у разбитого моста! От этого воспоминания на душе Борового стало еще отвратительнее.

— Мы тут понемногу, значит, товарищ капитан, по маленькой, — бессвязно, с какой-то суровой отрешенностью продолжал объяснять он. — Земляки все же... И потом тот бандит эсэсовский... удрал, гад, из-под самого моего носа убег... Разве ж не обидно, товарищ капитан?.. Промашка, правда, не моя... Контузило меня, вот и получилось...

Зажура некоторое время молча смотрел на ефрейтора, на притихших молодых солдат и невольно думал о том, что, может быть, эта встреча земляков последняя. Завтра — трудный бой, и кто знает, как обернется дело: останутся ли они в живых или погибнут от первого же снаряда, как погибли сегодня командир полка и комбат?

— Майор Грохольский к вам не заходил? — спросил он, обращаясь прежде всего к ефрейтору и как бы не замечая напряженной растерянности солдат.

— Никак нет, товарищ капитан, майор Грохольский не заходил к нам, — поспешно ответил Боровой. — На левый фланг он пошел, товарищ капитан. По голосам было слышно.

Зажура молча кивнул и повернулся, чтобы идти дальше. Следом за ним выбрался из своего закутка Боровой.

— Товарищ капитан!..

— Что еще?

Застегивая на ходу ватник, ефрейтор — широкоплечий, коренастый — подошел к Зажуре и, неловко потоптавшись в глиняном месиве, тихо попросил:

— Вы уж не взыщите, товарищ капитан... С ребят, значит, не взыщите. Они не виноваты.

— Хорошо, не взыщу, — холодно ответил Зажура. — Сейчас не до взысканий. Утром бой будет. С немцами в бою расквитаемся, с них за все взыщем! — И зашагал во тьму по едва просматриваемому ходу сообщения.

Оба они — и капитан Зажура, и ефрейтор Боровой — еще не знали, не догадывались, что по странной прихоти событий их личные судьбы уже с первой встречи у раз-

битого моста переплелись, оказались связанными одной крепкой нитью. Нить эта тянулась к эсэсовскому офицеру Леопольду Ренну. Капитан винил себя в том, что, встретив альбиноса, не сразу распознал в пленном ренегата с черным нутром фашиста, а узнав, промолчал, ничего не сказал генералу Рогачу. Ефрейтор Боровой считал личной трагедией, что упустил пленного гитлеровца, хотя, в сущности, нисколько не был виноват в этом.

Пройдя еще с десяток шагов, Максим увидел неподалеку на сером фоне небосклона грузовую машину, на которой приехал вместе с Грохольским из штаба. Майор и два солдата укладывали в нее погибших: сначала осторожно, точно боясь причинить боль, подняли комбата, потом ординарца командира полка. Один из солдат, встав на колесо грузовика, долго возился в кузове, укрывая погибших брезентом. В его неторопливых движениях чувствовалась привычка без лишней суеты все делать обстоятельно и добротно.

Вот он спрыгнул на примороженную землю, с минуту постоял у машины, отдавая последний долг погибшим, еще раз заглянул в кузов и, как-то безвольно сгорбившись, пошел к траншее.

Водитель включил мотор. Зажура торопливо подбежал к грузовику. Увидев его, Грохольский негромко сказал:

— Садитесь, капитан. Поедем в село.

Максим отрицательно качнул головой:

— Я не поеду, товарищ майор. Останусь тут.

— Ах да! Я забыл в суматохе... Правильно, оставайтесь, командуйте батальоном. Разыщите старшего адъютанта батальона, обо всем с ним договоритесь. Я потом позвоню вам. До свидания!

Машина тронулась. Глядя ей вслед, Максим устало прошептал:

— До свидания, товарищ майор! Только увидимся ли мы снова?..

Близился рассвет. Небо постепенно прояснялось. Горизонт еще розовел заревами далеких пожаров, но и они начинали угасать, теряя свою зловещую таинственность.

Встретившись в землянке со старшим адъютантом третьего батальона, Зажура сообщил ему о своем назначении. Как раз в это время позвонил майор Грохольский.

Закончив телефонный разговор, адъютант — стройный, высокий офицер в перетянутой портупеей овчинной безрукавке — пожал Максиму руку, в нескольких словах пояснил обстановку:

— Продержаться некоторое время, конечно, можно, хотя все зависит от новобранцев. Если немцы бросят в бой танки, новички могут не выдержать. С пулеметами у нас неважно. В двух ротах пулеметные расчеты выведены из строя.

— И некем заменить? — удивился Зажура.

— На смертную должность не каждый соглашается, — бросил в ответ адъютант. — Назначишь стрелков пулеметчиками, все равно толку не будет. Залягут в окопе и будут лежать.

— А вы попросите их хорошенько! — едва сдерживая себя, со злой иронией проговорил Зажура. — В ножки им поклонитесь: дескать, постреляйте малость, никак не моможем обойтись без вашей милости!..

Адъютант оставался невозмутимым. Он уже привык к таким наскокам, умел сдерживать себя и даже сохранять при этом бодрое, насмешливо-ироническое настроение. Не повышая голоса, он объяснил Зажуре, что в полку почти не осталось ветеранов, большинство бойцов и командиров — молодежь из недавнего пополнения, а теперь еще и новобранцы из села. В этих условиях, по мнению адъютанта, лучше действовать не силой приказа, а силой убеждения, личного примера. Бесспорно, молодые ребята из села, что пополнили полк, быстро получат боевую закалку. Важен первый серьезный бой, первый успех. Лишь бы поначалу не дрогнули, не побежали, потом все пойдет своим чередом.

— Не все же солдаты, которые пришли в полк из села, — необстрелянные новички, — возразил Зажура. — Многие из них партизанили, бывали в разных переделках.

— Может быть, и так, товарищ капитан. Поживем — увидим.

Старший адъютант батальона распорядился, чтобы принесли в землянку чаю. Вошел пожилой, степенный солдат с большим чайником, наполнил густо заваренным чаем две алюминиевые кружки, молча поставил их перед офицерами на грубо отесанные доски стола. Адъютант разгладил стрелочки усов, вновь повернулся к Зажуре:

— Есть у меня одна мыслишка, Максим Захарович... Простите, я правильно запомнил имя и отчество?

— Правильно, — улыбнулся Зажура, неожиданно ощутив дружеское расположение к этому красивому, невозмутимо-сдержанному офицеру. — А вас, если не ошибаюсь, Росляковым кличут?

— Точно, Виктор Росляков, — кивнул тот и продолжал: — Так вот, Максим Захарович, насчет мыслишки. Сегодня к нам прислали из комендантской роты дивизии ефрейтора Борового. Я знаю его уже давно. Еще до ранения на Днепре он у меня в пулеметном взводе расчетом командовал. Сам из уральцев, кадровый рабочий-металлист. Человек, прямо надо сказать, незаурядный: отчаянно смел, горд, самолюбив и одновременно натура удивительно поэтическая.

— Поэтическая натура! Это, по-вашему, тоже качество, необходимое на войне? — снова улыбнулся Максим.

— Поэтичность? А почему бы и нет? — Лицо адъютанта вдруг стало задумчивым, он, видимо, что-то вспомнил, помолчал. — Поэтичность, Максим Захарович, качество душевное, без него жизнь была бы скучной. Я тоже до войны писал стихи, даже печатался при активном содействии нашего нынешнего замполита майора Ружина. Мы оба ленинградцы. Майор Ружин работал в областной газете, ну и пытался сделать из меня поэта. Возможно, что-нибудь и получилось бы, да война помешала. Стихи, по-моему, на войне нужны еще больше, чем в мирное время, только писать их некогда. Или, может, вы блажью это считаете?

— Почему блажью? Я люблю хорошие стихи.

— В данном случае дело не в стихах, — продолжал лейтенант Росляков. — Ефрейтор, о котором я говорю, скорее поэт душой, своими взглядами на жизнь. Он, знаете, из русских умельцев: за что ни возьмется, все у него спорится, во всем он видит высокий смысл. И правдолюбив до щепетильности. К нам его перевели вроде штрафником, за какую-то провинность. Только я не верю этому. Мне известно, что Боровой сам несколько раз просил, чтобы его направили на передовую. Словом, комбат, тот, что погиб, по моей рекомендации сразу назначил его командиром пулеметного расчета...

— Говорите, ефрейтор Боровой? — резко поднял голову Зажура и, вспомнив сцену «чаепития» в тесном око-

пе, иронически улыбнулся. — Я, пожалуй, уже видел его... Познакомились.

— Ну вот, тем лучше. С виду он немного мешковат, неповоротлив, а в бою ведет себя изумительно. Под вечер, когда немцы нас атаковали и пытались перерезать шоссе, он дрался виртуозно. Еще до боя подготовил несколько запасных позиций. Только немцы начнут пристреливаться из минометов, а он уже в другом окопе и снова ведет огонь. Главное, чувствует, когда надо уйти, сменить место...

Зажура вновь улыбнулся, теперь уже широко и открыто.

— Чему вы улыбаетесь, товарищ капитан?

— Вспомнил фильм «Праздник святого Йоргена». Там Игорь Ильинский воришку играет и, помнится, в какой-то сцене говорит: «Главное — вовремя смыться!» Выходит, это правило иной раз и на войне небесполезно. Разумеется, в ином, хорошем понимании слова «смыться», вовремя уйти из-под огня, сменить позицию и продолжать бить врага.

— Вот об этом и говорю, Максим Захарович, — продолжал адъютант, не принимая шутливого тона. — Пока есть время, надо предупредить все пулеметные расчеты, чтобы они к рассвету оборудовали по нескольку запасных позиций.

— Ну что ж, действуйте. Дело полезное.

— Тогда я пойду, товарищ капитан, поговорю с пулеметчиками, проверю посты. А вы отдохните часок. Уж больно у вас усталый вид.

— На часок, может, не получится, но прилечь все-таки надо, — устало повел плечами Максим. — Если что, сразу будите.

— Об этом не беспокойтесь, разбудим вовремя. — Росляков поднялся, с грустью посмотрел на нары и, чтобы не подвергать себя искушению, шагнул к выходу.

В землянке было жарко натоплено, остро пахло непросохшей соломой. Каганец из гильзы немецкого малокалиберного снаряда упрямо боролся с темнотой. От мигающего света на стенах шевелились уродливые тени.

«Вот я и дома, — подумал Максим, впервые после ранения чувствуя себя на месте, там, где положено быть офицеру в страдную пору войны. — Чудно! Шел домой долечиваться, а пришел снова в окопы. Так, пожалуй,

лучше. Если завтра выстоим, будет совсем хорошо, еще и с мамой успею повидаться... А этот батальонный адъютант, кажется, хороший парень...»

На противоположной стороне луговины, над немецкими окопами, одновременно вспыхнули несколько ракет. Их белесый свет проник в землянку, вырвал из темноты висевший на стене автомат. Где-то далеко, на правом фланге, застрочил немецкий контрольный пулемет.

— Боятся, сволочи! — зло проговорил старший адъютант, поправляя портупею и подтягивая ремень. — Утром опять полезут... Ну я пойду, товарищ капитан. Кстати сообщу замполиту о вашем назначении. Он, кажется, в седьмой роте.

«Определенно славный парень! — вновь подумал сквозь дрему Максим, с наслаждением опускаясь на прикрытый плащ-накидкой горбик соломы. Запах ее навевал какие-то неясные, теплые воспоминания детства. — Только бы продержаться завтра!..»

С этой мыслью он заснул.

— Товарищ капитан!.. Проснитесь же, товарищ капитан! — Кто-то энергично тряс Максима за плечо.

Открыв глаза, Зажура увидел перед собой светлый полушубок батальонного адъютанта. За стенами землянки слышался оглушающий грохот. Где-то совсем рядом сухо хлопали ротные минометы, чуть дальше — их батальонные собратья.

Молодое, красивое лицо лейтенанта было взволнованно. Он стоял во весь рост, почти упираясь головой в бревенчатый потолок землянки — стройный, высокий, подтянутый, с открытой кобурой, из которой темнел отполированной сталью пистолет.

— Немцы атакуют, товарищ капитан! — лаконично доложил Росляков и, секунду помолчав, добавил: — Пехота и танки.

— Много танков?

— Пока шесть.

Кажется, только теперь Зажура вспомнил о своем ночном назначении, и ему вдруг сделалось стыдно: «Проспал!.. Все на свете проспал!» Стараясь скрыть растерянность, он с упреком бросил Рослякову:

— Я же просил разбудить меня до начала боя, товарищ лейтенант.

— Немцы начали раньше, чем ожидалось, товарищ капитан. Без предупреждения.

— Ну ладно, пока ничего страшного не случилось.

Выйдя из землянки в траншею, Максим взял у Рослякова тяжелый бинокль, стал внимательно рассматривать местность перед фронтом рот.

— Пригнитесь, товарищ капитан! — крикнул ему Росляков.

Не сразу поняв предупреждение, Зажура медленно оглянулся на голос и услышал, как над головой засвистели пули. Лейтенант рванул его вниз, едва не сбил с ног.

«Что это я в самом деле! Кому нужно такое фанфаронство?» — испытывая перед своим начальником штаба непонятный стыд, подумал Зажура.

К счастью, все обошлось благополучно. Они направились на наблюдательный пункт: Росляков — впереди, Зажура — за ним. По пути Максим старался выяснить у Рослякова, почему он так разволновался, и тот, слегка покраснев, сказал, что и вправду решил, будто немцы атакуют. А атаки пока не было. Велась обычная утренняя перестрелка. В этом Зажура убедился сразу, как только пришел на наблюдательный пункт. Правда, вдали, возле самого леса, маячили вражеские танки, по-зимнему белорыжие, пятнистые, словно облезшие после зимы зайцы. Немецкая пехота, делая короткие, быстрые перебежки, накапливалась за пригорком. Обстановка была не такой уж тревожной, как доложил старший адъютант. Конечно, с танками шутки плохи. Но Максим знал (об этом еще ночью ему сказал майор Грохольский): луговина перед фронтом батальона густо заминирована, поэтому немцам вряд ли удастся с ходу преодолеть минное поле. А раз так, значит, можно будет здорово их потрепать, выиграть время. Эти мысли окончательно успокоили Зажуру, суровые морщины на его лбу разгладились, он улыбнулся и почти весело сказал:

— Утро хорошее. Посмотрим, как будет к вечеру.

Утро действительно выдалось погожим и почти повесеннему теплым. Ярко светило солнце, небо казалось бездонным и мягким. «Немцы, конечно, ударят и с воздуха. У наших нет бензина. Но все равно пехоту не так-то легко выбить из окопов. Земля как-нибудь прикроет».

Некоторое время Максим молча всматривался в зату-

маненную даль, затем, обернувшись к Рослякову, с мечтательной грустью произнес:

— Вон там, за лесом, километрах в десяти отсюда, наша Рось. До войны мы ходили туда купаться. Если бы вы знали, лейтенант, какая это замечательная речка! Известное дело, не Днепр и не Волга, зато для купания лучших мест не найти.

Лейтенанту Рослякову было невдомек, почему вдруг Зажура заговорил о какой-то почти неизвестной речушке и о своих детских забавах. Не вдумываясь в слова капитана, он равнодушно кивал, монотонно повторял: «Да, да!» — и с прежним вниманием продолжал наблюдать за передвижением немцев. Здесь же рядом, в аккуратно отрытом окопчике, устроился связист с телефонным аппаратом. Он держал в руках трубку и преданно смотрел на старшего адъютанта, считая его после гибели комбата главным начальником. Связист был молод, почти подросток лет семнадцати-восемнадцати и к тому же новичок на фронте. Снаряды рвались далеко в стороне, а ему все время казалось, будто они летят прямо в его окопчик. При каждом взрыве он болезненно поеживался, растерянно осматривался кругом и затем вновь устремлял испуганный взгляд на лейтенанта Рослякова.

А в окопах люди готовились к бою. Пока что вражеская артиллерия лишь пристреливалась, но с минуты на минуту могла начаться артиллерийская подготовка. Над позициями батальона тянулись синеватые полосы дыма. Постепенно смешиваясь с парами оттаивающей земли и поднимаясь вверх, они все плотнее застили солнце.

Из леса выползло еще несколько танков. Теперь Зажура уже без бинокля насчитал семнадцать машин. Пехоты, которая залегла за пригорком, не было видно, но Зажура знал, что она поднимется сразу, как только танки двинутся вперед.

И в этот миг капитана охватило удивительное ощущение. Брошенная им несколько минут назад фраза о родной реке отозвалась теперь в его сердце горьким смятением. Глядя на знакомое с детства горбатое предлесье, он, кажется, впервые за время войны с особенной остротой почувствовал огромность горя, пережитого и переживаемого его народом из-за нашествия гитлеровцев. За два года командования минометной ротой ему не часто приходилось видеть немцев, как сейчас, собст-

венными глазами: вооруженных, зримых, упрямых в своей злобе. Батальонные минометчики обычно вели огонь из укрытий. А тут враги были перед ним во всей своей плоти, он почти физически ощущал присутствие их танков, отчетливо слышал скрежет гусениц, а иногда до него долетали даже гортанные выкрики команд.

— Товарищ капитан, звонят из восьмой роты, — доложил ему Росляков и протянул трубку полевого телефона.

Командир восьмой роты сообщал, что к нему прибыло сорок пять человек пополнения. Все из села Ставки. Люди пожилые, но уверяют, что умеют обращаться с оружием и метко стрелять.

— Можете им верить, — твердо сказал Зажура. — Передайте им, чтобы занимали места в окопах и не трусили, особенно перед танками.

Началась немецкая артподготовка. В окопах батальона все сразу стихло, затаилось, вжалось в землю. Земля стала единственной защитой, единственной надеждой на спасение. Зная о том, что в окопах наряду с бывалыми солдатами и командирами немало новичков, Зажура с тревогой думал, выдержат ли они обрушившийся на позиции артиллерийский шквал, не растеряются ли перед гуляющей над окопами смертью.

Если бы капитану Зажуре было дано в эти минуты мысленно представить себе боевые события начавшегося дня, все, что происходило на многокилометровом, еще не сложившемся, не стабилизировавшемся фронте от Толмачева до Чапаевки, где советские войска неумолимо сжимали кольцо вокруг вражеских дивизий, если бы он мог хоть одним глазом заглянуть в сатанинскую кухню генерала Штеммермана и бригадефюрера Гилле, которые приняли на себя командование над всеми попавшими в русский котел соединениями, он непременно уловил бы в адском грохоте немецких орудий отзвуки отчаяния. Но Максиму сейчас было не до размышлений. Мощь артиллерийского огня возрастала, и трудно было поверить, что ведут его уже не те вымуштрованные по всем правилам прусской военной машины головорезы, которые в сорок первом году, нагло ухмыляясь, перли напролом, а согнанные ужасом, зажатые в тиски на небольшом клочке земли, деморализованные, озлобленные, отчаявшиеся люди,

лелеявшие последнюю надежду — вырваться через Ставки на спасительный простор.

Неожиданно немцы перенесли огонь в глубь села. Частые взрывы загрохотали где-то позади, не то в районе плотины, не то еще дальше — возле старой школы. И сразу же над селом поднялись столбы черного дыма. Из седьмой роты сообщили, что немецкие танки спускаются на луговину и движутся прямо на ротные окопы. Держа в руке телефонную трубку, Зажура посмотрел в бинокль сначала на лес, затем на позиции седьмой роты, где было больше всего необстрелянных добровольцев.

— Ночью в седьмой были потери? — спросил он Рослякова.

В этот момент рядом с НП прогремел взрыв. Осколки с визгом пролетели над головой. Лицо старшего адъютанта побелело. Несколько секунд он стоял точно контуженный, машинально смахивая с полушубка капли крови. Рядом с ним дергался в предсмертной агонии молоденький связист.

— Какие потери понесла седьмая рота за ночь? — повторил вопрос Зажура, еще не видя умирающего связиста.

— Вчера вечером... там шестерых убило и троих ранило, — ответил наконец Росляков, продолжая машинально тереть рукавом окровавленную полу.

— А ночью?

— Не знаю... Простите...

— Хорошо. Я пойду в седьмую, а вы оставайтесь здесь.

— Товарищ капитан! Разрешите, я... — На лице лейтенанта проступили розовые пятна. В нем боролись страх и мужество. Всем своим естеством он хотел жить, хотел, чтобы быстрее закончилась эта оглушающая толчея. Мужество победило страх, и он сказал уже спокойнее: — Вам лучше остаться, товарищ капитан. Вы же не знаете, как безопаснее пройти в седьмую.

— Прикройте убитого, лейтенант! — кивнул Максим на скрюченное тело связиста. — Держите связь с соседями и полком. Я буду в седьмой.

И он пошел вместе с солдатом, тем самым, который ночью провожал в последний путь бывшего комбата, а теперь, словно повинуясь традиции, старался неотлучно находиться возле нового командира. Шли узкими, наскоро

отрытыми ходами сообщения, задевая плечами за мокрые стены, перешагивая через чьи-то ноги, спотыкаясь о перегораживавшие траншею длинные противотанковые ружья. Тревога все грузнее и тяжелее наваливалась на Максима.

Возле бруствера шлепнулся снаряд, разбросав по сторонам мокрые комья глины.

«Не разорвался. Болванка!» — машинально подумал Максим.

В непрестанный грохот артиллерийской канонады все чаще вплетались резкие, сухие выстрелы танковых пушек. По всей вероятности, танки были близко. Зажуру охватило щемящее чувство безысходности: «Что будет дальше? Сумеем ли выстоять?»

Траншея кончилась. До позиций седьмой роты оставалось метров сто, не больше. Максим обернулся к сопровождавшему его солдату.

— Возвращайтесь в свою роту. Тут я один доберусь.

Сдвинув для удобства кобуру с пистолетом назад, он выскочил из траншеи и побежал. Сапоги скользили по мокрой пашне. Боль раненой, натруженной за ночь левой руки огнем подкатывалась к сердцу. Ноги подкашивались.

Он упал в тот момент, когда где-то в стороне застрочил крупнокалиберный танковый пулемет. Над головой сердито зацвякали пули. Сердце словно замерло. «Не лучше ли повернуть назад? Нет, поздно! Теперь либо доберусь до седьмой, либо тут все и кончится...»

Какая-то неведомая, дикая энергия гнала Зажуру вперед, к позициям седьмой роты. Упираясь локтем правой руки в податливую, размякшую землю, он медленно, но упорно двигался дальше. За ним тянулся глубокий след. Неожиданно локоть провалился в пустоту. Еще один рывок, последнее усилие, и Максим съехал в окоп.

Ефрейтор Боровой быстро обернулся, увидел офицера, узнал в нем Зажуру.

— Вот уж не ждали вас, товарищ капитан! — воскликнул он с озорной беззаботностью человека, знающего себе цену. Боровой был все в том же ватнике, только застегнутом на все пуговицы и туго перетянутом брезентовым солдатским ремнем. Лицо его было чисто выбрито, и весь он выглядел как-то по-юношески свежим, энергичным, румяным.

Зажура встал, начал счищать с шинели грязь. Он никак не мог отделаться от навязчивого, так некстати охватившего его страха, который пережил за те несколько минут, пока полз по открытой пахоте. Некоторое время он видел все словно в тумане, прерывисто дышал, как тяжело больной.

А Боровой и его напарник возле пулемета будто бы и не испытывали никакого страха, никакого волнения. Устроились они в своей ячейке надежно и даже не без удобств: коробки с лентами расставили в ряд под стенками, в глубоких выемках сложили гранаты. Старенький «максим» был направлен в сторону немцев.

— Ну как, готовы к бою? — спросил Максим, протиснувшись в тесную ячейку.

— Вроде бы готовы, товарищ капитан, — ответил ефрейтор. — Немец почему-то долго не показывается. Гармошку бы нам сюда.

— Вчера вам гармошки действительно не хватало, — примирительно улыбнулся Зажура. — А сегодня придется играть на «максиме». — Капитан осторожно заглянул через бруствер — там, примерно в полукилометре, стояли немецкие танки. — Ближе не подходят?

— Нет. Один напоролся на мину, вон тот, крайний слева, — показал Боровой.

— Вероятно, сорвало гусеницу?

— Может быть. Бабахнуло здорово, танк аж на месте завертелся. Ну они, значит, и решили переждать. Наверное, вышлют вперед пехоту.

Боровой рассуждал уверенно, словно по ему одному понятным внешним признакам наперед знал, как развернутся события. Скорее всего, ему было неловко перед капитаном за вчерашнее, и он старался загладить проступок излишней лихостью. Он явно томился бездействием, переступал с ноги на ногу, брался за гашетку пулемета, расправлял ленту.

Зажуре надо было идти дальше, но он все еще не мог заставить себя уйти из этого удобного и надежного окопа. «Чем этот ефрейтор так насолил начальству комендантской роты, что его прислали на передовую чуть ли не штрафником? — подумал Максим. — Не из-за пленного же: тот сбежал во время бомбежки, значит, ефрейтор не виноват. Тем более, что был контужен. Видно, кому-то просто пришелся не по зубам».

— Я слышал, товарищ капитан, что вы здешний. И родные, значит, тут, в селе? — поинтересовался Боровой.

— Нет у меня родных, ефрейтор. Кроме матери, никого не осталось.

— Немец побил?

— Немец.

Помолчали. Рев танковых моторов стал постепенно удаляться. Стихла и стрельба. Боровой сел на землю, ловко подобрав под себя ноги. Достал кисет, закурил. Затем угостил табачком напарника, тщедушного, бледнолицего парня лет двадцати. Пряча кисет в карман, сказал с добродушной улыбкой:

— Вы, вижу, не курите, товарищ капитан, потому, значит, и не угощаю.

— Почему догадались, что не курю?

— Пальцы у вас не прокуренные, потому, значит, не балуетесь табачком. — Он посмотрел на свои крупные пальцы с чуть желтоватыми ногтями. — Курильщика сразу можно узнать... А правда, товарищ капитан, что у вас тут, в селе, значит, музей истории до войны был? Всякие там коллекции, казацкое оружие, сабли?

— Был музей. Еще в ту пору, когда я учился в школе, его создали. Есть тут у нас старый учитель истории, он и организовал.

— А правда, говорят, там была трубка Богдана Хмельницкого?

— Вот этого я не помню. Может, была. — Лицо Максима вдруг сделалось угрюмо-хмурым. — Какой теперь музей, ефрейтор! Немцы, видно, все растащили.

Между тем музей сохранился. Боровой уже успел узнать об этом. Коллекционирование разных диковинок было его давней страстью. Вчера, после того как отбили немецкие атаки, ефрейтор случайно познакомился с учителем Теслей. Старик быстро распознал в Боровом человека, интересующегося историей, в особенности разными старинными поделками. Он-то и рассказал ефрейтору о музее, о собранных в нем экспонатах, о старинной украинской люльке с искусной резьбой и бронзовым мундштуком, будто бы принадлежавшей самому Богдану Хмельницкому.

— Пригнись! — неожиданно громко крикнул напарник ефрейтора и сам вобрал голову в плечи.

Рвануло где-то близко, за бруствером. В окоп полетели комья земли. Боровой смахнул с ватника глину, озорно, по-дружески подмигнул Зажуре: ну как, дескать, весело у нас? Эти проклятые фрицы не дают солдату толком поговорить с командиром, а ему, ефрейтору Боровому, хотелось бы кое-что рассказать, а больше всего — о многом расспросить капитана. Ну, к примеру, правда ли, что в свое время казаки Хмельницкого в каком-то тутошнем лесу окружили шляхтичей, уничтожили захватчиков и что на месте боя до сих пор находят старинные пистоли, мушкеты, пороховницы? Правда ли, что в войсках Богдана кроме украинцев были и донские казаки, и курские крепостные, и беглые люди из-под Москвы?

— Все правда, товарищ ефрейтор. Вот покончим с окруженными немцами, я свожу вас в Выграевский лес...

— Точно, товарищ капитан, Выграевский лес. А я запамятовал название. Спасибо, что напомнили... После войны, если жив буду, обязательно приеду в эти места с женой и детьми. Ребята у меня умные, любопытные, все их, значит, интересует...

Ефрейтор как-то сразу замолк, нахмурил брови, стал поудобнее устраиваться возле пулемета. Не оборачиваясь, почти тоном приказа бросил Зажуре:

— А теперь уходите, товарищ капитан. Место это пристрелянное. Не ровен час... Слышите, уходите!..

— Начнется бой, меняйте чаще позиции, товарищ ефрейтор. Я к вам зайду еще. — Вылезая из окопа, Зажура добавил весело: — А люльку Богдана Хмельницкого я вам покажу, если она уцелела. Вместе к старику Тесле сходим.

Боровой не слышал последних слов капитана. Все его внимание было устремлено вперед. Он видел приближающуюся немецкую пехоту и бил по ней короткими очередями.

Вопреки ожиданию, немцы атаковали без танков. То ли испугались минных полей и решили предварительно прощупать подступы к ложбине, то ли ждали подхода танковых подразделений, чтобы нанести массированный удар, но так или иначе появившиеся до начала боя танки куда-то исчезли и теперь на позиции седьмой роты двигалась пехота. Все поняли: начинается!

Максим Зажура стоял в неглубокой, наспех отрытой траншее, соединявшей ротный КП с окопами взводов. Ря-

дом с ним был командир роты, сероглазый юноша лейтенант. Он волновался, но старался сдерживать себя. На вид ему было лет девятнадцать-двадцать. Еще совсем мягкий черненький пушок над верхней губой, глубоко запавшие глаза. Казалось удивительным, как этот хрупкий, болезненного вида парень мог командовать ротой, управлять людьми, порой гораздо старше его по возрасту, как мог посылать их на смерть и вместе с ними делить все опасности боя. Но Зажура уже кое-что знал об этом юноше: о его храбрости и отваге говорили с восторгом, и неспроста. В сосредоточенном взгляде лейтенанта, в его волевой собранности таилась настоящая мужская сила, способная раскрыться резко и неожиданно.

«Видать, еще холостяк, — грустно подумал Зажура. — Наверное, не знал женской ласки, женского тепла. Все лучшее у него впереди. А может, все лучшее в жизни так и останется для него неведомым».

Немцы двигались короткими перебежками по всей луговине, по широким ее склонам, двигались цепь за цепью, застилая землю вороньей россыпью серо-зеленых шинелей. Они приближались. Число их на глазах росло. Сколько же их? Откуда они берутся? Из того леса, где затаились танки? Из черной пасти ада? Из черноты смерти?..

Становилось очевидным, что седьмой роте, оказавшейся на направлении главного удара, придется драться по меньшей мере с батальоном. В таких случаях бьются до последнего.

«Что это со мной? — упрекнул себя Зажура. — Я пришел сюда помочь людям и должен помочь. Этот молодой лейтенант, бесспорно, готов умереть. Но я хочу, чтобы он жил. И ефрейтор Боровой тоже, и его тщедушный напарник... Почему замолчал их пулемет?..»

— Если не удастся остановить немцев, прикажите людям по траншее отходить к шоссе, на вторую линию обороны, — сказал он лейтенанту.

— У нас нет второй линии окопов, товарищ капитан. Отходить некуда.

— Я знаю. И все-таки старайтесь маневрировать, беречь людей. Немцы не ограничатся одной атакой. За первой последует вторая, третья...

Он, капитан Зажура, прекрасно знал, что отходить седьмой роте и в самом деле некуда: за шоссе начиналось его родное село Ставки. Там его мать, Зося, земляки. Они

надеются, что солдаты не пустят немцев в село. Значит, рота должна стоять насмерть. Но опыт войны подсказывал, что гибель в бою целого подразделения, даже героическая гибель — не лучшая возможность задержать врага. Если схватка в окопах закончится прорывом немцев, выгоднее отойти к шоссе, чтобы там продолжать борьбу силами всего батальона, а потом драться за каждую улицу, за каждую избу.

Зажуре необходимо было вернуться в батальон. Кроме седьмой роты у него есть и другие подразделения. Он должен знать, как обстоят дела на других участках обороны. Но телефон молчит, лейтенант Росляков не отзывается.

Что же делать? Зажура сразу не мог принять решения, мысль его как бы раздвоилась. Уйти в эту решающую минуту из роты или остаться здесь и, может быть, погибнуть в рукопашной схватке, чтобы ценой собственной жизни и жизней других задержать врага? Нет, все-таки важнее сохранить роту. Если потребуется, отойти на новый рубеж и продолжать драться. Но почему не отзывается Росляков? Что произошло?

Треск пулеметов то нарастал, то затихал. Вразнобой хлопали винтовочные выстрелы. Им вторили автоматы.

Немцы рвались вперед. Бежали, падали, снова бежали. Немцы в серо-зеленых и черных шинелях. Немцы: пехотинцы, эсэсовцы, обозники — стремились прорваться, они не хотели остаться в окружении, в огненном кольце. Они готовы были на все и казались отчаянно смелыми.

Зажура вместе с ротным торопился по ходу сообщения на левый фланг, туда, где почему-то подозрительно долго молчал пулемет ефрейтора Борового. Можно было предположить все, но только не трусость ефрейтора, не самовольное оставление им боевой позиции. Нет, нет, только не это. Такие, как Боровой, не трусят, не теряют самообладания даже в самой сложной обстановке.

— Смотрите, товарищ капитан, сколько их там наколотили мои ребята! — с мальчишеской лихостью закричал в ухо Зажуре лейтенант, указывая через плечо на луговину. — Здорово! Честное слово, здорово!

Там, куда указал лейтенант, и в самом деле валялось много вражеских трупов. А между ними, переступая через них, шли живые. Шли, уже не прячась, не пригибаясь. Они спешили. Им, вероятно, казалось, что они побеждают, что еще рывок-другой — и они достигнут цели.

Седьмая рота продолжала обороняться. Пулеметы строчили взахлеб. Возможно, достреливали последние ленты, но били густо, плотно.

Немцы истошно орали. Лица у них были дикие, искаженные ужасом и ненавистью. В отчаянии гитлеровцы рвались к окопам седьмой роты. В руках чернели автоматы, из которых они поливали свинцовым дождем все вокруг. Их поддерживали артиллерия и минометы. Казалось, они имели все, чтобы смять, уничтожить горстку смельчаков, которые вели огонь из окопов. И тем не менее первая атака гитлеровцев начинала захлебываться. Путь вперед преградила неведомая, неодолимая сила русских. Она сковывала немцев. В чем заключалась эта сила?

В пулеметах?

Их оставалось в роте всего пять. Шестой молчал.

В автоматах и винтовках?

Но у атакующих немцев их было гораздо больше.

В артиллерии?

Нет, наши пушки вели иногда беглый огонь: артиллеристы берегли снаряды, которых было мало, на самый крайний случай.

В чем же тогда?

Зажура, забыв об опасности, стоял в неглубоком окопе в полный рост и смотрел на немцев. Они были совсем близко. Задыхаясь, шли по размякшему, вспаханному с осени полю. Каждый из них словно нес на себе неимоверную тяжесть. Они с трудом переставляли ноги.

И Зажура догадался: кроме огня седьмой роты движение противника сдерживает еще и земля, оттаявшая украинская земля, мягкая и липкая. «Спасибо тебе, родная земля!..»

В трудных перебежках по вязкой пахоте, поднимаясь с луговины на взгорок, в смертельном страхе, в предчувствии неизбежной рукопашной схватки фашисты уже в значительной мере истратили запас сил и энергии, однако с упорством маньяков продолжали рваться к нашим окопам.

Неожиданно заговорил пулемет Борового.

— В самое время! — радостно воскликнул лейтенант.

Боровой выбрал для удара действительно удачный момент. Его пулеметная ячейка, расположенная на левом, далеко выдвинутом вперед фланге обороны, оказалась

теперь чуть ли не в тылу немцев. Боровой ударил по атакующим с пригорка. Вел точный, прицельный огонь долгими очередями.

— Как ложит! Как ложит! — восхищался командир роты. Обернувшись к Зажуре, с сардонической улыбкой спросил: — Так что же, товарищ капитан, прикажете отходить, не ввязываться в рукопашную?

— Не горячись, лейтенант! — охладил его пыл Зажура. — Это лишь начало. Прикажи лучше поднести Боровому патронов. Если его пулемет замолчит, будет худо, хотя и говорят, не так страшен черт, как его малюют.

Им обоим казалось, что главная угроза миновала, что огнем Борового немцы надолго прижаты к земле и теперь нужно только закрепить успех.

— Молодец ефрейтор! Просто молодец! — с радостным волнением говорил лейтенант. — К ордену его надо. Не забудьте, товарищ капитан, он заслужил.

— Ну что ж, к ордену так к ордену. Я согласен, лейтенант.

— Правильно. Он достоин...

Лейтенант замолчал, не договорил, как бы осекся на полуслове. Он посмотрел вправо, на его юном, худощавом лице мелькнула тень испуга. Случилось то, что часто случается на войне и чего не предусмотришь никакими расчетами. На правом фланге ротной обороны врагу все же удалось прорваться к окопам. Зажура тоже увидел, как через бруствер перепрыгивали немецкие солдаты в долгополых шинелях, как они взмахивали руками, бросаясь с поднятыми автоматами на наших бойцов.

Немцев было не так уж много, но и в правофланговом взводе седьмой роты, не сумевшем сдержать натиск противника, осталось не больше десяти человек. А Боровому огнем своего пулемета туда не достать — правый фланг в низине, за скатом высоты.

Командир роты бросился по ходу сообщения направо, туда, где нависла главная опасность. После минутного раздумья туда же направился и Зажура. Несколько бойцов устремились за капитаном, на ходу готовясь к рукопашной схватке: кто вынимал из чехла саперную лопату, кто нож, а кто лимонку.

Посмотрев направо, Максим увидел в боковом проходе траншеи немца. Вернее, немца и советского бойца. Немец наседал, стараясь ударить нашего бойца кованым сапо-

гом в лицо, но ему мешали длинные полы шинели. Зажура, не раздумывая, схватил немца, отбросил в сторону. В руке капитана откуда-то появилась саперная лопата, он взмахнул ею и изо всех сил ударил гитлеровца по спине. Тот взвыл от боли, полез по проходу на четвереньках. Максим еще раз ударил его по голове и только после этого выхватил из кобуры пистолет. Куда теперь? Где командир роты? Резкая боль в плече напомнила о собственной незажившей ране... Быстрее за лейтенантом... Где лейтенант?..

Дорогу Зажуре преградил еще один гитлеровец. Капитан выстрелил ему прямо в лицо. Падая, тот попытался схватить Зажуру за колени. Максим брезгливо оттолкнул грязные руки врага. И выстрелом из пистолета сразил гитлеровца, выскочившего из-за поворота траншеи...

Вдруг капитан понял, что остался один среди врагов. Бежавшие за ним бойцы, вероятно, отстали, ввязались в яростную рукопашную схватку. На Зажуру со всех сторон надвигались враги. Он видел их разинутые рты, серо-зеленые шинели. Пистолет был пуст. Капитан быстро схватил валявшийся под ногами трофейный автомат, он оказался без диска. Зажура ударил подвернувшегося гитлеровца прикладом, услышал звон металла — на немце была каска. Чьи-то цепкие руки тянули Максима за хлястик шинели. За спиной слышалось жаркое, прерывистое дыхание, перед собой он видел горящие злобой глаза... Подскочил еще один гитлеровец, высокий и худой, стал валить Зажуру на землю, что-то истошно крича. На его грязном лице было одновременно выражение страха и дикой радости. Длинного оттолкнул эсэсовец в черной шинели, наставил на Максима автомат, громко, во все горло заорал:

— Рус, ду мус штербен, дамит ихь лебе! [1]

— Найн! Ихь, ихь... [2] — в свою очередь кричал длинный.

Зажура открыл рот, хотел что-то крикнуть, но не смог. Он уже ощущал дыхание смерти, однако все еще не верил в нее. Ноги подкашивались, в глазах стоял красный туман. Широкое, красное лицо эсэсовца наплывало огненным шаром. Максим задыхался от бессилия и... желания жить.

---

[1] Русский, ты должен умереть, чтобы я жил! (*Нем.*)

[2] Нет! Я, я... (*Нем.*)

Откуда-то сверху застрочил автомат. Долгая, дробная, спасительная очередь. Гильзы посыпались Максиму на плечи, на голову, засверкали искрами, заиграли золотым огнем... Еще, еще очередь. И гильзы... Казалось, они падали на Зажуру благодатным дождем.

Максим поднял голову. На бруствере, словно изваяние, стоял коренастый солдат, ординарец погибшего вчера комбата. Снизу он казался очень высоким. Круглый диск автомата плотно лежал на его левой руке, а рука играла, пружинила, тело солдата содрогалось от стрельбы. Теперь он вел огонь вдоль траншеи, по убегавшим гитлеровцам. Потом сам спрыгнул с бруствера в траншею, перешагнул через убитого гитлеровца, виновато остановился возле Зажуры.

— Простите, товарищ капитан, не уследил я, когда вы побежали сюда. Стрелял по фрицам, оглянулся, а вас нет. Вот как получилось. Хорошо, что вовремя разыскал...

— Чего там прощать, солдат. Спасибо, друг, что выручил, иначе бы мне конец.

Появился командир роты, без шапки, темноволосый, потный. Увидел Зажуру, солдата, окинул взглядом убитых немцев, вероятно, догадался, что тут произошло. Подойдя вплотную к Максиму, тихо сказал белыми, будто не живыми губами:

— Танки, товарищ капитан... Танковая атака.

Командир стрелковой дивизии генерал Рогач приехал в авиационный полк Савадова задолго до рассвета, когда на переднем крае обороны было еще тихо.

Подполковник Савадов пригласил гостя в свой блиндаж, усадил за стол, приказал принести по стакану горячего, крепко заваренного чая. Савадов, как только увидел генерала, догадался о цели его столь раннего визита: соседям нужна помощь авиаторов. Не теперь, не ночью, а с рассветом, когда немцы начнут свои атаки. Поэтому Савадов первый завел речь о не совсем обычном расположении аэродрома. До немцев всего несколько километров. В случае прорыва такое близкое соседство очень опасно, хотя риск вполне оправданный. Все рядом: взлет — и самолеты над вражескими позициями. Огромная экономия времени и горючего.

— Ну вот и хорошо, — удовлетворенно произнес генерал. — Значит, утром вы поможете нам отбить атаки

Штеммермана. У вас в полку, как мне докладывали, кроме истребителей есть и штурмовики.

— Да, несколько машин. Держим на крайний случай.

— Сегодня как раз такой случай вполне возможен. Гитлеровцы несомненно введут в дело танки, а у нас мало снарядов. Помощь штурмовиков крайне необходима.

— Согласен с вами, товарищ генерал, но...

На безбровом лбу Савадова залегли морщинки. Генерал почувствовал его колебание, напрямик спросил:

— В чем дело, товарищ подполковник? Может, неисправны самолеты? — Посмотрел в изрезанное шрамами лицо Савадова. — Нам хотя бы несколько штук. Сами понимаете, положение трудное. Без помощи летчиков не обойтись.

— Нет, товарищ генерал, самолеты в порядке. — Савадов сжал обожженные губы. — Тут другое. У нас почти нет горючего. Осталось ровно столько, чтобы в случае прорыва немцев перебросить полк на тыловой аэродром. Бензовозы где-то застряли, когда подойдут — неизвестно.

— Выходит, помощи не будет? Утром вы улетите в тыл? — Строгое, волевое лицо генерала потемнело.

— Будем ждать до последней минуты, товарищ генерал. Но если немцы прорвутся в Ставки, выход один — эвакуировать аэродром. Тут уж ничего не поделаешь.

Генерал встал, обошел вокруг стола. Лицо его то бледнело, то становилось багровым. Что же это получается? В самый ответственный момент полк не имеет горючего? К чему тогда вся затея с переброской самолетов на этот аэродром? Глаза генерала полыхали гневом. Он смотрел на Савадова, словно на своего врага, не хотел, не мог в данную минуту все взвесить, спокойно оценить обстановку. Столько надежд возлагал на авиаторов, и на тебе — они будут ждать результатов боя, ждать, пока немцы ворвутся в Ставки, опрокинут поредевшие стрелковые батальоны, сомнут их танками, своей стальной мощью! Так это же!.. Генерал тяжело дышал. Казалось, вот-вот он грохнет по столу кулаком, бросит в лицо Савадову тяжкое обвинение. Но он умел владеть собой. В последнее мгновение что-то сжало ему сердце, и он, сломленный приступом болезни, вяло опустился на скамью.

— Как же быть? Что делать, подполковник? Ведь гитлеровцы непременно бросят в бой танки.

— Не знаю, товарищ генерал. Вы же понимаете: горю-

чее не патроны, не снаряды. Бензин не поднесешь в мешках.

— И вы поймите, подполковник! Без вашей помощи нам не обойтись! — проговорил Рогач. Еще сравнительно молодой, сейчас он походил на измученного, усталого старика с поседевшими висками и такими же седыми усами. — Прошу только один вылет, подполковник. Я позвоню командиру вашей дивизии, в штаб армии, наконец.

— Это лишнее, товарищ генерал. Пока не подойдут бензовозы, не могу ничем помочь.

— Значит, все!

Генерал застегнул шинель, надел фуражку. Савадову до боли было жаль его, жаль этих нелегких, многотрудных седин. О себе Савадов сейчас не думал. Генерал — вот кого он должен выручить, сделать все возможное. Стоял, прикидывал в уме разные варианты.

— Товарищ генерал!..

— Слушаю.

— Я смогу поднять пару штурмовиков.

— Только пару?

— Два штурмовика с лучшими пилотами.

— Что могут сделать два штурмовика?

— Об этом не беспокойтесь, товарищ генерал. Они будут драться за весь полк. — Савадов улыбнулся. — За всю дивизию!

— Спасибо, товарищ подполковник! — все еще охваченный сомнениями, сказал генерал. — Не за себя, за моих солдат спасибо.

Савадов смотрел на генерала сухими, чуть виноватыми глазами, смотрел так, будто перед ним сидели те самые летчики, которым, может, суждено будет заплатить собственными жизнями за эту братскую помощь товарищам по оружию.

11

В окнах комнаты дрожали стекла. Тонко позванивала в шкафу посуда. Стоявшая недалеко за парком батарея тяжелых гаубиц с самого утра вела огонь. Гул артиллерийской стрельбы не прекращался ни на минуту.

«Это, кажется, утешает генерала, — подумал Блюме. В новом, хорошо сидевшем мундире при всех орденских

регалиях майор стоял в двух шагах от плотно завешенного одеялом окна. — Последняя надежда, последние иллюзии старого чудака!..»

В душе майор Блюме немного жалел генерала Штеммермана. Хотя генерал был таким же неуступчивым, таким же упрямым верноподданным служакой фюрера, как и другие военачальники, хотя деятельность Штеммермана была направлена на продолжение войны, Блюме временами подмечал в его характере черты, которые заставляли верить в неминуемое прозрение командира корпуса. Майору Блюме порой казалось, что он слышит в душе генерала скрытый голос протеста, голос тупого и хмурого неудовлетворения.

Блюме прекрасно знал, что Штеммерман находится в плену условных прусских традиций и, наверное, никогда не избавится от них. Хорошо известно майору и то, что командир 11-го армейского корпуса не питает особого уважения к Гитлеру, а напротив, считает его никчемным выскочкой, австрийским недоноском, но тем не менее старается убедить себя, что в фанатизме Гитлера есть что-то демоническое, что-то необычайное, освежающее и обновляющее, чего так долго ждали заплесневелые в бюргерской самоуспокоенности немецкие филистерские души. По мнению Штеммермана, фюрер чересчур поддался нацистскому окружению, ему будто бы затуманили голову новоявленные Калигулы в образе кастрата Бормана и гомосексуалиста Гиммлера. Он, Штеммерман, потомственный прусский дворянин, продолжатель старого офицерского рода, с чувством скрытого презрения относится к этим достойным сожаления плебеям в генеральских мундирах, считает их виновниками всех бед и вполне серьезно полагает, что это они настроили наивного, доверчивого, одурманенного властью Гитлера против существовавшего испокон веков мощного прусского генералитета.

В уголках рта майора Блюме залегла задумчивая улыбка... Штеммерман, конечно, ослеплен мнимым величием полоумного Гитлера. Но эта слепота в конце концов развеется, и он невольно прозреет. Прозрению помогут мощные удары советских войск, которые день ото дня нарастают. Еще недавно старый прусак безоговорочно верил в величие фюрера. Теперь многое изменилось. Теперь Штеммерман, вероятно, рассуждает так: если он и его коллеги, прославленные прусские генералы, оказались

неспособными одолеть русских силой оружия, подавить их своей философской доктриной, утвердить на этой земле «новый порядок» Адольфа Гитлера, то, может быть, он, этот порядок, вообще не достоин полновластия и бессмертия? Может, суровый лозунг Розенберга: «Бейте врага, ибо, убивая, вы утверждаете немецкую правду!» — тоже не стоит выеденного яйца? Немецкая правда Гитлера и Розенберга становится выдумкой, самообманом, и надо хорошенько подумать, не хочет ли история быть на стороне иной правды, той, что наступает с востока, грохочет тысячами орудий, отбрасывая назад хваленые дивизии вермахта, той, что зажала в кольцо его, Штеммермана, армейский корпус и все другие подвластные ему дивизии?

Майор Блюме продолжал задумчиво улыбаться. Он вспомнил, как недавно генерал Штеммерман дал открытый бой командиру эсэсовской дивизии бригадефюреру Гилле. Это случилось в тот день, когда полевая жандармерия схватила его, Блюме, при возвращении из полка майора Гауфа. Жандармы привезли Блюме прямо в штаб бригадефюрера. Хотя по командной линии Гилле считался подчиненным Штеммермана, тем не менее он во всем стремился показать свою эсэсовскую привилегированность. Дом, занятый им под штаб, поражал пышностью внутренней обстановки. В коридоре и на крыльце постоянно маячили фигуры дюжих охранников в черных эсэсовских мундирах. Гилле занимал самую большую комнату, оборудованную новейшей аппаратурой связи. На столе в беспорядке валялись оперативные карты и схемы.

Гилле с самого утра был не в духе. Плотный, красномордый, с большими залысинами на лбу, чем-то отдаленно напоминающий спортсмена-тяжеловеса, он сидел в глубоком кресле в белой сорочке, галифе и шлепанцах на босу ногу, пытался собраться с мыслями. Уже не первый раз попадал он в серьезные переделки, но раньше все кончалось благополучно. Теперь, кажется, дела совсем плохи. Удастся ли выбраться живым из этого чертова мешка? Некоторые из его друзей уже удрали на самолетах. Бросили все и улетели, как трусливые зайцы, лишь бы спасти собственную шкуру. Мог, разумеется, смыться и он, бригадефюрер Гилле. Но для него это не выход из положения. Если поступить так, значит, прощай карьера, прощай высокий чин эсэсовского боса! Гитлер и Гиммлер не простят ему малодушия. И потом есть еще надежда

вырваться. Генерал Хубе твердо обещал помочь, а у него танковая армия! Внутри кольца сил тоже немало. Если нажать одновременно с двух сторон, русские не выдержат.

Он, Гилле, всем сердцем ненавидит этих русских, наглых, самодовольных, уверенных в себе азиатских фанатиков! Впрочем, воевать они умеют. У них много умных, образованных генералов. Да, да, черт их возьми, умных и образованных! Сумели же они заманить его, Гилле, в западню, его, храбрейшего генерала войск СС. Заманили, и еще неизвестно, чем это кончится. Он, Гилле, считался отважным штурмовиком еще в начале двадцатых годов, когда отдал себя в распоряжение фюрера, на всю жизнь связал свою судьбу и свою карьеру с нацизмом. Но что значит личное мужество, если кругом всякая шваль, всякое дерьмо, неспособное понять ни величия германского духа, ни сурового предназначения немецкой нации — нации героев и повелителей! Трусы, подлецы! И все со связями, с громкими титулами, как этот ублюдок Штеммерман.

Впрочем, среди аристократов есть типы и похуже Штеммермана, которые только и умеют красоваться перед войсками в полевых мундирах, кичиться высокими наградами. К примеру, тот же генерал-майор Дарлиц, что командует 57-й пехотной дивизией. Абсолютное ничтожество! Но у него в подчинении, видите ли, знаменитый полк, которым в первую мировую войну командовал фельдмаршал Лист. Только потому генерал-майора и пожаловали Рыцарским крестом с дубовыми листьями. А между тем он тоже мнит себя стратегом! Больше того, иногда позволяет себе говорить с Гилле, как с желторотым фендриком.

Два дня назад Гилле и Дарлиц объезжали Городищенский укрепленный район. Открытый бронетранспортер с трудом двигался по разбитой дороге. Впереди и сзади ревели грузовики с охраной. Неожиданно в воздухе появился русский самолет. Если бы хоть настоящий бомбардировщик или штурмовик, а то всего лишь «кукурузник», как называют его сами азиаты, или паршивая «швейная машина». Тень самолета неслась по вспаханному полю, готовая в любую минуту поглотить бронетранспортер, вмять его в землю. С неба застрочил крупнокалиберный пулемет. Фронт есть фронт. Тут уж ничего не поделаешь:

опасность всюду! Но нужно же, черт возьми, уметь держать себя в руках, хотя бы в присутствии солдат. А этот Дарлиц завопил, точно недорезанная свинья, на ходу выскочил из бронетранспортера и, не глядя, плюхнулся прямо в огромную черную лужу. Минут пятнадцать лежал в илистой воде, облепленный грязью, лежал и истерическим шепотом молил бога пощадить его.

Солдаты охраны тоже бросились врассыпную, кто куда. И только он, Гилле, не растерялся, проявил настоящую выдержку. Зловеще-спокойный, с кривившей губы насмешливой улыбкой, в расстегнутой шинели с белыми отворотами и с пистолетом в руке продолжал сидеть в машине, ожидая приближения самолета. Потом резко вскинул руку и, почти не целясь, пальнул несколько раз в русского летчика.

«Швейная машина» протарахтела дальше. Гилле вложил пистолет в кобуру, вышел из бронетранспортера, осторожно, на носках, демонстративно стараясь не запачкать сапоги, подошел к луже и подал Дарлицу руку.

«Вы, кажется, выбрали не совсем удобное место для отдыха, мой генерал! — не скрывая презрения, сказал он подавленному страхом и стыдом кавалеру Рыцарского креста. — Поднимайтесь, мой генерал, иначе русские подумают, что они втоптали в грязь всю германскую армию».

О, это была месть! Жестокая и откровенная месть! Расплата за унизительные намеки, за насмешки, за ничем не оправданную кичливость. Охрана видела, как Дарлиц плюхнулся в грязную лужу и как потом отряхивался, стараясь стереть грязь с запачканного Рыцарского креста. Теперь-то уж в 57-й пехотной будут знать, каков их командир, эта старая перечница с длинным носом. Узнают об этом и в Берлине. Обязательно узнают!

А про него, бригадефюрера Гилле, хотя он и не знатного происхождения, никто не скажет, что он трус. Никогда и никому он не давал повода, чтобы его могли обвинить в трусости или растерянности, хотя кое-кто пытался это сделать.

Осенью сорок второго года возглавляемая им дивизия «Викинг» впервые попала в жестокую мясорубку под Котельниковом. Тогда, выполняя приказ фюрера, он должен был пробиться на выручку войскам Паулюса. Попытка, правда, оказалась безуспешной, но отнюдь не по его, Гилле, вине. У русских действительно было больше сил. А по-

беждает сильный — в этом суть борьбы. Так учит фюрер. Русским повезло, чертовски повезло. Он, Гилле, очень хорошо помнит, как русские танки преследовали его дивизию по заснеженной степи. Это было ужасно, невыносимо! Особенно после множества одержанных побед, когда, казалось, германская армия достигла зенита славы. Русские тридцатьчетверки гонялись за каждым немецким танком. Таранили, давили их, уничтожали огнем своих пушек.

Некоторые из прусских умников-аристократов и тогда поспешили ретироваться, удрать подальше в тыл. А он, Гилле, до конца остался верен себе, верен фюреру. У него был первоклассный командирский танк с утолщенной броней, с отличным мотором. Он тоже мог бы оторваться от преследователей, бросить все и уйти за Дон. Генеральская должность и высокий чин эсэсовца давали ему право на это. Тем не менее он не поддался соблазну. Напротив, остановил свой танк у развилки дорог и, пока было возможно, лично управлял боем, отдавая по радио распоряжения командирам полков и батальонов.

Он, как сейчас, помнит. Пехотинцы бежали по ровному белому полю без винтовок и автоматов, без шапок, в расстегнутых шинелях, а многие в мундирах, хотя был крепкий мороз, дул пронзительный ветер. Их были тысячи, огромное стадо обезумевших от страха немцев. Взрывы плясали между живыми и мертвыми, трупы подбрасывало так высоко, что они успевали несколько раз перевернуться в воздухе. Мимо танка Гилле пробежал солдат с напрочь оторванной рукой. Из черной дыры в его плече фонтаном лилась кровь. Пробежав несколько шагов, солдат упал и начал торопливо набивать в рану грязный снег.

Гилле не выдержал, нырнул в люк, приказал механику-водителю включить скорость и как можно быстрее выбираться из кромешного ада. В смотровую щель он вновь увидел пехотинца без руки. Солдат поднял обезображенное ужасом лицо и дико, истерически захохотал. «Вперед!» — повторил приказание Гилле, и танк двинулся на безрукого пехотинца.

Тогда, после Сталинградской катастрофы, было немало хлопот. За отступление из-под Котельникова некоторые родовитые генералы пытались отыграться на нем, Гилле, обвиняя его в трусости. Разве это не издевательство? Об-

винить в трусости эсэсовского командира! Просто кошмар!.. Пришлось писать в Берлин, искать поддержку у друзей. Слава богу, все обошлось благополучно. Адъютант Гитлера, давний приятель бригадефюрера, уладил скандал. А месяц спустя Гилле вызвали в столицу и в торжественной обстановке вручили самую высокую награду империи — Рыцарский крест с дубовыми листьями.

Потом неудачи на Дону, под Харьковом. И вот, наконец, этот нелепый корсуньский котел. Отсюда не так-то легко выбраться. Кажется, проклятая судьба решила-таки доконать его!..

— Герр бригадефюрер! Зиг хайль! — стукнул каблуками у порога комнаты адъютант. — Доставили арестованного майора Блюме. Разрешите ввести?

— Давайте его сюда. Немедленно!

Адъютант втолкнул в комнату арестованного, еще раз вскинул вверх руку, крикнул «хайль» и захлопнул дверь.

— Это вы? Рад вас видеть, Блюме! — Гилле приблизился к майору и с пристальным вниманием стал его рассматривать, точно перед ним стоял не человек, а какой-то чудовищный призрак. — Итак, вы лично, по собственному усмотрению, решили арестовать обер-вахмистра похоронной команды?

Блюме сухо улыбнулся, со сдержанной вежливостью отдал бригадефюреру честь: да он, майор германской армии, арестовал этого негодяя за неподчинение приказу, за непочтение к офицерскому чину.

— Врете, майор Блюме! — фальцетом взвизгнул Гилле. — Вы арестовали обер-вахмистра за то, что он выполнял приказ начальника имперского генерального штаба — добивал тяжелораненых. Я давно слежу за вами, Блюме, и знаю о вашем слюнявом либерализме. Прикидываетесь белоручкой и в то же время устраняете лучших солдат немецкой армии. За это вам придется отвечать! Пойдете под суд. В трибунале расскажете, кто подстрекал вас к предательским действиям!..

В этот момент в комнату вихрем влетел Штеммерман, без фуражки, в расстегнутой шинели, взволнованный и злой. При появлении генерала, Гилле быстро схватил со спинки стула увешанный сплошным золотом и серебром мундир, натянул его на себя и с ехидной усмешкой, вытянув вперед руку, привычно гаркнул: «Хайль Гитлер!» Эсэсовец успел заметить остановившиеся против окна

бронетранспортеры с солдатами, которые, по всей вероятности, сопровождали машину командующего.

Штеммерман окинул тяжелым взглядом стол и стены комнаты, с нескрываемым пренебрежением посмотрел на продолжавшего злобно улыбаться Гилле, что-то прикинул в уме и вдруг грозно, властно, голосом, не допускающим никаких возражений, сказал, обращаясь к майору Блюме:

— В это трудное для войск время я запрещаю вам, господин майор, покидать штаб корпуса! Немедленно приступайте к исполнению своих обязанностей. Вас ждут неотложные дела, о которых бригадефюрер Гилле, очевидно, еще не знает. А о вашем недопустимом самоуправстве, бригадефюрер, — обернулся он к Гилле, — о превышении вами власти я сегодня же телеграфирую в ставку.

Несмотря на внешнюю напряженность, сцена эта, по существу, была комичной. Особенно смешно выглядел Гилле. Впопыхах он неправильно застегнул мундир, от чего левая пола оказалась выше правой. Вынужденный стоять перед старшим начальником по команде «смирно» в увешанном орденами и медалями мундире и домашних шлепанцах, он был похож на плохо загримированного клоуна.

Вспоминая о случившемся, майор Блюме и сейчас готов был от души посмеяться. Впрочем. смешного мало. Слава богу, что все хорошо кончилось. Могло быть хуже.

Блюме нервно прошелся по комнате. В последнее время его лицо еще больше вытянулось, под глазами набухли желтовато-синие мешки, лоб пересекли глубокие морщины. Трудно поверить, что ему только сорок пять лет. Нет, до старости еще далеко. Если бы был жив его сын, он, майор Блюме, с полным правом мог бы назвать себя молодым отцом. Но сына давно нет: Хорст погиб под Эстремадурой, вместе со своим «мессершмиттом» врезался в горячую испанскую землю. Конрад Блюме в ту пору был на нелегальном положении, сколачивал на тайных берлинских явках боевые группы сопротивления. Неимоверно: отец — коммунист, антифашист-подпольщик, а сын — в стане врагов, в стане летчиков испанского каудильо.

Нелепое случилось незаметно. Больная, прикованная к постели Сабина не смогла повлиять на Хорста, а он, Конрад, месяцами не появлялся дома. Сын оказался без надзора, в круговороте уличной стихии. Одурманенный чадом нацистских лозунгов, пошел учиться в школу воен-

ных летчиков. Сабине осталось только сообщить мужу, будто Хорста взяли насильно, призвали в авиацию как военнообязанного.

Потом оказался в Испании и он, Блюме-старший. Настойчиво пытался разыскать сына, хотел найти путь к его сердцу, спасти его для себя и для Германии. Не получилось.

После Испании — многомесячное прозябание во Франции, куда Конрад Блюме с небольшой группой оставшихся в живых друзей пробрался через горы. В Берлин вернулся с очень ненадежными документами, хотя в них и не значилось слово «Испания». Это было время, когда нацисты начинали мировую войну. Компартия искала пути к солдатским сердцам, и Конрад по решению партии пошел в армию. «Если Гитлер бросит войска на восток, против Советской России, ты будешь помогать русским братьям, — сказали ему друзья. — В молодости у тебя были неплохие связи с аристократами и военными. Воспользуйся ими. Забудь на время слово «товарищ», научись военному педантизму, постарайся стать стопроцентным аристократом, исполнительным офицером, чтобы никаких подозрений. И действуй, ищи надежных людей, однако будь осторожен. Помни: в военное время даже самая незначительная ошибка, малейший промах грозят верной смертью».

На улице забухали зенитки. Блюме с минуту прислушивался к гулу стрельбы. Стоял неподвижно, ощущая ликующее возбуждение. За грохотом взрывов ему чудились голоса друзей. Не было страха, не было желания уйти, спрятаться от бомб. Каждая бомба — это возмездие фашизму, законное возмездие тем, кто пришел на русскую землю, чтобы поработить ее.

Блюме погасил свет, приподнял край одеяла, которым было завешено окно. Глаза ослепили бледно-голубые вспышки. Зенитчики вели огонь вяло, вслепую, без прожекторов, очевидно, боялись обнаружить свои позиции. А небо гудело все грознее, все громче. От этого гула вибрировали стены дома и тоскливо жаловался на что-то забытый в шкафу хрусталь.

Майор вспомнил, что Штеммерман сразу после ужина лег отдыхать в другой половине дома. В последнее время с генералом творилось что-то необычное: он словно отупел от поражений, от тревожных мыслей, ввергавших его в

отчаяние, и Блюме хорошо знал, каким лекарством исцеляет он свои душевные боли. Сегодня генеральский денщик выбросил из комнаты шефа добрую сотню пустых бутылок, потом, кряхтя и беззлобно поругиваясь, приволок из штабной машины два новых ящика с винами и коньяком. После очередной выпивки генерал, наверное, так крепко спит, что не слышит ни гула русских самолетов, ни зенитной стрельбы. Пожалуй, не услышит и самой бомбежки, а возможно, и той последней бомбы, которая...

Блюме решил пойти разбудить старика. Пока есть возможность, надо оберегать его от случайной гибели — смерть Штеммермана была бы на руку бригадефюреру Гилле и всем тем, кто решил отчаянным сопротивлением погубить зажатые в кольцо войска.

Постучал в дверь генеральской комнаты.

— Герр генерал! Это я, Блюме. — За дверью было тихо. — Вы меня слышите? — еще настойчивее забарабанил Блюме в дверь. — Русские самолеты, герр генерал!..

Блюме охватила тревога, ему казалось, что сейчас должна случиться беда. Он рванул на себя дверь, вбежал в комнату. Мрак. Тишина. От натопленной печи пышет жаром. Блюме чуть не задохнулся. Он вдруг ощутил неизбежность чего-то страшного, неотвратимого. В висках стучала кровь, упрямо били за стеной зенитки. Потом стало тихо. Налет закончился, и майор понял, что это не зенитки, это стучит его сердце.

— Садитесь, Конрад! — вдруг прозвучал в темноте голос Штеммермана.

— Вы... вы здесь, герр генерал?

Темнота ответила негромким, глухим, простуженным смехом. Потом вспыхнула спичка. Штеммерман закурил сигарету. В желтоватом, колеблющемся свете Блюме увидел его лицо: оно было печальным и задумчивым. Глубокий шрам на лбу казался совершенно черным. Седые волосы отливали серебром.

Спичка погасла. Тишина сделалась глубже. Затягиваясь табачным дымом, генерал о чем-то думал. При каждой затяжке тусклый свет от сигареты на мгновение вырывал из темноты его нос, щеки, тяжелые, кустистые брови. Штеммерман нащупал в темноте ручку приемника, повернул. Засветилась шкала, комната наполнилась мелодич-

ными звуками музыки и как бы расширилась, стала просторнее.

— Русские, наверное, засекли штаб, герр генерал, — доложил Блюме. — Оставаться в доме опасно. Может, вам лучше перебраться в блиндаж?

— Кто знает, что лучше, Конрад! Я смертельно устал.

Штеммерман сидел на стуле, повернув голову к приемнику. Блюме были видны его брови, нависавшие над глубокими впадинами глаз.

— Вчера я приказал отрывать окопы полного профиля, как у русских, — проговорил он с легким вызовом, и брови нервно прыгнули вверх. — Я решил взять на себя ответственность за окруженные войска. Нужно сделать все, чтобы спасти их от гибели.

Пальцами правой руки он торопливо крутил ручку настройки. В эфире слышались далекие звуки маршей, сменявшиеся джазовой музыкой и милым женским смехом. Потом кто-то истерично закричал: «Внимание! Внимание! Русские самолеты!..» И опять понеслись звуки маршей, бешеный грохот барабанов, треск, завывание.

Блюме неотрывно смотрел на руку генерала, светло-розовую, почти прозрачную на фоне освещенной шкалы приемника. Он понял, почему Штеммерман заговорил о своей ответственности. В полевых войсках действовал строгий приказ начальника имперского генерального штаба, который запрещал закапываться глубоко в землю. В приказе многословно, пожалуй, с присущей больше геббельсовскому ведомству, нежели генеральному штабу, бравадой утверждалось, что немецкий солдат не привык думать об обороне, что он всегда должен помнить только о наступлении. Цейтлер, вероятно, надеялся, что мелкие окопы-времянки заставят солдат и офицеров невольно пребывать в постоянном боевом напряжении.

«Генерал хочет вызвать меня на откровенный разговор, потому и напомнил о своем распоряжении отрывать окопы полного профиля, — подумал Блюме. — Может быть, это позволит уломать старика, склонить его к решительному шагу?»

Да, еще есть время склонить Штеммермана к капитуляции. Его решение капитулировать может спасти для Германии тысячи жизней. Есть же в нем что-то человеческое. Он, конечно, не глуп и прекрасно понимает, что идеалы великой империи, управляющей миром, — неосу-

ществимая иллюзия, которая давно развеялась в прах на чужой земле. Не раз после двух-трех рюмок коньяка он в присутствии Блюме начинал ругать «нацистских бюрократов». А как он разбушевался, когда узнал, что его единственный любимый младший брат Клаус дал согласие стать комендантом «воспитательного» лагеря в Польском генерал-губернаторстве! Вчера он получил от него письмо, в котором тот поздравил его с днем рождения и пожелал всего наилучшего в жизни, а в конце сделал небольшую приписку: «Если имеешь возможность, распорядись, дорогой, направить ко мне в лагерь несколько эшелонов славянского рабочего быдла. Умоляю: только самых крепких и здоровых, поскольку они мрут тут как мухи. Не забывай, что мы компаньоны Штуккера — тридцать пять процентов акций, а он получил солидный военный заказ, который может принести нашей семье немалый доход. Эшелоны с русскими направляй с охраной из корпуса, так как ребята из СС не думают об экономических интересах империи и в дороге не очень церемонятся с пленными». Майор Блюме как раз находился в комнате Штеммермана, когда тот читал письмо. Бросив его в ящик стола, генерал брезгливо скривил губы: «Кажется, Клаус сумеет сделать лучшую карьеру, нежели я. Его путь нациста хотя менее благороден, зато выгоден...»

Штеммерман с настойчивым упорством продолжал крутить ручку приемника. Блюме включил свет.

— У вас очень жарко, герр генерал, — сказал он, нарушив затянувшееся молчание.

— Ефрейтор Цишке не жалеет русских дров. Говорит, что лес помогает партизанам и его надо уничтожать.

— Но ефрейтор явно не жалеет и вашего здоровья, герр генерал. От такой жары можно задохнуться.

— Жизнь слишком коротка, мой друг, чтобы учиться на ее ошибках. Будем беречь здоровье после победы.

Блюме нервно вздрогнул. Что это? Он еще мечтает о победе? И тут же мысленно успокоил себя: нет, скорее всего, это предлог, чтобы в конце концов начать разговор о положении на фронте. «А возможно, я ошибаюсь? Может, он в самом деле продолжает верить в торжество нацистов, как и Гауф? Но Гауф просто отупел от войны, муштры и приказов. Штеммерман не такой. Он опытный, знающий человек и, безусловно, видит, к чему идет дело. Вероятно, он даже реально представляет себе будущее,

и едва ли его прельщает перспектива видеть Европу покрытой концлагерями».

В приглушенное попискивание приемника неожиданно ворвались торжественные звуки советского гимна. Блюме настороженно подался вперед: бой Кремлевских курантов, в Москве полночь! С каждым ударом часов перед мысленным взором Блюме как бы раздвигались широкие, заснеженные просторы огромной страны, которую он любил так же безраздельно, как свою родную Германию. Каждый удар часов напоминал ему о Москве, о покрытой брусчаткой Красной площади, о ленинском Мавзолее. От этих мысленных видений сердце его застучало быстрее, а лицо озарилось удовлетворенной, радостной улыбкой, может быть, чрезмерно радостной и откровенной, потому что Штеммерман включил приемник на полную мощь и с чуть заметной усмешкой спросил:

— Вам, кажется, нравится их гимн, Конрад? Я понимаю, у каждого свои слабости.

Блюме глубоко вздохнул и молча посмотрел на свои наручные часы.

— Русские любят точность, герр генерал, — сказал он после небольшой паузы. — Особенно на войне. Каждый час передают по радио точное время.

— Мне кажется, Блюме, что вы спешите сверять свои часы по кремлевским. — В словах генерала майор ощутил едва скрытую угрозу. Штеммерман резко крутнул ручку настройки, отыскал какую-то берлинскую радиостанцию. — Наш долг, майор, слушать Германию, голос родины! Я говорю с вами как немец с немцем.

«Нет! — мысленно произнес Блюме. — Ты не Германию любишь, ты любишь свое поместье, свое уютное гнездо, своего Клауса с его грязными акциями Штуккера. Тебе не понять, что такое настоящая Германия». Вслух сказал тоном вынужденной откровенности:

— Вы правы, герр генерал! Наш долг — беречь родину, защищать ее, слушать ее голос. Святые слова! Я тоже говорю с вами как немец с немцем. Но у меня бывают такие минуты, когда я перестаю понимать, где враги, а где друзья.

— Враги по ту сторону фронта, Конрад.

— Но фюрер учит нас, что враги затаились и в самой Германии, герр генерал. Я абсолютно согласен с фюрером! — Опасаясь перейти на иронический тон, который

мог бы повредить делу, Блюме вполне серьезно, с легкой патетикой добавил: — Мы должны защищать Германию от внешних и внутренних врагов, и мы, герр генерал, будем защищать ее до последней возможности, ибо, как говорил Цицерон, какой честный человек станет колебаться умереть за отчизну, если он может этим принести ей пользу?

Блюме заметил, что при последних его словах генерал слегка опустил веки, задумчиво прищурил глаза и придал лицу торжественно-печальное выражение. Нащупав нужный тон, майор с еще большей сердечностью и искренностью заговорил о величии Германии и талантливом немецком народе. Напомнил о подвиге Арминия, который в Тевтобургском лесу разгромил легионы римского наместника Вара, сказал несколько похвальных слов даже о Бисмарке, назвав его основателем могущественной Германской империи. Затем осторожно, словно шагая по тонкому льду, повел речь о событиях последней войны... Костьми немецких солдат усеяны норвежские фьорды, лесные дебри Белоруссии и Смоленщины. Немецкой кровью густо полита приволжская земля, поля Подмосковья и Украины. Где только нет немецких могил! Он, Блюме, немец, и прекрасно понимает благородный замысел фюрера — создать тысячелетнюю империю нибелунгов от Урала до Ла-Манша. Но ведь недавно сам Гитлер сказал, что Германия будет сражаться до последнего солдата, и, если все-таки победит Россия, это значит, что восточная славянская раса в биологическом отношении сильнее немецкой. Сам фюрер начинает сомневаться в победе Германии. Есть ли после этого смысл продолжать войну, продолжать уничтожение великой нации, обрекать на смерть миллионы немцев? Почему бы ему, генералу Штеммерману, не сделать определенных выводов из сталинградской трагедии армии Паулюса?

— Поражение на Волге — результат недостаточной распорядительности фельдмаршала Геринга, который не смог обеспечить переброску по воздуху окруженным танковым дивизиям горючее, — со школярской бездумностью произнес Штеммерман.

— Осмелюсь напомнить вам, герр генерал, что кроме горючего в шестой армии недоставало боеприпасов, — едва не сорвался на резкий тон Блюме, чувствуя, как в нем все кипит от раздражения. Он считал Штеммермана до-

вольно-таки умным политиком и никогда не думал, что этот старый сухарь до такой степени ослеплен своими чисто военными соображениями. — Я полагаю, герр генерал, что жизнь многих тысяч немцев гораздо ценнее политических амбиций, особенно когда эти амбиции нереальны и беспочвенны.

Генерал утомленно повел плечами:

— Вы касаетесь прерогатив высшего командования. Такие дела решать не нам с вами.

— Высшее командование, герр генерал, вряд ли знает всю сложность положения войск, попавших в котел. — До предела обозленный упрямством Штеммермана, Блюме встал и, забыв о том, что каждое неосторожное слово может поссорить его с генералом, заговорил с еще большей горячностью: — Я понимаю благородство идей фюрера. Я могу понять жертвы во имя величия родины, но когда политические амбиции таких... — Голос Блюме словно осекся, — ...таких выскочек, как Гилле, решают судьбу нации, я отказываюсь что-либо понимать.

— Возможно, роль бригадефюрера одиозна. Это вопрос будущего, — уступчиво согласился Штеммерман. — Только вы преувеличиваете значение отрицательных факторов. Как-никак мы еще сражаемся на чужой земле, а в тридцать девятом начинали с государственной границы.

— В тридцать девятом граница была началом нашего победоносного наступления, герр генерал. Сегодня граница — последняя черта нашей национальной трагедии.

— Нет, Конрад, я должен драться. Это — мой долг, моя высшая миссия!

Глаза Штеммермана мрачны и пусты. Кустистые брови вытянулись в сплошную линию, затеняя подбровные впадины. Генерал продолжает крутить ручку настройки... Вдруг приемник отозвался взрывом истерических криков. Далекий берлинский оратор заклинал немцев биться до последнего вздоха, помнить о счастье самопожертвования. Он говорил о мифе, который будто бы рождается в эти мрачные дни и будет жить столетия. Миф древних германцев и миф фюрера сольются воедино. Самые тяжелые поражения только укрепляют его.

— Я не опозорю себя добровольной сдачей в плен, Конрад. Мы разорвем кольцо русских. Сталинградская трагедия не повторится...

Простудный кашель разрывает Штеммерману грудь. Он больше не в состоянии играть непосильную роль самозаклинателя.

Майор Блюме, стукнув каблуками, по-прусскому офицерскому обычаю резко и почтительно наклоняет голову, выходит из комнаты.

На командный пункт полка Гауфа генерал Штеммерман и майор Блюме приехали часа за два до начала боя. Под бронированным колпаком КП было темно, пахло плесенью и какими-то острыми химикалиями. «Даже тут успели навести порядок, — с хмурой иронией подумал Блюме. — Вероятно, долго собираются отсиживаться в этом склепе, если повели борьбу со вшами и клопами».

Его вдруг охватило ощущение злого безразличия ко всему происходящему вокруг, чувство полной, абсолютной самоотреченности. С рассветом Штеммерман попробует прорвать оборону русских. Может быть, в этом безнадежном бою погибнет и он, майор Блюме, погибнет в тот момент, когда совсем немного осталось до осуществления его заветной мечты, когда перед его глазами блеснул, наконец, луч подлинной свободы. Не сама ли судьба привела его сюда, в этот бункер, чтобы посмеяться над ним? Не суждено ли ему внезапной смертью искупить вину перед партией за долгие годы бездеятельности? После возвращения из эмиграции он успокаивал себя мыслью: если Гитлер развяжет войну против Советского Союза, то ему, Блюме, придется работать по заданию партии в войсках. среди солдат, делать все для поражения фашизма. Но получилось так, что, будучи адъютантом Штеммермана, он очень редко бывал в подразделениях, чувствовал себя как бы в непредусмотренном отпуске до лучших времен. Почти два года он ждал, пока в их корпусе не появился ефрейтор Эйзенмарк, его товарищ по Испании и берлинскому подполью. Друзья по партии не забыли о Блюме. Курт прибыл с конкретной задачей, прибыл вовремя, будто специально спешил к трагической развязке. И вот теперь, когда кошмар близится к концу, он, Блюме, опять должен сидеть в бункере КП, в этой вонючей дыре, и ждать шального снаряда от тех, к кому всем сердцем рвался долгие годы!

Рядом с Блюме стоял генерал Штеммерман, сухощавый,

по-военному подтянутый, с деловым, сосредоточенным лицом. Чуть дальше склонился к стереотрубе майор Гауф. В полурасстегнутом кителе, без шинели, с красными от недосыпания глазами, он внимательно осматривал передний край обороны советских войск. Гауф знал, какая русская часть обороняет село Ставки, знал, что в наскоро отрытых окопах и траншеях перед селом затаились до предела уставшие люди, и не мог понять, каким чудом им удалось вчера отразить первую атаку эсэсовцев. И не только отразить, но и порядком потрепать их, отбросить на исходные позиции. Отчаянный и бесшабашный по натуре, кажущийся с виду неотесанным грубияном, майор Гауф обладал достаточным умом и армейской сообразительностью, чтобы трезво оценить сложившуюся обстановку. Если эсэсовцам не удалось вчера прорвать оборону русских, то вряд ли решит эту непосильную задачу и его часть. Вполне возможно, горбики русских окопов, которые тянутся вдоль шоссе, станут последним рубежом его полка, и, может быть, сегодняшний день будет последним днем его, майора Гауфа, неудачной жизни.

Ночью Гауфу было приказано выдвинуться как можно ближе к переднему краю русских для поддержки «Валонии». В штабе корпуса майору напомнили, чтобы он не жалел ни себя, ни солдат и сделал все возможное для выхода навстречу танкам Хубе. Гауф встретился на КП бригады с ее командиром эсэсовцем Липпертом, плюгавым, нервным, внешне нисколько не похожим на представителя арийско-нордической расы. Липперт был в тщательно отутюженном мундире, на его по-петушиному выпяченной груди сверкал начищенный до блеска Рыцарский крест. Они обсудили вопросы взаимодействия, определили рубежи для атаки, и, когда все формальности были закончены, командир «Валонии» отозвал Гауфа в дальний угол блиндажа, глянул ему в лицо бегающими, с искорками истерической ярости глазами и протянул маленькую коробочку: «Возьмите, герр майор, на всякий случай. Цианистый калий... Действует мгновенно». Гауф оторопело взял коробочку, машинально сунул ее в карман шинели, даже пробормотал какую-то благодарность, толком не сознавая, что всучил ему эсэсовец и что он, Гауф, будет делать с этой страшной штукой. Вновь вспомнил о «подарке», когда возвращался к себе на КП, со страхом извлек коробочку из кармана и, не посмотрев на нее,

забросил далеко в кусты. Однако неприятное ощущение осталось. Перед взором майора до сих пор маячили бегающие глазки Липперта и паучье распятие ордена под его кадыкастой, тонкой шеей. В ушах слышался вкрадчивый, писклявый голос: «Цианистый калий... Действует мгновенно».

— Время — шесть пятьдесят девять! — громко, на весь блиндаж прокричал сидевший возле рации радист и стал что-то поспешно записывать в блокнот, потом суетливо вскочил на ноги, козырнул Штеммерману: — Сейчас, герр генерал!.. Сейчас начнется!

И в этот момент стены бункера вздрогнули, земля отозвалась тяжелым, глухим стоном: артиллерия прорыва начала свой оглушительный, грохочущий «концерт».

Гауф уступил место у стереотрубы генералу. Штеммерман с минуту молча наблюдал за разрывами снарядов, затем присел к столу. На этом первом этапе генерал умышленно не давал никаких указаний, не вмешивался в управление боем. «Все, что можно было сделать для обеспечения победы, Гауф и Липперт уже сделали, — размышлял он. — План операции по прорыву разработан тщательно. Мое вмешательство пока ни к чему, оно может лишь внести путаницу. Пусть все идет по плану. Немцы достойны спасения, бог с нами!.. — Генерал мельком взглянул на своего адъютанта. — А этот? Неужели он сочувствует коммунистам, сочувствует врагу? Нет, просто шалят нервы. Возможно, сказывается давнее интеллигентское разочарование? Жаль, что такие умные люди, как Блюме, не всегда достаточно тверды в своих убеждениях, порой даже исповедуют чужую веру, чужую и непонятную. Хотя не так уж чужда эта вера многим немцам. В тридцать третьем году за Тельмана голосовали, кажется, четыре... нет, шесть миллионов человек. Кто знает, если бы не Гитлер, может быть, сегодня в берлинском рейхстаге заседали бы красные парламентарии, а я, потомственный дворянин, не сидел бы в этом бункере, не смотрел бы на возмутительно-дерзкого Гауфа в расстегнутом кителе, на молчаливого Блюме и у меня не кружилась бы голова от смрада дезинфекции, Клаус не выпрашивал бы у меня русских рабочих для заводов Штуккера. Все было бы просто, как в оперетте: генералы танцуют, чопорные дамы потешно приплясывают. Заводские конторы заполняли бы красные, и Штуккер (если не изменяет

память, я встречался с ним на приеме у Шахта: деловой, моложавый, всегда улыбающийся!) открыл бы перед ними свои сейфы: «Забирайте все!..» Германия в руках плебеев! Германия без славы и великого прошлого!.. Нет, лучше уж этот вонючий бункер! Альтруизм Фурье и Маркса не для моего солдатского желудка».

Мысли Блюме были иными. «Штеммерман и Гилле, по обыкновению, не пожалеют солдатские жизни, для того чтобы выскочить из западни. Но если даже и прорвутся через первую линию обороны русских, то их непременно остановят за селом. Вероятно, там уже стоят наготове советские танки, ждут сигнала. Потом ударит советская авиация. Может быть, удар нанесут те самые летчики, которые сражались в Испании, над Сарагосой, Тортосом и рекой Эбро. Там, где все началось, где погиб молодой нацист Хорст... Они отомстят и за Хорста, который тогда стрелял в них, стрелял в меня, отомстят за всех моих друзей-коммунистов, замученных в гестапо. Они умеют бить насмерть. Перекопают бомбами все поле, но не выпустят из котла ни одного солдата. И всюду будут трупы. Немецкие трупы, искалеченные тела моих соотечественников. Слышишь, Блюме? Тысячи немецких парней найдут свои могилы на этой земле! Ты будешь жалеть их и одновременно радоваться тому, что они не прошли, не вырвались из котла. Ты скажешь, что не ожидал другого результата, что так должно было случиться, что это — справедливое возмездие русских за отвергнутую гуманность. И вновь вспомнишь о Хорсте. Ты радуешься сегодняшнему дню и проклинаешь его. Иначе ты не можешь. Ведь ты немец, патриот своей родины, только не теперешней, а новой, очищенной от коричневой паутины фашизма, свободной родины! Потом ты вспомнишь Берлинский вокзал и незнакомую, закутанную в черную шаль женщину с заплаканным лицом, вспомнишь, как подошел к ней, стал ее утешать и как самому тебе болью сдавило горло, когда ты увидел в ее руке точно такое же письмо с черным штампом, какое два дня назад получил сам...»

— Конрад! — вдруг зашептал в самое ухо Блюме Гауф. — Вчера твой шофер проскочил через линию фронта к русским. Говорят, эсэсовцы уже вплотную подошли к селу, когда он ударил по ним с фланга из пулемета, почти в упор. Говорят, их было двое — твой шофер и еще какой-то офицер. Понимаешь, два дезертира, два пере-

бежчика! — Гауф пытливо прищурил глаз. — Ты, Конрад, мог бы ударить по своим, по немцам, из немецкого пулемета?

— Ты лишнее говоришь, Христиан! Сейчас не до того. — Блюме невольно дернул Гауфа за рукав кителя, потянул его в темный угол бункера. — Побеседуем потом, после боя.

— Нет, ты ответь на мой вопрос: мог бы ты стрелять по своим?

— Эйзенмарк стрелял по эсэсовцам.

— Они тоже немцы, на них немецкие шинели.

— Тише! Услышит генерал.

— Ничего, при таком грохоте не услышит. И потом нам не долго осталось ходить по земле, — процедил сквозь зубы Гауф и, словно демонстрируя свое безразличие к генералу, глубоко засунул руки в карманы.

Пушки били без перерыва. Бункер гудел и вздрагивал, как церковная колокольня от ударов большого колокола. На полном лице Гауфа блуждали то тени едкой насмешливости, сменявшиеся безразличием, то всполохи гнева и отчаяния. Грузный, плотный, с засунутыми в карманы руками, он покачивался на каблуках, точно стоял на палубе корабля во время шторма.

— Не смотри ты на меня глазами укоряющего праведника, Конрад! Всех нас тут передушат, как крыс. — Голос Гауфа точно надорвался, в нем прозвучали нотки отчаянной безнадежности. — Думаешь, я не знаю, как будет? Бригадефюрер Гилле держит наготове специальный самолет, генерал Шмидт-Гомер смазывает пятки салом, а наш бельгийский союзник Леон Дегрелль непременно удерет первым. Только мы останемся тут, в этой дыре, и тут погибнем. Этим все кончится!..

— Ты забываешь, Христиан! Ведь на Гилле, Шмидт-Гомере и Дегрелле тоже немецкие шинели, — не преминул кольнуть его Блюме. — И вообще, как учит известный немецкий афоризм, каждому свое.

— Я понимаю твой намек, Конрад. — Лицо Гауфа сделалось спокойно-сосредоточенным. — Этой ночью я много думал. Они решили бросить мой полк на погибель, чтобы легче было прорваться «Валонии». Но я не собираюсь и не хочу умирать ради этого неврастеника Липперта и его Рыцарского креста!..

В это время Штеммерман, наблюдавший в стереотрубу за полем боя, поднял руку:

— Танки!.. Наши танки двинулись вперед! Благослови их бог!

Появившиеся в перекрестье стереотрубы танки почему-то напомнили генералу о Франции, воскресили в его памяти победоносное продвижение к Ла-Маншу. Синие дымки над виноградниками, колонны английских и французских солдат с белыми флажками на штыках, а на шоссе, точно на параде, бесконечная вереница немецких танков с открытыми люками. Пехота еще не подошла, но это не имело значения: Франция была уже побеждена! Покрытый пылью оппель-адмирал Штеммермана несся вперед — к Ла-Маншу, к бессмертию...

Мысли о прошлом вдруг оборвались. В лицо Штеммерману повеяло сквозь смотровую щель бункера терпким ветром, принесшим запахи талого снега и бензина. Здесь не Франция! Тут нет ни виноградников, ни белых флажков, которые так услаждали взгляд генерала на дорогах Бретани. Здесь была черная луговина перед селом, усеянная трупами немецких солдат. Сквозь смотровую щель на Штеммермана словно подуло ледяным ветром. Он съежился, отпрянул назад. Взгляд его побежал к позициям русских, уткнулся в реденькие коричневые полоски окопных брустверов. Генерал подумал: «Первая атака стоила ста жизней немцев. Еще атака — еще сто человек. И так до самой Германии, пока не останется ни ста, ни десяти, ни одного немца!»

Он повернул стереотрубу к лесу, откуда выходили на рубеж атаки танки. В бессильной ярости стиснул зубы: «Сумеют ли они пройти дальше? Благослови, боже, немецкое оружие!»

Окопы русских молчали. Ни одного выстрела! Словно там вымерли все. Штеммерман знал, что на участке предполагаемого прорыва у советских войск пока нет танков и мало артиллерии, но ему все-таки казалось, что за молчаливым выжиданием противника таится что-то недоброе.

Он неестественно, одними губами улыбнулся: «Ничего, все будет хорошо!» Нарочито долго и внимательно смотрел на часы, будто прислушивался к самому себе, ждал, пока успокоится сердце и он, генерал Штеммерман, вновь станет тем невозмутимым, железным генералом, боевым удачам которого не раз завидовали его коллеги.

«Только паникеры не верят в победу, — убеждал он себя. — А я верю. Я напомню вам, что такое немецкий солдат, если им умело командовать».

Повернув голову к радисту, Штеммерман приказал вызвать по рации командующего артиллерией.

— Тяжелым батареям перенести огонь в глубь обороны противника. Ориентиры школа и старая колокольня.— Держа в руке чашечку микрофона, генерал гордо выпрямился, точно выступал с речью перед заполненной людьми площадью. — Тяжелым минометам продолжать обстрел шоссе в районе ориентиров «Верблюд» — «Мертвая голова».

В бункере сразу стало тесно от его зычного, хриплого голоса. Гауф склонился над телефонным аппаратом, дублируя команды генерала.

Связавшись по рации с командиром «Валонии» Липпертом, Штеммерман приказал:

— Вперед! Да поможет вам бог! Через десять минут в бой вступит полк майора Гауфа. Ровно в девять ноль-ноль я ввожу в прорыв дивизию «Викинг».

Положив на аппарат телефонную трубку, Штеммерман вышел из бункера в траншею: хотелось подышать свежим воздухом и хоть на время избавиться от дурманящего запаха дезинфекционных химикалиев и плесени. Денщик, пожилой, слегка припадающий на правую ногу ефрейтор, подал ему большой цейсовский бинокль. Генерал привычно поднял его к глазам. Отсюда было хорошо видно, как вслед за танками одна за другой поднимались в атаку штурмовые группы пехоты.

12



ва советских штурмовика делали крутой разворот над аэродромом. За штурвалом одного из них был старший лейтенант Задеснянский, другую машину вел лейтенант Северцев. Грозные машины заходили на боевой курс. Внизу отчетливо просматривались позиции немецких артиллерийских и минометных батарей, ближе к лесу — вражеские танки. Построившись в две линии, они стремительно надвигались на наши стрелковые подразделения.

— Вижу танки, выхожу на штурмовку. Держись ближе ко мне, не отставай! — передал по радио Задеснянский своему напарнику.

— Есть, держаться ближе!

Почти четыре месяца Задеснянский был лишен возможности летать, управлять самолетом, кажется, стал уже отвыкать от горьковатого запаха бензина. Но удивительная вещь! Сегодня он чувствовал себя еще увереннее, чем раньше. Руки его действовали точно и решительно, на сердце было спокойно. С напряженным вниманием он следил за танками, ощущая всем телом, как послушная машина идет в пике. Вот мелькнула опушка леса, дальше — горбатая поляна, окруженная сосняком, затем — проложенные танковыми гусеницами черные борозды. А вот и танки. Пора!

Бомбы падают в цель. Всплески огня. Черным пламенем вспыхивает один танк, другой... Снова впереди солнце: яркое, приветливое, на все небо. Штурмовики взмыли вверх, сделали над селом разворот и опять стремительно понеслись над равниной. Еще разворот, еще... Теперь уже видно, как поредевшая колонна танков поспешно поворачивает назад, отходит к лесу, стремясь укрыться под оголенными, без листвы, деревьями.

— Седьмой! Штурманем их еще разок в лесу! — охваченный жаром борьбы, с веселой беспечностью прокричал в микрофон Задеснянский. И сразу услышал:

— Есть, штурмануть в лесу!

Разворот над лесом, и град бомб посыпался на не успевшие укрыться под разлапистыми елями танки. Вспыхнули сразу две машины, загорелись деревья.

— Шестой и седьмой! Возвращайтесь в зону! — слышится в шлемофонах летчиков басовитый голос подполковника Савадова.

— Есть, в зону! — за обоих отвечает Задеснянский.

Какое-то подсознательное чувство заставило его взглянуть назад. Он увидел четкие контуры штурмовика Северцева и распластавшееся над ним серое облако. Ведомый точно выдерживал дистанцию: его самолет шел за машиной Задеснянского, будто соединенный с ним невидимым стальным тросом.

Вдруг из облака вынырнули четыре вражеских истребителя, зашли со стороны солнца и коршунами упали

вниз, нацелив свои пушки и пулеметы на советские штурмовики, пятная серыми силуэтами небесную синеву.

— Шестой и седьмой, вас атакуют! — доносится с земли голос Савадова.

Четверка немцев все ближе. Словно на маневрах, немецкие истребители демонстрируют свою слетанность. У них большой запас скорости, в этом их преимущество, и они неотвратимо догоняют «илы».

«Фоккеры», сволочи! — безошибочно определяет Задеснянский. — Высота тысяч пять. У них выгодное положение».

— Держись ближе ко мне! — бросает он в микрофон Северцеву.

Оба штурмовика, словно чувствуя смертельную опасность, ринулись в пике. Под ними снова немецкие танки и пехота. Но теперь не до них! Танковая атака отражена, от десятка горящих машин в небо поднимаются черные столбы дыма. Остальные танки прячутся меж соснами. Немцы в окопах, наверное, со злорадством наблюдают за тем, что происходит в воздухе, ждут, когда советские штурмовики пылающими факелами врежутся в землю.

Напрасно ждете! Штурмовики почти вплотную прижимаются к земле. «Фоккерам» такой маневр не по плечу: они проносятся выше. Делают новый заход. Опять неудача. Немцам, вероятно, надоедает безрезультатная игра в кошки-мышки. Три «фоккера», оставляя за собой серые хвосты выхлопного газа, почти по вертикали уходят высоко в небо. Остается один, самый нахальный. Он продолжает кружить над советскими «илами».

Задеснянский и Северцев неожиданно делают крутой вираж, взмывают вверх, и «фоккер» оказывается на горке прямо перед ними. Теперь он спешит уйти, но две трассирующие очереди догоняют его — за ним тянутся черные полосы дыма. Задеснянский видит, как немецкий летчик пытается выбраться из кабины, конвульсивными движениями отстегивает крепежные ремни. «Хочешь жить? Нет, поздно!..» И посылает еще одну очередь.

Они приземлились. Задеснянский вылез из кабины, стал на крыло самолета и увидел, что к его штурмовику со всех сторон бегут друзья. Он устало стянул с головы шлемофон, вытер рукавом мокрый лоб. Потом неторопливо спустился на землю. Первым подбежал механик самолета, плотный, широкоплечий сержант. Он предупреди-

тельно помог ему снять парашют, для чего-то потрогал планшет, стал расспрашивать о результатах штурмовки. Летчики поздравляли с успехом, с благополучным возвращением. А Задеснянский и Северцев лишь приветливо кивали: они были так измотаны, что, казалось, вот-вот свалятся с ног от усталости.

Пришел подполковник Савадов, хмурый, вроде чем-то недовольный. Крепко пожал обоим руки. Пряча в уголках обожженных губ улыбку, негромко сказал:

— Молодцы! Хвалю!.. Только что звонил комдиву, рассказал ему о штурмовке и воздушном бое. Он тоже благодарит вас от имени командования. — Потеплевшими глазами посмотрел на Задеснянского. — Будем считать, старший лейтенант, пробный вылет выполнен отлично. Принимайте эскадрилью, как договорились.

Савадов взял Задеснянского под руку, отвел чуть в сторону. Лицо командира полка озабоченно. Немного помолчав, он, словно в чем-то сомневаясь и проверяя самого себя, глянул летчику в глаза. То, что он хотел сказать Задеснянскому, пугало даже его самого своей необычностью. Но это была его мысль, его идея, возникшая случайно и к моменту возвращения штурмовиков на аэродром тщательно продуманная. Он хотел поделиться ею с Задеснянским, недавним партизаном, который в таких вещах разбирался лучше, чем он сам.

Вражеские танки отбиты, но положение остается критическим. Немцы накапливаются для атаки на правом фланге. Если не принять решительные меры, они могут прорваться. Одному стрелковому полку атаку не отбить. Под угрозой захвата немцами окажется аэродром. Самолеты, конечно, поднять недолго, но на аэродроме не одни самолеты. Что, если нам...

— Вы хотите заранее эвакуировать в тыл заправочную технику? Оставить на аэродроме одни самолеты? — спросил напрямик Задеснянский.

— Нет, я не о том. Перебазирование на тыловой аэродром — крайний случай, самый крайний. Мы должны помочь стрелковому полку, помочь Грохольскому, иначе ему не удержаться.

— Но у нас нет горючего. Вы говорили, бензина в обрез, только и осталось, что для переброски на тыловой аэродром.

— Речь не о самолетах. — Савадов провел по обожженному лицу ладонью. — Речь не о самолетах, старший лейтенант, — повторил он. — На этот раз я решил помочь пехоте пулеметным огнем. Грохольский говорит, что после вашей атаки немцы вряд ли снова введут в дело танки. Теперь они будут атаковать пехотой. Вот я и думаю, надо выручать Грохольского.

— Значит, вы хотите принять бой на земле? — догадавшись о замысле командира, но еще не уяснив его в деталях, быстро спросил Задеснянский.

— Вот именно, товарищ старший лейтенант. Возьмем пулеметы из БАО, несколько штук снимем с истребителей и штурмовиков, создадим крепкий пулеметный заслон. Удержим плотину — удержим село и аэродром, а не удержим, туго придется всем. — Савадов прислушался: из села временами доносились короткие пулеметные очереди. — Действовать надо немедленно. Назначаю вас командиром пулеметной группы. Я уже приказал механикам собраться у штабного блиндажа. Забирайте их — и в село. Через сорок минут вы должны занять отведенные вам позиции. Ясно?

— Ясно, товарищ подполковник. Разрешите выполнять?

— Давайте, дорогой. Медлить нельзя.

Если бы Грохольскому сказали накануне, что он в состоянии проявить такую решительность и твердость, какую проявил при отражении первой немецкой атаки, он, возможно, не поверил бы. Собственно, он до сих пор толком не представлял, как полку удалось отразить жестокий натиск врага. Но то, что полк выстоял, было фактом. Значит, он, начальник штаба, действовал правильно. Выходит, когда надо, он тоже может управлять людьми так, как управлял бы ими погибший вчера командир полка! «А ведь справедливо, что доверие окрыляет человека. Все дело в доверии. Я теперь в полку за старшего, с меня главный спрос. А раз так, я должен до конца оставаться твердым и решительным», — подумал он и внутренне улыбнулся, поняв, наконец, секрет своего превращения. Однако его продолговатое, сухое лицо оставалось суровым и настороженным, внутренняя улыбка ничего не изменила на нем.

Он стоял в удобном глубоком окопе командного пункта и видел перед собой сбегавшие к пруду огороды. Впереди, за прудом, просматривались крайние хаты села, безлюдные, полуразрушенные, с проваленными крышами. Сразу же за хатами тянулись боевые позиции рот. Оттуда все явственнее доносились раскаты боя. Немцы начинали очередную атаку.

В этот момент из темного провала входа в блиндаж высунулась лобастая голова телефониста. Он был без шапки, в расстегнутой шинели.

— Вас к аппарату, товарищ майор! Со штаба армии... Генерал.

Грохольский быстро повернулся, нырнул в блиндаж, взял трубку. Звонили действительно из штаба армии. Сквозь шум помех Грохольский услышал далекий басовитый голос:

— Говорит командующий. Ну как там у вас? Держитесь? Молодцы! Еще немного продержитесь, скоро подойдут танки. Они уже на марше. Ждите. Не бросайте трубку, с вами будут говорить.

Теперь в трубке послышался другой, очень знакомый голос командующего фронтом:

— Здравствуйте! Коротко доложите обстановку на вашем участке. Как ведет себя немец?

— Товарищ генерал армии! —громко и торжественно, словно на параде, прокричал в трубку Грохольский и сразу осекся, подумав, что надо было обратиться иначе: «Товарищ командующий!» Эта ошибка на секунду обескуражила его, но он быстро собрался, стал четко докладывать о положении на участке полка. Генерал слушал внимательно, терпеливо, не перебивая. В трубке не было слышно никакого шороха, будто связь внезапно прервалась.

— Так, значит, часа два продержитесь? Хорошо. Потом будет легче — подойдут танки. Ваши соседи снова контратакуют противника. Это несколько облегчит ваше положение. Вы меня поняли?

— Так точно, товарищ командующий, все понял! Постараемся выдержать. Авиаторы прислали свою пулеметную группу. Очень вовремя прислали. Все будет в порядке. До свидания, товарищ командующий!

Грохольский отдал трубку телефонисту и внезапно почувствовал во всем теле неприятную слабость, присло-

нился спиной к липкой стене блиндажа, закрыл глаза. Он сказал командующему то, что считал нужным сказать. Даже если это будет последний его бой, последний его час, он не мог, не имел права ответить командующему иначе. «Выдержать!.. Выдержать любой ценой! Пусть хоть сам черт сядет на голову, будем держаться».

Между тем в батальонах положение с минуты па минуту осложнялось. Слева стрельба несколько стихла, зато севернее, на правом фланге, где оборонялся третий батальон, гул боя непрерывно нарастал. Пулеметные очереди сливались в сплошной треск, перемежаясь лишь взрывами гранат.

— Третий? Как у вас там?

Хриплый голос капитана Зажуры прогудел словно из-под земли:

— Жмут, товарищ майор.

— Держитесь, капитан! Мы должны выстоять. Еще час-два, не больше.

Грохольскому хотелось говорить спокойно, как несколько минут назад разговаривал с ним командующий фронтом, но у него так не получалось. Его трясло, словно в лихорадке, и слова: «Держитесь, капитан!» он произнес с каким-то болезненным сомнением, со скрытой мольбой. Он не спрашивал, что происходит на участке третьего батальона. Знал, что держаться неимоверно трудно, что в круговороте боя, когда противник нажимает изо всех сил, почти невозможно угадать, чем все это кончится. Но Грохольскому хотелось услышать именно эти слова, он ждал их с немой мольбой, ловил в трубке каждый шорох.

— Ну как же, капитан? Как у вас дела? — почти крикнул он.

Трубка еще некоторое время молчала, потом отозвалась далеким, почти отчаянным голосом:

— Плохо, товарищ майор. Убит командир седьмой роты. Немцы снова атакуют, но будем...

В трубке послышался громкий хлопок, затрещала автоматная очередь. Потом все стихло. Грохольский растерянно оглянулся. На него в упор смотрел высокий, тучный майор с забинтованной левой рукой. Это Ружин, заместитель командира полка по политчасти.

— Командир седьмой роты убит, — тихо произнес Грохольский.

Ружин смотрел на него немигающим взглядом. Ни один мускул не дрогнул на его полном лице, только глаза сузились, сделались твердыми. Он доложил, что был в седьмой роте, что ротный погиб при нем. Мина разорвалась рядом: лейтенанту осколок попал в шею, а его, Ружина, ранило в руку. В роте осталось пятнадцать активных штыков. Он, Ружин, назначил временно командиром роты ефрейтора Борового, пулеметчика.

Для майора Ружина, человека интеллигентного, мягкого и впечатлительного по природе, гибель командира седьмой роты, его земляка-ленинградца, была одним из самых тяжких потрясений за последнее время. И вовсе не потому, что их роднили земляческие чувства. В лейтенанте Ружин видел свою собственную неосуществленную мечту — стать поэтом; он всей душой чувствовал большой талант своего земляка и желал его расцвета. В часы затишья между боями он с волнением читал стихи лейтенанта об алых парусах, о грустящей девушке, о сожженных врагом деревнях, где не было девушек, где в черных дымоходах ютились лишь голодные кошки.

Случалось, что Ружин просил лейтенанта написать что-нибудь призывное («Чтобы кровь у солдат кипела от ненависти!»), обычную зарифмованную агитку о фашистских зверствах, о силе солдатской дружбы, о долге и Родине. Эти простые, бесхитростные стихи лейтенант читал потом солдатам на митингах. Но после суровых слов о войне бойцы всякий раз просили его прочесть что-нибудь лирическое, посвященное прошлому, когда не было окопов, не было тесных землянок, не было горького дыма оставленных людьми сожженных сел. И лейтенант, сняв шапку, вновь становился черноволосым студентом, простым парнем, еще не познавшим счастья любви, грустившим вечерами на Мойке и шагавшим одиноко домой по ночным ленинградским улицам.

— Поэт погиб, Илья Михайлович, большой поэт! — громко проговорил Ружин, отрываясь от воспоминаний.

— Поэт?.. Да, да, я понимаю вас. — Грохольский знал о сердечной привязанности замполита к лейтенанту, но не видел, чем можно утешить этого громоздкого человека.

— Я пойду в третий, Илья Михайлович. Там трудно, очень трудно, — сказал Ружин сразу как-то помрачнев-

шим голосом и стал медленно растирать обмотанную марлей кисть левой руки. Она с каждой минутой болела все больше.

— Да, да, идите! — Грохольский быстрым движением развернул карту. — Нет, минутку, я сейчас. Пусть третий отходит за пруд. Там мало людей, я понимаю, но пусть отходят через плотину за пруд, занимают оборону на берегу. Вот чуть-чуть дальше пулеметная группа летчиков. Не задерживайте немцев: пусть идут по главной улице, только не пускайте их в сторону. По главной улице. Вы поняли? Старайтесь направить их прямо на пулеметы. Там они получат свое. Вы поняли меня, Григорий Илларионович? Прямо на пулеметы!..

Замполит поднял забинтованную руку к груди, привычно козырнул и с неожиданным для тучного человека проворством побежал по узкому ходу сообщения.

Майор Грохольский устало смахнул ладонью со лба бисеринки пота. «Что это я? Кажется, снова закатил истерику? — подумал он про себя, ежась от внезапной неловкости. — Заладил, как дятел, одно и то же: «Вы меня поняли?..» Да замполит все понимает гораздо лучше меня, потому и решил пойти в третий батальон. И Зажура отличный командир. Рано вы торжествуете, господин Липперт! Вам все равно не пройти, ни за что не пройти! Ваша единственная дорога — в могилу. Мы еще повоюем!»

Пожилой солдат-связист настойчиво тряс Зажуру за плечо.

— Товарищ капитан!.. Вы живы, товарищ капитан? Живы?

Голос казался Максиму далеким-далеким, чуть слышным, но удивительно знакомым. Кто это трясет его за плечо? Надо отозваться, сказать, что жив. Но прежде приподняться. Фу ты, какая плотная земля.

Зажура лежал на дне полузаваленного окопа. Ноги его были придавлены комьями глины и земли, а верхняя часть туловища возвышалась над черным месивом грязи. Максим приподнялся на локте, смахнул с плеч и груди липкий чернозем, рывком вскинул голову. Прямо перед ним стоял солдат-связист с пышными рыжеватыми усами, с автоматом в правой руке, и продолжал кричать ему:

— Вставайте, товарищ капитан! Немцы вон они, неда-

леко. И бросьте вы эту трубку, на кой она вам теперь! Связи все равно нет. — Он забрал у Зажуры телефонную трубку с обрывком шнура, стал поднимать его на ноги. — Господи, как угодило! Видно, крупным снарядом ударил, гад. Вот ведь несчастье!.. Идти сможете, товарищ капитан? Аль помочь?

— Не знаю, — вяло отозвался Зажура, испытывая одно желание — лечь на дно окопа и закрыть глаза. — Где немцы? Далеко?

— Близко, товарищ капитан, совсем близко. Ползут, сволочи, по всему полю ползут.

— Ну и черт с ними, пусть ползут. Я никуда отсюда не уйду.

— Да что вы, товарищ капитан! Разве можно. Они же рядом. В плен захватят, замучают вас. — Морщинистое лицо солдата скривилось в жалостливой гримасе.

— Меня в плен не возьмут, отец! — зло крикнул Максим. — Я еще сам их помучаю. — Он оперся спиной о стенку окопа, вгляделся в даль. Легкая контузия уже прошла, только во рту было сухо, отдавало горечью.

Солнце стояло в зените, яркое, по-весеннему теплое, а все вокруг казалось черным: и широкое поле впереди, и недалекий лес, и сожженные утром немецкие танки. Немцев еще не видно, но чувствовалось, что они где-то очень близко. И Максим догадался, почему так удручающе тихо: в окопах ждали новой схватки с врагом, которая должна была скоро начаться.

После неудачной атаки позиций третьего батальона, после провала танкового удара немцы накапливались теперь по всей линии полка, чтобы атаковать сразу с нескольких направлений и тем самым дезориентировать нашу оборону.

Окончательно пришедшему в себя и наблюдавшему за долиной Зажуре было ясно, что драка будет отчаянной. Немцам уже нечего терять, и они не остановятся ни перед чем, будут рваться вперед. Возможно, сомнут остатки батальона, прокатятся по его костям. Не оставят живой души и в селе. Максим помнил немало случаев, когда побитые гитлеровцы срывали злобу на мирном населении. Под Харьковом он видел развороченные вражескими танками хаты, под руинами которых были искалеченные трупы женщин и детей.

Сейчас Зажуру, пожалуй, больше всего беспокоила

мысль о селе. Он не думал о собственной смерти, словно свыкся с возможностью ее, но ни на минуту не мог забыть о матери, о Зосе, которая, наверное, притаилась где-нибудь в погребе, о сотнях знакомых и незнакомых ставичан. Зоська-то, если придут в село немцы, не пропадет, выживет, найдет с ними общий язык, а вот мать никто не укроет, никто не спасет. Да она и сама не станет прятаться, если узнает, что ее младший, последний сын погиб под танками и у нее уже не осталось никого.

Солнце упрямо стояло в зените, не по-февральски теплое, светлое, чистое, ласковое. Даже дымы горящего села таяли под его лучами. Синева не принимала дымов, солнце разглаживало горестные знаки смерти. В окопах было почти сухо. Шинель на Зажуре тоже быстро просыхала, становилась легче и теплее.

— Где же немцы, солдат? — спокойно, с нарочитой беспечностью и едва уловимой иронией спросил Максим связиста.

— Дык вон они, товарищ капитан. Вон, вишь, ползут.

Зажура повернул голову в ту сторону, куда указывал старый солдат. Солнце светило прямо в лицо, игривый ветер нес резкие запахи влажной земли, прелой соломы. Где же, где они, проклятые? Взгляд Зажуры обежал луговину и остановился на ползущих по пахоте солдатах в серых шинелях.

— Так это же наши, старик, наши!

— То наши, верно, товарищ капитан, а немцы вон там, за ручьем.

— А почему ползут сюда наши? Это из седьмой роты. Точно, из седьмой! — сказал Максим и вспомнил, что еще до контузии приказал ефрейтору Боровому с остатками седьмой роты отойти к батальонному КП.

Еще минута, еще несколько рывков — и все, кто остался от героической седьмой роты, скрылись в траншее. Вскоре ефрейтор Боровой протиснулся по заваленному ходу сообщения к Зажуре. Он был весь в черноземе, лицо его лоснилось от пота. В зубах держал изжеванную, давно погасшую самокрутку.

— Разрешите доложить!..

— Садись, садись, ефрейтор, — оборвал его Максим и почти силой усадил на какой-то ящик. — На, попей воды, охладись.

Боровой взял флягу, сделал большой глоток, вытер тыльной стороной ладони губы и снова приложился к фляге. Выпив все до дна, положил флягу на бруствер, откинулся спиной к глиняной стене, закрыл глаза. В уголках его рта играла усталая улыбка.

Казалось, он задремал, но в действительности он только на мгновение отдался ослабляющему отдыху. Боровой был до предела утомлен, все тело его ныло от усталости, и только где-то на дне сознания шевелилась упрямая мысль: он должен встать, должен пересилить себя, пойти к своим ребятам, к тем, что остались в живых и сумели пробиться на КП батальона, иначе они могут подумать о нем дурное, а для него их мнение было сейчас важнее мнения самого высокого начальства.

— Ну я пойду к своим хлопцам, товарищ капитан, — сказал Боровой, попытался встать и снова бессильно опустился на ящик.

Зажура увидел белое как мел лицо ефрейтора, росинки пота на его лбу и большое темное пятно на фуфайке пониже плеча.

— Вы ранены, ефрейтор? — Зажура склонился к его бледному лицу, которое постепенно покрывалось желтоватым налетом. — Вы же истечете кровью. Надо перевязать рану. Пакет есть?

— Чепуха, товарищ капитан. Задело немного, какая же это рана!

Боровой и в самом деле почти не чувствовал боли, хотя был ранен около часа назад. Пуля прошла под мышкой, не задев кости, однако большая потеря крови уже сказывалась. Ефрейтор совсем обессилел и не только не мог идти к своим, не мог даже подняться на ноги.

Зажура и старый связист с трудом сняли с Борового фуфайку.

— Да, уралец, кажется, на сегодня ты свое отвоевал, — сказал Зажура, промывая рану спиртом из фляги, которую достал старый связист из своего полупустого «сидора».

— Ужалила, проклятая, значит, когда и сам не помню, — словно в полусне бормотал ефрейтор. — Не слышал, как ужалила, товарищ капитан...

— Ничего, все уладится. А теперь в санчасть, дорогой товарищ. — Оглянувшись вокруг, Зажура поискал кого-то глазами, потом обернулся к старому связисту. — Тут сол-

дат был, в кисть руки раненный. Найдите его. Пусть идет вместе с ефрейтором в село.

Боровой рывком поднялся, неожиданно зло сказал:

— Прошу оставить меня. У нас так не заведено — своих бросать.

— А кто вам сказал, что вы бросаете их? — скупо улыбнулся Зажура. — Вы ранены, извольте выполнять приказ — в медпункт! Воевать и без вас есть кому. Скоро снова пойдут танки.

— Вот отобьем танки, тогда и в санчасть.

Появился солдат, раненный в руку.

— Идите вместе с ефрейтором в санчасть, в село, — приказал Зажура.

Солдат подошел к Боровому, взял его под руку и повел по траншее. Максим глянул им вслед, потер лоб, словно силясь что-то вспомнить, наконец вспомнил, и это, кажется, развеселило его.

— Достать ему люльку Богдана. Вот чудак! — произнес он вслух и вновь стал наблюдать за луговиной.

Теперь уже отчетливо можно было видеть немецких пехотинцев — они медленно, издали почти незаметно, не отрываясь от мокрой земли, приближались к нашим окопам.

А за спиной раскинулось родное село, с детства знакомый лог с прудом, за которым возвышался видный издалека колодезный журавль возле старой, покосившейся от времени хаты Зажур. Где-то там его мать. Если отвести остатки батальона на новые позиции, за пруд, немцы войдут в село, опять, как в сорок первом, «хозяевами» войдут в их старую хату. А как же мама? Ведь она никуда не уйдет, останется в селе, будет ждать его, Максима. Он обязательно должен увидеть ее. Впрочем, доживет ли он до той поры?

«Ну что ж, значит, так суждено. Если погибнуть, то здесь, в этих полуразрушенных окопах», — печально подумал он.

В конце уцелевшей части траншеи появились два связиста. Они проверяли исправность телефонного провода и, казалось, не обращали внимания на приближавшихся немцев: были заняты срочным, неотложным делом — восстанавливали связь. Минуту или две спустя связисты подошли к Зажуре. Один из них, что постарше, доложил:

— Связь восстановлена, товарищ капитан! — И передал Максиму телефонную трубку.

В трубке сперва что-то гудело, булькало, потом отчетливо послышался голос старшего адъютанта батальона. Зажура сразу узнал его. Росляков звонил из пятой роты, командование которой принял после ранения ротного.

— Ну как там у вас, лейтенант? — крикнул Зажура в трубку.

— Порядок, товарищ капитан. Будем контратаковать.

— Хорошо. Сначала встретим их огнем, потом — врукопашную. Жди моей команды. Будем драться до конца, отбросим и...

Чья-то сильная рука легла на черную коробку аппарата. Максим увидел перед собой широкие плечи майора Ружина. Замполит взял у него трубку, негромко, но отчетливо сказал:

— Контратака отменяется. Слушать мою команду. Батальону немедленно отходить к плотине. Вынести раненых и убитых. Занять оборону на восточном берегу пруда. Все.

Теперь он стоял к Зажуре спиной, перепоясанной ремнями. Максиму почему-то подумалось, что эта широкая спина заслонила собой все страшное и надежно прикрыла его от немцев, от томительной тишины ожидания. Он вспомнил разговор с Росляковым, которому приказал готовиться к контратаке, подумал, что контратака отменена уже не по его приказу, а по велению старшего начальника, и почувствовал себя как бы уязвленным.

— Если мы снимемся всем батальоном, товарищ майор, немцы ворвутся в село на наших плечах, — с нескрываемой обидой проговорил он в спину замполиту.

— Вы, я вижу, ершистый, капитан. Кто вам сказал, что будем сниматься сразу всем батальоном? Одна рота с пулеметами останется, прикроет. — Он поднялся на носки, выглянул из окопа, будто присматривая место для прикрытия. — Тут, на высотке перед прудом, и станем.

«Станем» произнес твердо и решительно. Возле глаз появились лучики морщинок, придавшие всему лицу удивительно добродушное выражение. Замполит, очевидно, уже принял решение, был уверен в его правильности и чувствовал себя более спокойно, чем Зажура, которому предстоящий отход казался ужасным. В поведении замполита, в его властности и манере держаться Зажуре почудилось, что Ружин недоволен его действиями как

комбата, в чем-то не доверяет ему и по существу отстраняет от командования батальоном.

— Разрешите быть свободным, товарищ майор? Я пойду в пятую роту, к лейтенанту Рослякову, — повысил голос Зажура, так как в это время по всей линии обороны полка немцы открыли артиллерийский огонь.

— Не разрешаю! — быстро повернулся к нему Ружин. — Вы отходите с батальоном за пруд, прикажите выводить людей. Я останусь с ротой и буду прикрывать отход.

— Товарищ майор!..

— Я сказал: отводите людей за пруд и занимайте оборону вдоль главной улицы села. Пропустите немцев за плотину только по главной улице, только по главной, и ни одному из них не позволяйте уйти в сторону. Ясно?

Да, теперь все было ясно. Он, Максим Зажура, должен идти с остатками батальона в село, а замполит остается здесь. Таков приказ — твердый и неумолимый. Зажура впервые встретился с замполитом полка. От погибшего командира седьмой роты он слышал, что тот еще с довоенной поры дружил с Ружиным. И вот лейтенанта нет в живых, а человек, любивший его, редактировавший и печатавший его первые стихи в ленинградской газете, стоял рядом. Он останется здесь, чтобы принять на себя самый тяжелый груз.

Зажура понимал суровость и неумолимость слова «станем». Для него оно означало жизнь, по крайней мере возможность выйти живым из начавшейся мясорубки, может быть, продержаться до подхода танков, а для замполита и бойцов роты, остающихся для прикрытия отхода батальона, оно означало почти неизбежную смерть.

— Товарищ майор, разрешите остаться с вами! — Голос Зажуры сорвался почти на крик.

Стоял неимоверный грохот. Разрывы снарядов и мин между окопами и над окопами вершили сатанинский хоровод. Небо заволокло бурым туманом. Майор не расслышал слов Максима, но догадался, о чем он просит. Сурово нахмурив брови, он подошел вплотную к Зажуре и, пересиливая грохот боя, крикнул ему прямо в лицо, чтобы тот немедленно приступил к выполнению приказания, начал отвод батальона.

— Сию же минуту уходите! — раздраженно крикнул

он и с силой толкнул Максима в сторону сохранившейся части траншеи.

Елена Дмитриевна торопливо шла по коридору. Утром она вместе с соседкой накормила детей-сирот и снова вернулась в школу: тут хоть что-нибудь можно узнать о сыне! В штабе безлюдно. Однако Елена Дмитриевна решила ждать. Знала, что Максим в самом пекле боя, за селом, и не могла совладать с собой. Если бы ей разрешили, она, не задумываясь, пошла бы к нему в окопы. Ей казалось, что там она могла бы защитить его от пуль.

В полутемном коридоре столкнулась с плечистым солдатом в ватнике, наброшенном поверх плотного слоя бинтов, опоясывавших его грудь. Едва не сбив женщину с ног, солдат сконфуженно развел руками:

— Ну что, мамаша, вы ходите тут? Гражданским не положено.

Мать приветливо и виновато улыбнулась, разглядывая могучую фигуру и бледное лицо солдата.

— Я жду капитана Зажуру, сынок, — проговорила она с некоторой робостью. — Мне товарищ майор разрешил.

— Так вы, значит, мамашей нашему комбату доводитесь! — обрадовался солдат. — Видел я вашего сына, нашего командира, значит, недавно видел. Ефрейтор Боровой я, Павел Нилович, значит, разрешите представиться.

— А меня Еленой Дмитриевной зовут.

— Знаю я, слышал о вас, значит. Вас тут все знают.

Напротив открылась дверь. Из-за нее выглянул офицер, без шапки, с растрепанными волосами, но в застегнутой на все пуговицы шинели.

— Товарищ солдат, вы откуда?

— Оттуда, с передовой. В санчасть направили, — ответил Боровой.

— Что с вами? Ранены? Тяжело?

— Вроде не очень, пока держусь, значит, на ногах.

— Так слушайте. Вот какое дело: пулеметчикам нужно поднести патроны. А, это вы, Елена Дмитриевна? Вот удача! Пойдете вместе с этой женщиной, солдат. Там, возле ее хаты, окопались летчики, им нужны патроны.

Елена Дмитриевна решительно оттолкнула Борового в сторону.

— Другого пошлите, товарищ. Разве не видите? Раненый он. Прямо из окопов, а вы его снова на смерть посылаете.

— Давайте патроны, товарищ лейтенант. Силенка у меня пока имеется, значит. Сделаю все, что могу, — выступил вперед Боровой.

— Нельзя вам, сынок. В санчасть идите, — горестно произнесла женщина.

— В санчасть потом, Елена Дмитриевна. Вы уж не обижайте меня, значит.

Штабной офицер смерил ефрейтора с ног до головы испытующим взглядом, с минуту поколебался, открыл шире дверь класса и, обернувшись, крикнул кому-то, чтобы принесли патроны. Боровой молодцевато поднял голову. В глазах Елены Дмитриевны мелькнуло чувство не то печали, не то осуждения.

— Воевать, сынок, я вас все равно больше не пущу, — сказала она тоном человека, знающего цену своему слову. — Вот отнесем патроны, потом идите с богом в санчасть. — Она резко обернулась к лейтенанту: — Разве раненому дозволено оставаться в окопах?

— Хорошо, пусть только отнесет, — улыбнулся офицер и многозначительно посмотрел Боровому в глаза. Тот понял: сейчас все дозволено, лишь бы удержать немца.

Они пошли на гул стрельбы, смутно догадываясь, что бой уже переместился на окраину села, ведется где-то возле крайних изб. Надо идти быстрее, чтобы успеть, чтобы солдаты не остались без патронов, иначе они не смогут отогнать немцев, и тогда фашисты займут все село.

— Я побегу, мамаша, чтобы поскорее, значит, — вырвался вперед Боровой, чуть сгибаясь под тяжестью тяжелых коробок.

— Куда же вы одни-то? Собьетесь с пути, село большое.

— Ничего, найду. Мы привычные. Ждут там наши.

Елена Дмитриевна вдруг вспомнила о детях-сиротах. Ее словно обдало кипятком, по всему телу прошел нервный озноб. Дети! Они же одни там. Соседка ушла. Что, если немец и впрямь займет село, пропадут, бедненькие...

Тяжелые мужнины сапоги вязли в липкой грязи. Пот заливал глаза. Дети!.. Совсем забыла о них. Вот ведь как

получилось. Думала, отобьют наши немца, не пустят в село, а они уже за плотиной бьются.

Впереди, за прудом, в небо поднималось темно-багровое пламя. Горели хаты, горели страшно, неторопливо. Никто не тушил пожара, не было вокруг привычной суеты, и от того, что село покорно отдалось огню, пожар казался зловеще-таинственным и неумолимым.

«Может, моя хата горит? — мелькнуло в сознании Елены Дмитриевны. — А они там, сиротки, ползают, задыхаются в дыму... Нет, это, кажется, еще на Глинищах. Не дошли пока до нас супостаты. Может, все обойдется, отобьют их, проклятых?..»

Поначалу она не узнала свою избу. Вокруг все было разрушено, повалено, засыпано комьями земли и глины. Возле избы лежала спиленная груша — большое, ветвистое дерево в два обхвата. Эту грушу посадил под окнами еще прадед-казак, и она была таким же неотъемлемым атрибутом зажуринской скромной усадьбы, как и ветхий, с полуистлевшим срубом колодец, и маленькая скамеечка у ворот.

Не стало дерева. Не стало колодца: взрывом снаряда его разворотило до самых глубин. Не стало забора: изба стояла голая и осиротевшая. Вдоль всей узкой улочки возвышались брустверы окопов.

Но не это поразило мать. Самым страшным, непоправимым показалось ей почему-то то, что не стало их уютного, заросшего спорышем маленького дворика. Теперь тут громоздились кучи земли, пролегала глубокая траншея, в которой стояли солдаты вперемежку с бойцами самообороны. Вся улочка, вероятно, уже давно находилась в зоне огня.

Не обращая внимания на свист пуль и близкие разрывы мин, Елена Дмитриевна торопливо пошла к крыльцу. Из траншеи закричали: «Мамаша, куда вы? Убить могут!» Она не слышала или просто не хотела ничего слышать. В темных сенях с кем-то столкнулась. Послышался детский плач. Ее лица коснулись холодные маленькие ручонки. Елена Дмитриевна увидела Зосю с ребенком на руках.

— Ты?!

— Несите его в траншею, я пойду за остальными. Там еще двое.

Зося передала ей ребенка и вернулась в избу. Елена Дмитриевна, прижимая к груди дрожащее, худенькое тельце малыша, вышла на крыльцо. Солдаты помогли ей спуститься в траншею, по ходу сообщения проводили к пруду, в безопасное место, где под прикрытием обрывистого берега сгрудились перепуганные ребятишки. Вместе с ними была соседка Елены Дмитриевны, чернявая, еще не угасшей красы молодица Горпина Спивак.

— Ой, тетечка, что тут было, что было! — сразу затараторила она, увидев Елену Дмитриевну. — Когда вы утром ушли, я тоже собралась было в окопы, проведать своего Ивана. А немец как ударит из пушек и прямо сюда. Вышла из хаты, гляжу, у вас во дворе полно военных. Траншею роют, грушу спилили, а в хату никто не заглянул. Я — туда, к ребятишкам: они, воробушки несчастные, забились в углы, плачут, вас зовут. Хотела куда-нибудь отвести их, да из хаты выйти боюсь, вокруг снаряды рвутся, солдаты из пулеметов стреляют. Осталась в хате. И там страшно: вот-вот все на воздух взлетит. Ой, нагоревалась я с ними, тетечка Елена, думала, свету божьего больше не увижу. Спасибо, Зося пришла, Максима своего разыскивала. Вот вместе с ней мы всех ребятишек под огнем и повыносили из хаты.

Как раз в это время из траншеи, что спускалась к яру, вышла Зося с двумя мальчиками лет по восьми. Один из них плакал устало и почти беззвучно, другой размахивал прутиком и все пытался вырвать свою ручонку из Зосиных пальцев.

— Пусти меня! Пусти, говорю! — воинственно кричал он. — Я пойду фашистов бить!

Зося подвела детей к Елене Дмитриевне и, словно в чем-то чувствуя вину перед ней, опустила глаза.

— Мама!.. — Голос у нее сорвался. — Мама! За Максима вы не волнуйтесь. Жив он. Солдаты видели его возле плотины. Жив!.. О вас справлялся.

— Спасибо! — с затаенной болью отозвалась Елена Дмитриевна.

Ей было жарко в овчинном полушубке и шерстяном платке. Она отвернулась. Ей невыносимо было смотреть на эту худенькую, красивую женщину с растрепанными волосами и мокрым от пота лицом, похожую скорее на запыхавшуюся девчонку-подростка. О ней в селе говорят самые дикие, самые отвратительные вещи, называют не-

мецкой подстилкой, продажной тварью, а она жизни своей не пощадила для спасения детей.

— Спасибо! — теплее повторила Елена Дмитриевна и стала искать глазами кого-нибудь из мужчин.

В нескольких шагах от нее морщился от боли высокий сержант с раздробленной рукой. Полы его шинели были густо забрызганы кровью. Кровяные пятна рыжели даже на голенищах сапог. Молоденькая девушка быстро и не очень умело бинтовала ему руку.

Елена Дмитриевна хотела подойти к сержанту, спросить, что же будет дальше, отстоят ли наши село? Но передумала и только тихо, про себя, прошептала: «Что он, бедненький, знает? Без руки остался парень, всю жизнь будет без руки».

Из траншеи выскочил пожилой мужчина в полушубке, окинул быстрым взглядом раненых:

— Пулеметчики есть? Слышите? Пулеметчики есть, спрашиваю?

Никто не отозвался. Пулеметчиков не было. Сержант с раздробленной рукой гневно огляделся по сторонам.

— Слышите? Вас спрашивают, есть ли пулеметчики? Аль мне идти вместо пулемета с гранатой и с культяпкой вместо руки? — Он вынул из кармана шинели лимонку, подержал ее на ладони. Остальные раненые молчали. — Вояки! — Сержант положил гранату в карман. — Я пойду, папаша. Из пулемета стрелять не могу, а с гранатой еще управлюсь.

Боец в полушубке даже не взглянул на него.

— Уходите отсюда все, все, кто может! — крикнул он. — Немец близко, вот-вот подойдет. Елена Дмитриевна, ребятишек подальше бы надо увести, на другую улицу, тут опасно.

— Я умею стрелять из пулемета, дядька Созонт, — поднялась Зося, затем посмотрела на Елену Дмитриевну: большие ее глаза сузились, в уголках рта что-то дернулось. — Пойдемте, Созонт Иванович. Не верите, что могу стрелять? Всему научилась, буду бить немцев не хуже других.

Опустив голову, она быстро зашагала к траншее.

Старый самооборонец не зря предупредил Елену Дмитриевну о необходимости увести детей. Гитлеровцы уже подошли к развилке дорог, готовились к решительному

броску. Оттеснив защитников села на боковые улицы, они подступали к избе Зажур, рвались мимо нее в глубь села.

Пулеметный заслон авиаторов понес большие потери. Задеснянский, которого уже дважды засыпало землей, лежал за пулеметом почти оглушенный и, экономя патроны, бил короткими очередями по атакующим. Он смотрел только вперед. Боялся обернуться, боялся увидеть приваленных глиной погибших товарищей, разбитые пулеметы.

В напряжении, с которым он всматривался вдоль улицы, чувствовалось отчаяние, перемешанное с дерзким вызовом и неукротимой верой в свои силы. Задеснянский не хотел думать о смерти, верил, что после всего пережитого он не может, не должен погибнуть, тем более так нелепо, на земле, от пуль паршивых валонцев. Он страстно хотел жить, и это желание, казалось, преодолевало все. Еще в самом начале войны Задеснянский поклялся себе, что будет драться с немцами до конца, до полной победы. Нет, он не погибнет, пусть-ка они попробуют укокошить его. Черта с два! Он еще полетает над поверженной Германией, над Берлином, над самим проклятым Гитлером!

Правда, когда кончались патроны, он оглянулся, точно помнит, только один раз! Потом, словно оправдываясь перед кем-то, сказал себе, что оглянулся потому, что его беспокоила судьба детей-сирот, что хотел убедиться, не остались ли в хате дети. Хотя прекрасно знал, что в тот миг подумал и об отходе, подумал о своей жизни, которую не хотел отдать фашистам.

Ефрейтор Боровой принес патроны как раз в ту минуту, когда валонцы поднялись в новую атаку. Они тоже были измучены боем, злоба и отчаяние притупили их страх, они пошли густой лавой, не пригибаясь. Кто мог остановить их? Им казалось, что русские сломлены, что они не способны к сопротивлению и путь в глубь села открыт. Валонцы шли все быстрее, лица их постепенно светлели, в глазах появился радостный огонек. С глухим грохотом пронесся вперед пятнистый танк, и валонцы еще больше ободрились: из сотен их глоток вырвался возглас восторга, возглас торжества.

Задеснянский вставил новую ленту. Пальцы вдавили гашетку мягко, словно пробуя ее упругость. Огненная струя полоснула по улице и сразу слилась с другой струей: два пулемета застрочили гулко и ритмично.

Боровой удобнее уперся локтями в землю, приподнял голову, крикнул Задеснянскому:

— Эй, авиатор, за колодцем следи! Немцы по дворам идут, по огородам, как бы в тыл к нам не зашли.

Не оглядываясь, ефрейтор услышал, вернее почувствовал, что кто-то прыгнул к нему в окоп. Боровой повернул голову направо. Рядом с ним в тесном окопе стояла на коленях девушка, красивая, немного испуганная и упрямо-решительная.

— Вам помочь? Меня позвали.

У ефрейтора задорно блеснули глаза:

— Вот те на! Довоевались! Бабскими руками, значит, отбиваться от немца будем? А ты, промежду прочим, с пулеметом-то умеешь обращаться?

— Промежду прочим, умею, товарищ боец.

— Тогда вставляй ленту. Будешь, значит, у меня за второго номера.

Так они начали бой. И сразу их словно что-то сроднило, будто воевали они вместе давно-давно: он — широкоплечий, громоздкий, в лихо сдвинутой набекрень шапке, она — худенькая, бледная, с перепачканным землей лицом и удивительно светлыми, лучистыми глазами. Боровому хотелось расспросить девушку: кто она, почему пришла в окоп, под пули? Хотелось будто невзначай, ненавязчиво сказать о себе: он, дескать, уже третий год воюет, имеет два ранения, а сегодня получил легкое третье, за поимку немецкого разведчика представлен к ордену. Но для расспросов и рассказов о себе не имелось времени. Немцы были совсем близко, они шли вплотную за танком. Боровой, крепко держась за ручки «максима», поливал их огнем. Все время, пока он стрелял, его не покидала мысль, что красивая девушка, так неожиданно появившаяся в окопе, снова уйдет в тыл, он не узнает ее имени, не познакомится с ней.

Валонцы залегли посреди улицы, прямо в грязи. За первой — вторая цепь, потом третья, четвертая... Они ждали, пока замолчат русские пулеметы. А танк с плоской башней продолжал двигаться к плетню, к траншее. Его пулемет молчал. Из пушки танкисты били по какой-то дальней цели. Это казалось особенно зловещим. Боровой понял, что танк через какую-нибудь минуту-другую всей тяжестью навалится на его окоп, раздавит и его, ефрейто-

ра, и эту юркую сероглазую девушку, потом ворвется во двор.

— Уходи! — крикнул Боровому старший лейтенант Задеснянский, хотя сам не уходил, продолжал вести огонь. Ефрейтор не слышал голоса соседа. Он посмотрел на девушку, быстро сказал:

— Уходи! Нас обоих раздавит. Уходи скорее по траншее...

Танк на миг остановился. Его пушка слегка сдвинулась в сторону. Боровой ясно увидел узенькие полоски смотровых щелей на лобной части и в башне танка, такие узенькие, что они казались живыми, холодными, сердито прищуренными глазами.

Танк снова пошел вперед. Его пушка ритмично покачивалась, широкие траки гусениц подминали под себя жухлую прошлогоднюю траву. Смотровые щели приближались, росли, словно влезали в душу Боровому. Ефрейтор видел их, испытывал глухую ненависть к ним. Он быстро взял из ниши противотанковую гранату, одним рывком выскочил из окопа. Смотровые щели танка были направлены на него, пулемет нацелен прямо в его грудь. Боровой, однако, оказался проворнее немецких танкистов.

— Ах, ты, гадюка! — громко и зло проговорил он, бросая под гусеницу танка гранату.

Зося увидела, как пулемет на танке слегка задрожал. Потом раздался взрыв гранаты. Она разорвалась так близко, что взрывной волной Зосю сильно толкнуло в грудь. Танк дернулся и накренился набок.

Боровой еще некоторое время стоял на ногах, из последних сил старался удержаться, а между тем он был уже мертв: его грудь прошило последней пулеметной очередью из танка. Широко раскинув руки, ефрейтор упал. На его сразу осунувшемся лице застыла гримаса какого-то болезненного недовольства собой.

Танк лихорадочно продолжал крутиться на месте. Немцы-пехотинцы лежали в грязи. Над селом на некоторое время воцарилась тишина, будто сразу за взрывом гранаты наступил конец войны, будто никогда ее не было и не будет.

Теперь вместо Борового крепко держалась за ручки пулемета Зося. Задеснянский посмотрел поверх бруствера своего окопа и увидел неподалеку от продолжавшего крутиться танка распластанное тело ефрейтора. «Эх, парень!

Выходит, отвоевался, — подумал он и быстро перевел взгляд на Зосю. — А впрочем, спасибо тебе, брат! От всех нас спасибо!»

Ни Задеснянский, ни Зося не знали, что немцы дальше не пойдут. А впереди, где-то возле плотины, уже загремели выстрелы: третий стрелковый батальон вместе со своими соседями поднимался в контратаку. Начинался новый бой, может быть, последний на этой истерзанной, растоптанной, упрямой земле.

13

Майор Блюме внимательно смотрел на генерала Штеммермана и по выражению его лица, по нервному движению рук почти безошибочно определял, что происходило на поле боя. Медленно опустив большой цейсовский бинокль, Штеммерман растерянно пожал плечами.

— Кажется, русские опередили нас. У них танки...

Он не договорил, прижал руку к груди и тяжело сел на край раскладного стула. Глаза его остекленели, нижняя губа безвольно отвисла. Второй раз в это утро генерал впадал в транс, терял самообладание. Первый раз это случилось в момент появления над полем боя двух советских штурмовиков. Увидев их, Штеммерман так же, как сейчас, схватился за грудь и, словно одолеваемый астмой, торопливо расстегнул шинель. А когда загорелось несколько танков и долина перед окопами русских окуталась смолисто-черным дымом, когда остальные танки, подгоняемые смертоносным огнем с воздуха, повернули назад, к лесу, лицо генерала сделалось мертвенно-бледным, он в тупом отчаянии схватился за голову. Теперь повторилось то же самое.

Сначала все шло хорошо. Гаубичная артиллерия несколько часов подряд обстреливала позиции русских и окраинные улицы села. После обеда валонцы-эсэсовцы потеснили, наконец, русских, заняли их первую оборонительную линию и стали продвигаться к плотине. А там, за плотиной — Штеммерман был уверен, — открывалась прямая дорога на оперативный простор, там, как доносила разведка, у противника не было никаких промежуточных рубежей. Только бы удалось пробиться через село!

Вот взята и плотина. В бинокль Штеммерман хорошо видел, как поспешно отходили стрелковые подразделения от пруда и растекались между избами. Казалось, сопротивление сломлено, путь по главной улице села открыт. Конечно, русские могли контратаковать с флангов, навязать валонцам уличные стычки, но для настоящей контратаки у них нет сил. «Все будет так, как запланировано! Еще один удар, одно усилие — и мы выйдем на оперативный простор, — мысленно подытожил Штеммерман результаты незакончившегося боя. — С нами бог, воистину и во веки веков».

Он взял из рук радиста микрофон, почти торжественно приказал Липперту:

— Вперед! Вперед! Пусть ваши гренадеры не медлят. Настал решающий момент, дорога каждая минута.

— Герр генерал! Быстрое продвижение вперед по главной улице села, по-моему, небезопасно.

— Что? Вы боитесь западни, Гауф?

— Простите меня, герр генерал, и разрешите напомнить: русские никогда не отходят просто так, без определенного умысла. Если без боя оставили главную улицу, то, по всей вероятности, неспроста. Вы посмотрите правее, герр генерал, там у них окопы и траншеи. Вполне возможно, что это — вторая линия обороны.

— Ничего, все идет как надо, Гауф. Вторую оборонительную линию русских мы сомнем с ходу. У них мало сил, майор, и мы воспользуемся этим.

— Но, герр генерал, там может быть противотанковый или пулеметный заслон. Если мы влезем в эту щель между домами...

— Замолчите, Гауф! — свирепо сверкнул глазами Штеммерман. — Знайте свое место. Я не нуждаюсь в ваших предостережениях... Липперта к рации! — крикнул он радисту. — Герр Липперт! Приказываю усилить преследование русских. Не давайте им закрепляться! Вперед! Только вперед!

Гренадеры заняли плотину, вышли за пруд. Гренадеры ворвались на главную улицу. Гренадеры бежали дальше, сначала небольшими группами, прячась за домами, потом стали продвигаться более открыто.

Отсюда, из бункера, на расстоянии трех с лишним километров, Штеммерману трудно было видеть детали боя, но, представляя себе его картину в целом, он вдруг забе-

спокоился. Почему русские не контратакуют? Почему пренебрегают столь очевидной и единственной возможностью? Может быть, Гауф прав? Засада? Западня?

И как бы разрешая сомнения Штеммермана, в глубине села завязался упорный бой. Волна эсэсовцев накатилась на мощный пулеметный вал. Одновременно русские открыли огонь с флангов. Штеммерман видел, как в панике заметались гренадеры Липперта, увязая в грязи, шарахаясь от плетня к плетню, устилая трупами черную хлябь улицы.

— Танки!.. Почему Липперт не вводит в бой танки? — заорал Штеммерман. — Передайте Липперту мой приказ: немедленно бросить в бой танки, подавить русские пулеметы!

И вдруг его глаза сделались неподвижными, в них появился ужас.

— Кажется, русские опередили нас... У них танки, — произнес он упавшим голосом. — Они успели раньше.

Гауф и Блюме поняли, что бой проигран. Понял это, должно быть, и Штеммерман. Надо было как-то спасать положение, что-то делать, не медля ни минуты. Штеммерман вызвал к телефону командующего артиллерией и приказал возобновить обстрел села, распорядился сосредоточить на подступах к плотине два танковых батальона, вывести из резерва уцелевшие самоходки.

Генерал был полон решимости. Он так горячо принялся за дело, что в первые минуты забыл о неудаче, заставил себя поверить в успех. Если не сейчас, то никогда!.. Никогда!

Штеммерман старался быть спокойным и твердым, но его выдавал нервный тик — непроизвольное подергивание синевато-желтого мешка под глазом. И глядя на него, Блюме догадался: там, в селе, произошло что-то неожиданное. Подойдя к амбразуре, он навел бинокль на Ставки. Из боковых улиц, обгоняя друг друга, ведя на ходу огонь, мчались тридцатьчетверки. Блюме облегченно вздохнул: успели! Теперь, господин генерал, можете считать обреченной и вторую попытку прорваться. Русские танки сделают свое дело.

— Они отрезали валонцев, — прохрипел Штеммерман, обессиленно опускаясь на ящик у стены бункера.

— Да, те, что вошли в село, назад не вернутся, — мрачно подтвердил Гауф. Он принимал по рации сообще-

ния из батальонов и не смотрел на генерала. — Мои лучшие ребята...

Из динамика донесся приглушенный пулеметным треском панический крик:

— Говорит Зиберт! Говорит Зиберт!.. Докладываю: русские танки вышли на мой участок. Прошу артиллерийского прикрытия! Ориентиры черная яма, поворот шоссе.

Через несколько минут раздался полный истерического отчаяния голос другого командира:

— Докладывает Шванк! Вы меня слышите?.. Докладывает Шванк! Противник контратакует танками... Направление главного удара ориентировочно — стык с «Валонией». Где наши танки?

«Это, конечно, еще не поражение, — размышлял Блюме. — В резерве у Штеммермана — дивизия «Викинг», бронированный кулак, который генерал собирается ввести в бой. Теперь все будет зависеть от того, много ли у русских танков, сумеют ли они выстоять, если Штеммерман бросит в бой эсэсовскую танковую дивизию».

А пока тридцатьчетверки контратаковали.

— Я Шванк! — трещало в динамике. — Я Шванк! У меня нет связи с правым соседом... Русские перешли плотину... Они уже в долине...

Блюме наблюдал за смятением в бункере, испытывая одновременно чувство горечи и наслаждения... Так должно быть. Этого он ждал еще в Испании. Однако как велика цена тому, что происходит! Как много льется человеческой крови! Тут, рядом, его старый приятель Гауф, бесхитростный, простодушный человек, исполнительный офицер. В углу телефонист, совсем мальчик, которому, может быть, именно сегодня суждено сложить свою голову... И те, что орут и неистовствуют на своих батальонных КП, проклинают русские танки. Остановитесь, откройте глаза! Благословите минуту спасения! Немцы, сыны земли моей!..

Гауф взял микрофон рации, сжал его так, что побелели пальцы.

— Немедленно отходить! Стереотрубы и буссоли можно бросить. Радиостанции забрать или уничтожить! Схемы и кодовые таблицы сжечь!

Блюме помог генералу надеть шинель:

— Пора, герр генерал.

— О чем вы?

— Русские танки, герр генерал. Надо быстрее уходить, пока есть возможность.

Штеммерман застегнул шинель, надел фуражку, подошел к радисту.

— Попросите к микрофону бригадефюрера Гилле.

Радист привычно переключил тумблеры, вызвал штаб дивизии «Викинг», передал микрофон генералу.

— Говорит Штеммерман. Вы меня слышите, бригадефюрер? — устало произнес генерал. — Нас опять постигла неудача: выход блокирован. Русские танки перешли в контратаку. Готовьтесь к встречному бою!

И вот они опять наедине друг с другом — Штеммерман и Блюме. Впереди — изрытая гусеницами лесная дорога. Позади — автоматчики, личная охрана генерала. По сторонам — остовы сгоревших танков и автомашин, вороха снарядов и гильз, кучи армейского хлама, неубранные трупы.

Штеммерман шагает быстрым нервным шагом. Блюме едва поспевает за ним.

Дорогу переполз молодой солдат, без шинели и шапки, с забинтованной головой. Оглянулся, увидел генерала, встал на колени, молитвенно сложил руки и с безумно-торжественной улыбкой на бледном лице запел старинный псалом:

— О, пророк великий Исайя! В час, когда искупление близится к нам... Герр генерал, прикажите забрать меня отсюда!.. Я не хочу умирать, герр генерал... У меня дети...

Штеммерман и Блюме прошли мимо. И опять раненые, искалеченные, брошенные на произвол судьбы солдаты, танк с сорванной башней, обуглившееся тело танкиста на черной от копоти броне, разбитая повозка и рядом труп повозочного, без ног, с красной маской вместо лица.

Неожиданно генерал пошатнулся, болезненно дернулся, закрыл глаза:

— Конрад! Почему нет машины?.. Немедленно машину!

Он был по горло сыт ужасами и уже корил себя за то, что решил идти пешком. Чаще всего он видел войну через

окуляры бинокля и на извилистых линиях оперативных карт. Теперь она была перед его глазами.

Где-то недалеко сухо и коротко прогремели пушечные выстрелы, затем послышался лязг гусениц. Блюме безошибочно определил — тридцатьчетверки. Его охватило странное ощущение радости и смятения. Это смешанное чувство лишило его на несколько секунд самообладания. Рядом советские танки! Броситься в сторону, в лес, навстречу краснозвездным машинам, крикнуть: «Я коммунист! Я с вами, друзья!» — и тогда все станет иным. Никуда не надо будет бежать, прятаться. Только шаг в сторону, один шаг!..

Его чуть не сбил с ног шедший сзади автоматчик.

— Русские танки, герр майор! Слышите, они совсем близко, за лесом, — испуганно кивнул он в сторону сосняка.

Из чащи бежали солдаты. Полы их шинелей развевались, точно крылья вспугнутых птиц, наполненные страхом глаза искали укрытия. При встрече с генералом солдаты оторопело останавливались.

Молодой офицер с черным, увесистым парабеллумом в руке выскочил вперед и, размахивая пистолетом, стал кричать на бегущих. Он был властен, исполнен командирского самолюбия. Солдаты залегли, начали нерешительно окапываться.

Артиллерийская стрельба внезапно прекратилась, лязг гусениц и рев моторов начали удаляться. Вероятно, танки повернули в сторону.

— Герр генерал, машина! — подбежал к Штеммерману один из автоматчиков и вытянулся перед ним по команде «смирно» с видом человека, который по меньшей мере задержал продвижение русских танков.

Штабной автомобиль — широкая, ромбовидная коробка с пестро раскрашенными бортами — стоял возле старой, дуплистой сосны на обочине дороги. Блюме открыл заднюю дверцу, с традиционной офицерской чопорностью, придерживая Штеммермана за локоть, помог ему сесть. Сам опустился рядом. Два автоматчика устроились на капоте машины, один сел в кабину водителя.

И вдруг — замешательство. Автоматчик на переднем сиденье резко отшатнулся к дверце.

— Он же мертв! — прошептал солдат, уставившись на водителя.

Водитель действительно был мертв. Его лицо было желтым, глаза широко открыты, губы почернели.

Автоматчик кубарем вывалился из машины. Штеммерман и Блюме тоже вышли. Времени, однако, в обрез, нужно торопиться. Русские танки находились рядом, где-то за сосняком.

Блюме открыл переднюю дверцу, потянул мертвого водителя за рукав. Но окоченевший труп будто прирос к рулю. Убитый словно не хотел подчиняться приказу. Он сам теперь был властен над собой. Вот она, смерть, твердая и немая, как надгробный камень! Нет, герр генерал, не так уж красива смерть и на поле боя. Она мало чем напоминает картины ловкого иконописца империи Теодора Хейса, который изображал смерть немецких солдат как беспримерный подвиг: рука в патетическом самоотречении прижата к груди, наполненный благородным мужеством взгляд устремлен вперед. Нет, погибшие за фашистскую империю тоже становятся желтыми, трупно-желтыми, и от них тоже несет сладковатым, дурманящим запахом тления, на их почерневшие губы тоже садятся большие зеленые мухи!

Издали послышался вой снаряда. И сразу в лесу заплясали взрывы. Резкий, звучный удар прогремел рядом. На мгновение оглушенный, Блюме упал и только минуту спустя тяжело поднялся на ноги. Где генерал? Ага, вон он, под сосной, руки и ноги беспомощно раскинуты. Неужели убит?

Бронеавтомобиль перевернут взрывной волной. Рядом с воронкой, скорчившись в неестественных позах, застыли присыпанные землей охранники. И опять взрывы, где-то рядом, за деревьями. Лес гудел, как гигантский орган. Блюме прислушался. Ему показалось, что он слышит голоса русских. Неужели они так близко? Судьба словно искушала Блюме. Он боролся с собой, напрягал все силы, чтобы противостоять ее зову, но душа рвалась в лес, навстречу друзьям, прочь от зловещей воронки, от бесчувственного, оглушенного генерала.

Еще минута — и он решится. Довольно! Хватит играть со смертью! Перед воспаленным взором Блюме, как в кинематографе, пронеслась вся его жизнь: тесные комнатки подпольных явок, берлинские улицы, отряды шупо в черных касках, длинные, свисающие до земли флаги

со свастикой на ратуше, Берлинский вокзал, лицо Хорста в форме нацистского летчика...

В лес! В лес! К людям с приветливыми, открытыми улыбками! К друзьям с красными звездами на касках!..

Блюме услышал стон Штеммермана. Обернулся, увидел вытянувшиеся к нему старческие руки.

«А как быть с этим? Оставить генерала одного с бригадефюрер Гилле? Нет! — Блюме ощутил к старику невольную жалость, смешанную с чувством неприязни. Сомнения развеялись. — Я должен выдержать до конца».

Он поднял Штеммермана на руки, сделал несколько шагов. Потом, чтобы удобнее было нести, вскинул почти безжизненное, обмякшее тело генерала на плечо. «Я все-таки должен спасти его. Он еще может сделать правильный выбор, а это значит — сохранить жизнь тысячам немцев».

14

Вновь назначенный комбат, который должен был сменить Зажуру, появился неожиданно. Это был широкоплечий, крепко сложенный майор, с широким, добродушным, открытым лицом, испещренным мелкими морщинками. В нем с первого взгляда угадывался бывалый фронтовик, из тех, что успели как бы сродниться с войной, с солдатами, с окопами и превосходно чувствовали себя в любой обстановке.

Майора в немалой степени удивило, что он встретил Зажуру с незажившими ранами на передовой, в блиндаже, а не в светлой и теплой госпитальной палате.

— Нам, дорогой товарищ, еще воевать и воевать. Напрасно вы пришли сюда с этими бинтами, — сказал он Максиму с грубоватой прямолинейностью, бесцеремонно глядя на подвешенную на тесемке его раненую руку, обернутую грязным бинтом. — Меня за войну шесть раз ранило. В прошлом году в Воронеже доктора даже перевязывать не хотели. Говорят, позже, дескать, перевяжем, сейчас нет времени. А я вижу, чувствую, просто не хотят на меня попусту время тратить. И такая меня взяла досада, как закричу: «Перевязывайте, черти полосатые! Я жить хочу!» Ну, конечно, сделали перевязку, успокои-

ли. Отлежался я тогда в госпитале на совесть, дорогой товарищ! До полного излечения. Поел, попил, отоспался. Потом еще и дома побывал. Ну, а пришло время, опять стал воевать. Вот потому и говорю тебе, дорогой товарищ, напрасно ты с больной рукой в окопы залез.

Слово «залез» в устах майора прозвучало добродушно, безобидно, и все же в нем чувствовалось что-то схожее с упреком: тебе, дескать, дорогой товарищ, не место здесь, отправляйся-ка ты долечиваться подальше в тыл!

— Я не по своему желанию пришел сюда, товарищ майор, — не скрывая обиды, ответил Зажура. — Я выполнял приказ старшего командира. И, как видите, дело свое мы сделали.

— Вы что, обиделись, дорогой мой? — искренне удивился майор, перейдя неожиданно на «вы». Дружески положив обе руки на плечо Зажуре, он усадил его на деревянный ящик из-под снарядов. — Слушайте, у меня есть бутылка французского вина. Правда, дрянь, медок, но все-таки давайте выпьем для знакомства. Где ваш ординарец? Эй, солдат, принеси посудины! Да быстро! — Он извлек из кармана бутылку с яркой этикеткой, откупорил и, когда солдат принес кружки, разлил в них поровну вино. Свою порцию опрокинул в рот одним глотком, даже не чокнувшись с капитаном. — Сволочи эти немцы! В котле сидят, а в благородных играют: французское вино... Ну ты, браток, право, не обижайся! Иди сейчас к какой-нибудь тетке в село, она тебе баньку устроит по-нашему, по-сибирски... Это, дорогой мой, роскошь в нашем положении. Пойми, я, может, расцеловать тебя хотел за то, что ты промучился ночь в этих окопах, и был бы рад воевать вместе с тобой, но жаль твою молодость, жаль видеть тебя такого, в бинтах. Оттого и злость разбирает.

Из траншеи, что начиналась сразу за входом в блиндаж, послышался громкий оклик, затем хохот и тяжелые шаги. Приподняв плащ-палатку, в блиндаж протиснулся солдат-ординарец.

— Товарищ капитан! Там наши шпиона поймали, от немцев шел, — доложил он.

— Ведите сюда.

— Вот он! — не без гордости сообщил вернувшийся через минуту солдат, держа за ворот кожушка что-то сгорбленное, скрюченное, в большой заячьей шапке-ушанке.

Задержанный сдвинул шапку на затылок. Зажура пригляделся и чуть не ахнул от неожиданности: перед ним был отец Зоси, лесник Становой.

— Напрасно вы его задержали, — засмеялся Зажура. — Никакой это не шпион, а партизан из села Ставки. Я его знаю.

— А зачем он к немцам ходил? — покосился на Станового солдат. — Он же от немцев шел, товарищ капитан!

Обладатель заячьей шапки с радостным оживлением бросился к Зажуре.

— Вы!.. Вы, товарищ капитан, не обращайте внимания на его болтовню, — кивнул он в сторону солдата. — Я шел с задания, возвращался к своим. До села всего километра полтора оставалось. Ну, думаю, пронесло, слава богу, остался живой, а тут вдруг мне под бок автомат: «Стой, буду стрелять!» У меня секретное поручение, товарищ капитан.

Зажуре почему-то было горько смотреть на старика. Что осталось от прежнего, всегда чисто выбритого, хорошо одетого лесника, каким он помнил его с довоенных лет! Тогда Становой с гордым видом разъезжал на линейке, в коричневых высоких сапогах, в белой вышитой украинской сорочке. Зимой появлялся в селе на запряженных парой ярко окрашенных санках, в старинной добротной шубе на лисьем меху. А сейчас!..

— Я Зажура! Не узнаете меня?

Становой от неожиданности вытаращил глаза и на миг как бы остолбенел.

— Товарищ капитан!.. Максим Захарович!

— Ну вот что, товарищ Становой, — решительно и немного насмешливо сказал Максим. — Сейчас я иду в село и забираю вас как свой трофей. И скажите спасибо, что встретились со мной, а то ведь солдаты народ недоверчивый, особенно к тем, кто от немцев приходит. — Обернувшись к майору, он спросил: — Вы, надеюсь, не станете возражать, товарищ майор, если я возьму его с собой?

— Бери, дорогой товарищ, — махнул рукой комбат. — Мне сейчас не до допросов-расспросов. Сами разберетесь там, что к чему.

Подписав акт о сдаче батальона майору, Максим вместе со Становым направился в село.

— А теперь давайте поговорим по душам, — остано-

вил он лесника возле покосившегося плетня. — Скажите правду, что стало с партизанским отрядом, когда атаковали аэродром?

Мог бы спросить яснее: кто виноват в разгроме отряда? Однако удержался.

Лесник пожал плечами, скорбно сузил глаза. О бое за аэродром он, истинный бог, ничего не знает. Он был тогда далеко от отряда, ходил на задание, а вернулся — никого не застал. Сам едва не попался к немцам. Бог весть, как вырвался.

— Где тогда была Зося?

— Кто ж ее знает! — Сухонькое лицо лесника сделалось печальным. — Она тебе вроде женой приходится, а как там у вас вышло, мое дело сторона.

— То, что было, кончилось. Хватит! Я о другом спрашиваю: где она была, когда партизаны атаковали аэродром?

— Хватит так хватит, меня это не касается, — продолжал Становой. — А где была в ту пору Зоська, не знаю. Я давно ее не видел. — Лесник осторожно старался освободить плечо от крепко сцепленных пальцев Зажуры. — Будь добр, отпусти ты меня, Максим. Срочно нужно к начальству. Я же говорил, что у меня секретное задание.

— Хорошо, идите, — отпустил Максим лесника. — Крепко вы тут напартизанили.

Становой поправил на голове заячью шапку и зашагал вдоль улицы, обходя стороной лужи.

Зажура долго смотрел ему вслед. «Чудно у тебя выходит, дорогой тестек: «не знаю», «не ведаю». Не поешь ли ты вместе с дочкой немецкую песню?»

Теперь все его мысли сосредоточились на одном: что произошло с отрядом в ту страшную ночь? Кто предал партизан? Спасся Задеснянский — его вынес из-под огня Василек. Осталась Зося, хотя тоже была в отряде, участвовала в бою. Жив старый лесник, отец Зоси. Не все, конечно, погибли. А старик что-то хитрит, прикидывается простачком.

Максим стал вспоминать, что говорил Задеснянский о Зосе. Мало, очень мало рассказал он. Зося сообщила Павлу и Задеснянскому о провале ставкинского подполья и предупредила, что немцы усилили охрану аэродрома. Значит, кто-то выдал им замысел партизан. Может, она и выдала? Тогда почему предупредила? Не логично. А ее

отец? Он, говорят, хорошо, честно воевал, был надежным связным. Но почему Павел не поверил Зосе? Почему не отменил намеченную операцию по нападению на аэродром? Хотя, по словам Задеснянского, сначала отменил, а в конце дня сказал: атакуем! При этом недвусмысленно намекнул, что не всякому слову нужно и можно верить.

«Может, вообще лучше не вмешиваться в это дело? — мелькнула в мозгу Максима безвольная мысль. — Пусть занимаются следственные органы. Они докопаются до правды, найдут виновных. Найдут и покарают предателей».

От этой мысли у него защемило в груди.

«Найдут предателей!..» А кто они, эти предатели? В конце концов, предал кто-то один. Следственные органы тоже могут ошибиться. Люди могут назвать случайно или по злому умыслу десятки тех, кто невиновен, и на них тоже падет ядовитая тень подозрения. Может случиться так, что слухи о Зосе подтвердятся, и тогда оправдается гнев матери.

Гнев матери!.. Как он мог усомниться в ее словах? Может, Зося и не предательница? Но ведь она путалась с немцами, угождала им. Возможно, действовала по заданию подпольщиков? Тогда почему Задеснянский не сказал об этом? И Плужник промолчал. Они-то должны знать истину. И, безусловно, знают, но, видно, не хотят сказать.

Максим собрался было повернуть к своему дому, когда неподалеку остановился грузовик с крытым кузовом. Зажура подошел к нему: может, водитель не знает, куда дальше ехать, заблудился? Из кабины, приоткрыв дверцу, выглянул генерал. Максим сразу узнал его — это был Рогач, командир дивизии, с которым он выехал из госпитального городка на бронетранспортере.

— Скажите, капитан, до немца еще далеко? — спросил генерал и вдруг улыбнулся, вышел из машины. — Зажура! Ты что тут бродишь?

— Товарищ генерал! По вашему приказанию...

— Помню, помню! — приветливо сказал Рогач, похлопав Максима по плечу. — Помню, капитан! Молодец! Майор Грохольский представил тебя к ордену. Говорит, вчера ты тут чуть ли не батальон сформировал из местных жителей. И дрался на славу.

— Все сформировалось само собой, товарищ генерал, — скромно улыбнулся Зажура. — Батальон сделал

все, что мог. Да летчики помогли: сначала штурмовкой с воздуха, потом пулеметами на земле.

— И об этом знаю, капитан. Молодцы!.. А я вот с немцами приехал, с коммунистами. Пусть потолкуют со своими соотечественниками. Пока по радио, а потом пошлем парламентеров к окруженным. Как думаешь, пойдут на капитуляцию?

Зажура вспомнил утренний бой, атаку немецких танков, вспомнил, с какой яростью била по нашим окопам и по селу вражеская артиллерия, как рвались вперед эсэсовцы. Враг был еще сильным, дерзким, не терял надежды вырваться из котла.

— Вряд ли сдадутся добровольно, товарищ генерал, — серьезно, с нотками тревоги в голосе сказал Максим.

— Я тоже не очень надеюсь, но попробовать можно. Среди окруженных не одни эсэсовцы. Есть там, думаю, и другие немцы, есть, возможно, антифашисты. Они помогут. — Генерал оглянулся на стоявшего возле заднего борта машины человека в немецкой шинели. — Кстати, познакомься, капитан. Ефрейтор Курт Эйзенмарк, старый немецкий коммунист, один из руководителей подпольной группы в корпусе Штеммермана. Воевал в Испании.

Немец подошел, отдал честь. Он любил порядок, привык к дисциплине и при случае умел с блеском показать эту привычку, которая высоко ценилась в верной прусским традициям фашистской армии.

— Будем знакомы, товарищ капитан! — сказал он, приложив руку к пилотке. При этом его розовощекое, полное лицо осветилось приветливой улыбкой.

«Курт!.. Курт Эйзенмарк! Где я слышал эту фамилию?» — Зажура долго и серьезно смотрел в голубые, улыбающиеся глаза немца.

Генерал, уловив в его взгляде что-то необычное, догадался:

— Вы, кажется, знакомы?!

Максим молча сделал шаг вперед, протянул немцу руку, тепло, с удовольствием пожал его полную ладонь.

— Так точно, товарищ генерал, знакомы. Давно знакомы. Встречались в Лориане, во Франции. Вы помните меня, Курт? — спросил он немца. — Помните Лориан, гостиницу?

— Я, я! — отозвался Эйзенмарк. — Удивительная встреча!

Собственно, ничего удивительного не было. Наверное, правду говорят, что земля тесна. Тот, кто много путешествовал, знает это по собственному опыту. Вчера он, Максим, случайно встретил бельгийца Ренна, а сегодня — новая неожиданная встреча с Эйзенмарком. Их пути вновь скрестились. Общие дороги, общая борьба друзей.

— О, нет! Леопольд Ренн не есть мой друг, не есть мой товарищ. Он есть фашист, эсэсовец, — поспешно произнес немец.

— Ваш друг Ренн — фашист?! — удивился Зажура.

— Я, я!.. Ренн есть фашист, — повторил Эйзенмарк. — Плёхо, очшень плёхо, что он бежал. Его надо было стрелять.

Зажура вопросительно посмотрел на генерала. Тот хмуро свел брови. Он мог бы объяснить капитану, что случилось с эсэсовцем, мог бы назвать виновника происшествия, однако в глубине души считал виновником прежде всего самого себя: не раскусил фашиста, поверил его клятвам. Не желая вдаваться в подробности, Рогач сухо бросил:

— Да, капитан, удрал валонец, недосмотрели.

С этими словами генерал повернулся к машине. Эйзенмарк отдал Зажуре честь.

— Хочу вас еще встречать, геноссе!

— Свидимся, обязательно свидимся.

Эйзенмарк перепрыгнул через лужу, подбежал к грузовику. Из-под брезента ему кто-то протянул руку. Машина тронулась и, разбрызгивая колесами грязь, поехала дальше.

Зажура долго смотрел ей вслед. Вдруг за спиной раздался крик, отчаянный, испуганный:

— Товарищ капитан! Там Зоська убила дядьку Плужника! Идите к леснику, товарищ капитан!

Обернувшись, Зажура увидел Василька верхом на взмыленной неоседланной лошади. Вначале он никак не мог сообразить, что случилось и чем так взволнован мальчик, а когда слова Василька дошли до его сознания, тот уже понесся куда-то дальше.

В ушах Максима звучало одно слово: «Зоська». Он должен пойти в дом лесника, его там ждут. «Зоська». Вероятно, сама послала Василька разыскать его, Максима. Он должен идти к ней, идти немедленно.

«Она убила дядьку Плужника!..» Что это? Может, он

не понял Василька? Нет! Ясно же слышал: она убила дядьку Плужника. Ноги вдруг отяжелели. По спине пробежал холодок... Она убила партизанского командира и теперь ищет помощи, оправдания. Просто и ясно. Он, Максим, — ее последняя надежда, он должен выручить, спасти ее от смерти.

Шагал вдоль улицы, точно ослепленный. В одном из дворов дымила солдатская кухня. К стене соседней полуразрушенной избы притулился танк, немного дальше — другой. Танкисты в комбинезонах, с перепачканными маслом лицами меняли траки гусениц... Сейчас он все увидит, все узнает. Он сам пристрелит ее, как последнюю тварь. Пусть не имеет права вершить самосуд, но он все равно пристрелит. Потом будь что будет! Он должен наказать предательницу!

Вот и двор лесника. Большой, пятистенный дом из толстых бревен — настоящая лесная крепость. Сени из темных досок, высокие ворота.

Во дворе — ни души. Максим быстро прошел к высокому крыльцу с четырьмя точеными стойками, резным карнизом и крепкими, широкими ступеньками лестницы. Поднялся, дернул за ручку дверь. Закрыто изнутри. Вокруг тишина. Рванул со всей силой, с отчаянной злостью. Не поддается. Припал ухом к двери, замер, прислушался. В ответ — прежняя тишина. Забарабанил по двери кулаком с такой силой, что, кажется, задрожал весь дом.

Что, заперлась? Может, приготовила оружие? Ничего, красавица, откроешь! От людей и от ответственности не спрячешься за дверью!.. Зажура стоял на крыльце, слушал тишину, а сердце в груди стучало пулеметной очередью.

Заставил себя успокоиться. Обошел вокруг дома, заглянул в одно окно, в другое. Высоко, трудно дотянуться. Нашел чурбачок, встал на него, долго всматривался в глубь комнаты. Полумрак и тишина. Не мог же Василек соврать. Не такой он парень, чтобы обманывать. А может, сбежала вместе с отцом? Пока в лес, а там, глядишь, и к немцам. Не потому ли старик Становой так торопился? «Срочно нужно к начальству. У меня секретное задание». Может, в том и состояло «секретное задание», чтобы убить Плужника?

Зажура еще раз обошел вокруг дома, заглянул в каждую пристройку, в каждую щель. Богатый дом. Не дом,

а полная чаша. Чего только тут нет! Здесь она жила вместе с отцом. Расти, дочка, красуйся кому-то на радость! С таким добром не пропадешь, найдешь себе мужа по душе!

Откуда-то послышался стон. Мгновение тишины, и опять стон, слабый, протяжный, вымученный... Стон умирающего.

Тут только Максим заметил след от дома к сараю. Дверь сарая была полуприкрыта. Вынув из кобуры пистолет, Зажура взвел курок и осторожно протиснулся в узкий створ. В нос ударил запах сена и смолистых, недавно нарубленных дров.

Прерывистый, со всхлипами стон доносился из угла. Максим в полутьме сделал несколько шагов и увидел распластанное на земле тело — в кожушке и заячьей шапке. По шапке и узнал хозяина дома лесника Станового.

15

После неудачного боя под Ставками Штеммерман и Блюме прибыли в ближайшее тыловое село, на запасной командный пункт корпуса. Генерал вновь обрел решительность. Приказал радисту вызвать по рации Липперта, отдал командиру «Валонии» распоряжение о продолжении атак. Майор Блюме, уже успевший поговорить с Гауфом по радио, осторожно напомнил генералу, что пехотный полк и эсэсовская бригада «Валония» под натиском советских танков оставили занимаемые утром позиции и отошли в глубь кольца окружения. Штеммерман не хотел верить. Он не допускал мысли о поражении. Но вскоре безразлично махнул рукой. Вспомнил утренний бой — и протрезвел. Все к черту! Конец! Никаких надежд! Он лег на койку, закинул руки за голову, устало закрыл глаза.

Блюме продолжал объяснять обстановку. Дивизия «Викинг» задержала продвижение русских танков, однако не исключено, что советские войска будут снова атаковать. Имеются и приятные вести. Только что получена радиошифровка от генерала Хубе.

— Где она? Покажите! — сразу оживился Штеммерман. Жадно впился глазами в листок бумаги. «Мои танки

в Лысянке, — сообщал Хубе. — Ждите нас в ближайшие дни. Верю — сталинградская трагедия не повторится».

Штеммерман знал, что под командованием Хубе — семь танковых и несколько пехотных дивизий. Сила! Значит, еще не все потеряно, еще есть надежда. О, боже всемогущий! Штеммерман снова откинул голову на подушку. Теперь он готов был ждать, готов был перенести любые испытания.

Опять послышался голос майора Блюме — корректный, задумчивый, успокаивающий. Неторопливо шагая по просторной комнате, Блюме заговорил о мужестве генерала Хубе, о его рыцарской верности долгу. Разумеется, генерал Хубе не пожалеет сил, чтобы выполнить волю фюрера. Ему можно верить. Но, к сожалению, положение немецких войск на внешнем фронте кольца недостаточно надежно. Совсем не случайно танковая группа Хубе до сих пор находится в районе Лысянки и не может ни на шаг продвинуться вперед. По только что полученным сведениям, русские остановили ее продвижение.

— Как остановили? — не хочет верить Штеммерман.— Согласно утреннему донесению...

— Обстановка изменилась, герр генерал. Простите, что докладываю с некоторым опозданием. Еще утром, когда мы находились на КП майора Гауфа, поступило донесение о том, что русские нанесли по группе генерала Хубе мощный контрудар и принудили ее перейти к обороне в районе Лысянки. Они бросили туда новые резервы — танковую армию.

Штеммерман нервно потирает лоб, внимательно смотрит на своего адъютанта. Что он за человек, черт его возьми? Какому богу молится? Почему докладывает о положении группы Хубе только сейчас, спустя несколько часов? Почему не доложил сразу там, на КП майора Гауфа? Не хотел беспокоить? Может быть... Впрочем, какая разница! Все равно он, генерал Штеммерман, бессилен что-либо изменить. Однако майор Блюме ведет себя довольно странно. Докладывает спокойно, будто не произошло ничего особенного. Заботится о своем генерале. Утром вынес его, Штеммермана, из самого пекла... Умный, смелый, исполнительный, безусловно честный, преданный офицер, только немного идеалист. Штеммерман ловит себя на мысли, что Блюме нужен ему, очень нужен. Без него он не выдержит и дня в этом страшном бедламе.

Правда, Блюме излишне прямолинеен и безжалостен в своих суждениях, но это лучше, чем низкое лицемерие, чем жалкая, пустая болтовня. В груди генерала неожиданно вспыхнула обида на Хубе, своего старого сослуживца. «Ждите нас в ближайшие дни!..» К чему напрасное обещание, если оно невыполнимо? Танковая армия русских!.. Неужели Хубе не понимает, что прорваться сквозь ее заслон невозможно?

В притулившейся в углу печке-голландке весело потрескивают сухие дрова. Яркие отблески пламени, причудливо изгибаясь, рисуют уродливые тени на стенах. Окна плотно завешены. В комнате теплый полумрак. Ночь погромыхивает канонадой, далекой, совсем не страшной, похожей на утихающий гром. Кажется, только что прошумела весенняя гроза и ушла за горизонт, как когда-то в Саксонии, в сонном местечке Бад-Шандау. Это было давно-давно, в дни беззаботного детства, в пору веселой юности...

Майор Блюме подошел к рации, приказал радисту подключить новые батареи, выпроводил солдата из комнаты. Светящиеся стрелки наручных часов майора показывали без пяти десять. Близилось время советских радиопередач для окруженных войск.

Генерал вроде спит. Или это только игра? Не услышит ли он ненавистные ему призывы?

Вдруг Штеммерман открыл глаза, повернул освещенное неровным розоватым светом лицо к майору.

— Включайте, Блюме. Я знаю все. Лишняя информация никогда не повредит.

В тоне — грустная насмешливость. Глаза из-под тяжелых надбровных дуг тянутся к зеленому ящику рации. Что это? Подозрение, проверка? Или на самом деле старику пришла в голову озорная мысль послушать русских?

Блюме вновь посмотрел на часы. Задумался. До передачи оставалось две минуты. Сейчас он, Блюме, услышит то, чего так долго, с таким напряжением ждал, ради чего его боевой товарищ Курт Эйзенмарк ушел за линию фронта. Гауф говорит, что переправился он удачно, даже помог русским отбить атаку эсэсовцев. Курт молодчина! Наверное, он уже встретился с друзьями из «Свободной Германии» и, как было условлено, сегодня обратится по радио к окруженным войскам.

— Включайте же, Конрад! Чего вы медлите?

Генералу не терпится. Он приподнялся на локте, и, кажется, еще мгновение — сам возьмется за ручки настройки. В голосе уже не любопытство, а суровое, настойчивое требование. Лицо замкнуто-настороженное, хмурое. Седые брови сдвинуты.

Зеленый ящик сначала отозвался тихой мелодией. Затем она зазвучала громче, еще громче. Блюме с замиранием сердца слушал аккорды бетховенской «Аппассионаты». Мелодия разносится по всей комнате, кажется, по всему дому.

И сразу все стихло, будто по взмаху палочки невидимого дирижера. Все замерло. Слышно лишь, как высоко в темном небе, точно в потусторонней дали, грозно гудят моторами ночные бомбардировщики.

Секундный шорох в динамике, потом властный, ровный, уверенный голос. Где-то там, в ночи, сидящий перед микрофоном человек рассказывает о результатах утреннего боя. Рассказывает спокойно и деловито, как обычный радиокомментатор читает заранее написанный текст. Напоминает о мужестве и храбрости окруженных войск, отдает должное тем, кто утром пытался вырваться из железного кольца. Ничего не скрывает, ничего не приукрашивает. Говорит правду о понесенных немцами потерях, о сотнях оставленных на поле боя трупов. И скорбно, с болезненным удивлением: «Для чего все это? Зачем столько пролито немецкой крови? Чьим повелением обречена Германия терпеть безумство нацистов, быть символом позора и ужаса?»

Дужки седых бровей на генеральском лбу свисают, будто наплывают на глаза. Лицо темнеет. Штеммерман спускает на пол ноги в теплых шерстяных носках, смотрит в невидимую даль, растревоженный и разочарованный.

Он не хочет слушать! Он боится этих до боли правдивых слов! Ему кажется, что он слышит голос своих собственных сомнений, своего собственного отчаяния. Кто осмелился впустить в комнату это отчаяние? Генерал Штеммерман еще не собирается сдаваться в плен! Генерал Штеммерман был и остается верным своему воинскому долгу перед Германией! Для него долг солдата превыше всего!

Генералу сделалось душно. Он обеими руками схватился за воротник свитера и расстегнул его.

Выключить, немедленно выключить рацию, чтобы не слышать этой болтовни. Ничего не изменится! Правда останется правдой! Его собственный голос молчит, испуганно залег в груди загнанным зверем и не отваживается вступить в спор с сомнениями.

Опять тишина, короткий перерыв. И вновь: «Ахтунг! Ахтунг!»[1] Но теперь уже другой голос: властный, сухой, решительный.

— Комитет «Свободная Германия» передает экстренное сообщение. Завтра, восьмого февраля тысяча девятьсот сорок четвертого года, советское командование во избежание напрасного кровопролития предъявит окруженным немецким войскам ультиматум о безоговорочной капитуляции. Для передачи ультиматума в штаб командования окруженных войск будут посланы парламентеры. Немецкий национальный комитет «Свободная Германия» призывает всех солдат, офицеров и генералов в этот трагический час проявить гражданскую рассудительность и сделать все возможное для успешного завершения переговоров.

Опять минута тишины. Шорох в динамике. Затем торопливый, нервно-возбужденный голос:

— Друзья! Это я, ваш боевой товарищ Курт Эйзенмарк. Вы слышите меня? Я заклинаю вас: Германия ждет своих сынов! Пора кончать грязную, кровавую войну, затеянную нацистами. Сдавайтесь в плен! В этом спасение. Спасайте себя, спасайте дорогую всем нам Германию!

Весело трещат в печке дрова. На стенах колышутся багряные отблески.

Генерал подошел к столу, протянул руку к зеленому ящику рации, пошевелил старческими, узловатыми пальцами. Хотел что-то сказать, но промолчал. Вновь лег на походную койку, с трудом проговорил:

— Воды, Конрад! И погасите свет... Не нужно света.

Блюме склонился над генералом, внимательно посмотрел на его страдальчески-бледное лицо, подал воды.

Штеммерман закрыл глаза и впал в тяжелое, болезненное забытье.

---

[1] Внимание! Внимание! (*Нем.*)

16

Задеснянский шел на боевое задание. «Яки» его эскадрильи сопровождали штурмовиков. Летчик чувствовал себя легко и уверенно. Вчера командир дивизии по телефону объявил ему благодарность. Пулеметчики авиационного полка задержали немцев в центре села, остановили ценой своих жизней. Задеснянский помнит полузаваленные окопы, присыпанные землей трупы механиков самолетов, распластанное тело рослого бойца-пехотинца рядом с подбитым немецким танком, окаменевшую фигурку женщины у пулемета...

«Милая Зося! Сколько раз ты выручала меня, спасала мне жизнь в самые страшные, в самые горькие минуты!»

Лицо Задеснянского озарилось задумчивой улыбкой. Он откинулся на сиденье, крепче взялся за рычаги управления. Милая Зося!.. Ему вспомнилось, с какой настойчивостью тащила она его в глубь леса, подальше от дороги. Проводила недоверчивым взглядом оппель и сразу принялась за дело. Проверила, заряжен ли переданный ей немецким майором парабеллум, аккуратно сложила под деревом оставленные шофером консервы и галеты, огляделась вокруг, потом подхватила его, Задеснянского, под руки и с трудом поволокла в лес. Он пришел в сознание, попытался подняться на ноги, но снова бессильно опустился на траву. Зося волокла его, задыхаясь, при каждом шорохе хватаясь за пистолет. Не верила немцам, до последнего момента не верила. Она знала, что немцы, даже эсэсовцы, умеют улыбаться, знала, как часто страшны их улыбки, боялась их.

А что думал тогда о немцах он, старший лейтенант Задеснянский? Наверное, то же, что и Зося. Впрочем, думать ему было невмоготу. Все случилось так неожиданно, как во сне. Ждал пыток — пришла свобода. Запомнилось: солдат направил ему в лицо карабин, но подошел офицер в дождевике, и смерть отпрянула.

— Двадцать первый, пора кончать! У нас горючее на исходе, — напомнил Задеснянский по радио командиру штурмовиков.

— Еще один заход, — послышался в шлемофоне спокойный, уравновешенный голос.

Задеснянский внимательно осмотрелся. Наступал ответственный момент. Закончив штурмовку, «илы» разомкнут круг и начнут перестраиваться для возвращения на аэродром. У истребителей осталось совсем мало горючего, а впереди — нелегкий путь. Впереди возможны и зенитки, и встречи с «юнкерсами», с «фоккерами».

Штурмовики выходят из круга неторопливо, будто им нет дела до бешеной стрельбы зениток. На их овальных колпаках играют ослепительно яркие солнечные всполохи. Внизу дороги, забитые до отказа немецким транспортом, внизу скопища танков, маршевые колонны. Кольцо вокруг армейской группировки Штеммермана сжимается все теснее. Окруженные мечутся в смертельной агонии.

На свой аэродром штурмовики и истребители садились парами. Задеснянский приземлился последним. В землянке его ждал подполковник Савадов. На столе лежала развернутая карта, оперативный дежурный наносил на нее обстановку.

Вслед за старшим лейтенантом в землянку вошла укладчица парашютов Клава Полухина. На ней туго стянутая ремнем шинель, до блеска начищенные хромовые сапожки. Пилотка кокетливо сдвинута набок и едва держится на пышных русых волосах.

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться к старшему лейтенанту Задеснянскому.

— В чем дело? Обращайтесь, только быстро.

— Товарищ старший лейтенант, я принесла вам новый парашют. Старый немного подмок. Я его просушу.

Ей было трудно дышать то ли от туго затянутого ремня, то ли по иной причине. Может, совсем ни к чему ее маленькая хитрость? В полку давно все знают, что она любит Задеснянского, только он, будто слепой, ни о чем не догадывается. После четырехмесячной разлуки не порадовал ее ни одним теплым взглядом, не сказал ни одного ласкового слова.

Когда Полухина вышла, Савадов осторожно взял Задеснянского за локоть.

— Тут приезжал майор из дивизии.

— Из контрразведки?

— Да. Я рассказал о вас все, что знаю, дал наилучшую характеристику, но майор потребовал, чтобы вы сами к нему пришли, как вернетесь из полета.

— Когда прикажете идти?
— Лучше сразу, сейчас.
— Я тоже думаю, лучше сразу.

Задеснянский отдал честь, круто повернулся, вышел. У Савадова побелел на щеке старый, давно зарубцевавшийся шов. Командир полка досадливо поморщился, но тут же мысленно проговорил, как бы напутствуя Задеснянского: «Все обойдется. Такой не даст себя в обиду, сумеет постоять за правду. А если что, скажем и мы свое слово»,

Взгляд Задеснянского бежал вдоль улицы. Летчик не поспевал за ним, хотя шагал широко и торопливо. По сторонам — темные, скособоченные заборы, приземистые, обложенные кукурузными стеблями избы, окна которых похожи на колодцы. Над окнами нависают стрехи крыш из полуистлевшей соломы. Почти возле каждой избы — высокий колодезный журавль с противовесом на другом конце. Им, журавлям, нет дела до войны, лишь бы повыше задрать голову да посматривать сверху на земные дела. А липкой, перемешанной с водой и снегом грязи на улице столько, что ни проехать, ни пройти. Видно, совсем недавно тут проревели моторами, прозвенели гусеницами танки. После них остались глубокие следы. Потом, вероятно, двигалась колонна машин и подвод с боеприпасами. Уличные топи засыпаны соломой и ветками, которые шоферы и повозочные подкладывали под колеса. Неожиданная зимняя оттепель стала прямо-таки бедствием и для стрелков, и для артиллеристов, и для связистов, и даже для танкистов.

Задеснянскому вспомнились дороги за линией фронта, над которыми он недавно пролетал: широченные грязные полосы, что тянутся от села к селу, похожи на свалки всевозможной техники, на кладбища полузатонувших машин. Наши продолжают наступать, теснить немцев, сжимать кольцо окружения! Он знал, какой дорогой ценой дается это, но радовался, что проклятая февральская оттепель оказалась бессильной остановить продвижение советских войск.

В селе много военных. Среди них то и дело мелькают гражданские ватники, серые женские платки, а чаще всего — фигурки ребятишек в больших сапогах, в отлитых

из автомобильных покрышек чунях, в старых кожушках, в солдатских шапках-ушанках.

«Вот это и есть единство народа и армии, — подумал Задеснянский с удовлетворением. — Все родные, близкие. И боль у всех одна».

Не каждое село, не каждую деревню и даже не все города в одинаковой мере зацепило военное лихо. Одним не повезло больше, другим — меньше. Вероятно, простая случайность. Задеснянскому не раз приходилось видеть почти дотла сожженные селения, а тут вроде не так и много пожарищ.

Опять вспомнился вчерашний бой, когда эсэсовцы из «Валонии» рвались к Ставкам. Мелькнула радостная мысль: хорошо, что и в теорию вероятности, во всякие там случайности люди иногда могут вносить свои коррективы! Если бы вчера немцам удалось ворваться в Ставки, они наверняка спалили бы село. Но атака была отбита, и село уцелело. В этом немалая заслуга и его, Задеснянского, и лейтенанта Северцева, и пулеметчиков из БАО. Тут уж не случайность, а, скорее, бесспорная закономерность.

Задеснянский разыскал отдел контрразведки, обратился к дежурному. Тот недоуменно развел руками: из «хозяйства» Савадова на сегодня никого не вызывали. Может быть, старший лейтенант должен явиться в дивизионную прокуратуру? Пусть зайдет, узнает. Тут недалеко, через дорогу.

Задеснянский направился в военную прокуратуру. Там его встретил низенький, плотный капитан, попросил сесть ближе к столу, достал из железного ящика папку, переспросил:

— Значит, из полка Савадова?

— Так точно, из полка Савадова. Старший лейтенант Задеснянский.

Летчик почувствовал странную настороженность. Что-то неприятно поразило его в поведении капитана: то ли его нервная торопливость, то ли подчеркнутое стремление казаться властным и по-начальнически солидным. Был он розовощекий, чисто вымытый и почти лысый: на его оголенный лоб спадало лишь несколько светлых волосков. Он все время нервно шевелил губами, словно что-то дожевывал. Говорят, душа человека — его глаза. У ка-

питана душой были губы: по ним без труда можно было определить и его натуру, и его настроение.

«Пустой человечишко, но облечен властью, и это возвышает его прежде всего в собственных глазах, — с неприязнью подумал о капитане Задеснянский. — Наверное, начитался криминальных повестей, потому и старается быть загадочным, невозмутимо-солидным и всезнающим».

— Итак, уважаемый старший лейтенант, приступим к делу, — сказал следователь не терпящим возражений тоном, будто заранее обвинял Задеснянского в преступлении, серьезность которого известна только ему, следователю.— У нас имеются некоторые материалы, касающиеся лично вас. Давайте во всем этом хорошенько разберемся, все выясним.

— Какие материалы? Что необходимо выяснить?

— Вот в этой папке имеются весьма интересные документы. И я еще раз говорю, они касаются вас, уважаемый старший лейтенант. Мда!.. Именно вас, — повторил он.— Три с лишним месяца вы находились в лесу, в отрыве от полка и не имели никакой связи с органами Советской власти. Так?

Слушать его было смешно и неприятно. Слово «в лесу» прозвучало как обвинение.

— Я был в партизанском отряде, а не просто в лесу.

— Да, да, я понимаю. Вы были в партизанском отряде и, конечно, хорошо знаете некую Становую?

— Как начальник штаба отряда, я лично давал ей задания, согласовывал ее действия.

— С кем согласовывали? — перебил Задеснянского капитан.

— С командиром отряда, с подпольщиками в Корсуне и Ставках.

— Ах, так! — разочарованно пошевелил губами капитан. — Значит, лично посылали Становую к немцам и согласовывали ее действия с подпольщиками? Что-то не совсем логично, уважаемый старший лейтенант. Придется напомнить вам кое-какие факты. — Капитан поднялся со стула, оперся ладонями на стол. — У нас имеются точные сведения, уважаемый старший лейтенант, что связная вашего партизанского отряда Становая, во-первых, несвоевременно предупредила вас о подготовленном немцами контрударе, во-вторых, она умышленно или неумышленно могла сообщить кому-то о готовившемся нападении

партизан на немецкий аэродром, и, в-третьих... К сожалению, это уже не подозрение, а точно установленный факт.

Капитан быстро подошел к окну, кивком подозвал к себе Задеснянского. На улице, неподалеку от избы, летчик увидел капитана Зажуру, который о чем-то беседовал с солдатами.

— Вы, конечно, знаете этого капитана? — обернулся следователь к Задеснянскому.— Так вот, он только что вернулся из дома лесника Станового. Ваша, с позволения сказать, партизанка, убила своего отца и здешнего активиста, боевого партизанского командира Плужника. Убила и скрылась!

Задеснянский оторопело уставился на торжествующе-замкнутое лицо следователя. Тот вынул из кармана пачку папирос, протянул летчику.

— Закуривайте! Я надеюсь, старший лейтенант, что теперь у нас с вами будет иной разговор. Факты, как вам известно, упрямая вещь.

17

Будь возможность, Зося проспала бы двое, а то и трое суток подряд. Сон представлялся ей сейчас величайшим чудом, наивысшей роскошью, какую только может даровать человеку судьба. Но этой «роскошью» Зося не могла воспользоваться.

К себе домой, в крошечную каморку на окраине Корсуня, она обычно возвращалась поздно вечером: днем неотложные дела, а ровно в полночь — радиопередачи за линию фронта. Для отдыха совсем не оставалось времени. Чтобы немецкие пеленгаторы не засекли рацию, приходилось всякий раз менять места передач. Вчера, например, Зося тащилась со своей «корзиной» чуть ли не за десять километров вниз по Роси. В город вернулась под утро. Только прилегла, поспала не больше двух часов — и уже время вставать: ровно к десяти надо успеть в центр города на явочную квартиру.

По улице шла, как обычно, спокойным, неторопливым шагом, с видом всем довольной, беспечной паненки: модная прическа, слегка подкрашенные губы, чуть-чуть нарумяненные щеки. Красивая, стройная, кровь с молоком!

Кокетливо переглядывалась с встречными офицерами, соблазнительно водила плечами: дескать, я бы рада всех вас осчастливить, но ничего не поделаешь — война! И грациозно несла свою головку с пышными темно-русыми волосами, «постреливала» по сторонам большими серыми глазами. Даже напевала про себя что-то легкое, бравурное. А в сердце кипела боль. Встреча с любимым, которой так долго и с таким нетерпением ждала, закончилась разрывом. Случилось то, что должно было случиться: он поверил болтовне односельчан, решил, что она, Зося Становая, предательница, «немецкая овчарка».

Да, она ожидала этого! Ее предупреждали, когда впервые зашла речь о подпольной работе. Ей прямо сказали, что придется выполнять неимоверно трудные задания, что от нее на время отвернутся знакомые, что односельчане, не зная правды, возможно, возненавидят ее, будут обливать грязью. Но это надо пережить, с этим надо смириться.

Ни постоянная опасность провала, ни гестаповские допросы и пытки, ничто, казалось, не могло сравниться с тем позором, который пал на ее голову и который она обязана была терпеливо сносить, не оправдываясь перед людьми, сносить с дерзостью и внешней наглостью настоящей предательницы.

Она, конечно, не могла знать, что Максим появится в Ставках в первые же дни после освобождения села. Встреча оказалась слишком неожиданной. Зося была застигнута врасплох, растерялась. У нее в первые минуты не нашлось слов для более или менее откровенного разговора с любимым. А ведь она могла бы, не раскрывая тайны, все объяснить ему, открыться перед ним. Он офицер, ему можно было кое-что рассказать. Ну пусть не все, а лишь намекнуть, что она не могла поступить иначе, что это был приказ совести, приказ сердца. Он понял бы и, не расспрашивая, отбросил прочь грязные сплетни, домыслы и наветы досужих кумушек.

Однажды Плужник сказал Зосе: «Мы могли бы пустить твоего братца в расход. Но сейчас это невыгодно. Напротив, очень даже хорошо, что мы имеем такую ширму. Антон — человек сволочной, предатель, негодяй, но он важный козырь в нашей борьбе с немцами, в твоей подпольной работе, и мы были бы дураками, если бы не воспользовались этим козырем».

Утром, когда за селом шел бой, Зося встретила Василька, который знал о ней все. Юный партизан только что вернулся из третьего батальона, весь в грязи, в расстегнутом полушубке, в лихо сдвинутой на затылок шапке-ушанке. По каким делам он был на передовой, Зося не знала. Сейчас паренек куда-то спешил. Увидев Зосю, он торопливо бросил ей, что немец прет и что дядька Максим вместе с солдатами гранатами поджигает танки. Василек побежал дальше, а сердце Зоси сжалось от тоскливой, мучительной боли.

«Если я сегодня не расскажу Максиму обо всем, он, возможно, никогда не узнает правды,— подумала она. — Надо торопиться, надо немедленно разыскать его, иначе будет поздно».

Зося решила идти на передовую. План ее был прост: разыскать Максима, потребовать от него клятвы не говорить никому ни слова о том, что услышит, и во всем открыться. Пусть он знает все. Он должен знать!

В школе, где размещался штаб полка, Зося спросила у пробегавшего по коридору офицера, неизвестно ли ему, где находится капитан Зажура. Офицер как-то странно посмотрел на нее, пожал плечами и побежал дальше. Зося вышла на крыльцо. Где же теперь искать его? Может, правда сама скажет потом о себе? Правда — сильная, правда — живучая. Это у лжи короткие ноги.

В тот день Зося так и не увидела Максима. Зато встретилась с его матерью и с Задеснянским. Когда последняя атака валонцев была отбита, Задеснянский проводил Зосю на крыльцо хаты Зажур. Она устало опустилась на скамейку, оперлась пылающим лбом о холодную стенку. Сидела так неподвижно несколько минут. Потом на ее плечо легла теплая женская рука. Зося вздрогнула и тут же услышала спокойный, неожиданно приветливый и ласковый голос Елены Дмитриевны: «На, доченька, выпей воды! Выпей! Слава богу, кажется, кончилось наше лихо».

Бой и в самом деле вскоре затих. К себе домой Зося вернулась поздно вечером. Долго не могла уснуть. В большом, пустом и неуютном доме ей отовсюду слышались пугающие шорохи. Зося ждала отца. Ей нужно было повидаться с ним, попрощаться и снова идти на задание в Корсунь.

Заснула только под утро, так и не дождавшись его: последние дни он почему-то не показывался в селе, отсиживался в лесу.

Домой он пришел только утром, в одиннадцатом часу. В глубоких морщинах его резко постаревшего за последнее время лица Зося увидела настороженность и испуг.

— Ну, дочка, спасибо твоему капитану! — кивнул он ей с порога. — Спас он меня от неминуемой смерти. Такая история...

И отец рассказал Зосе, как его задержали солдаты, как вели на допрос, а тут, слава богу, очень вовремя появился зятек, выручил его, старика.

— А где он сейчас? — с радостным волнением спросила Зося.

— Болтается где-то по селу. А зачем он тебе? Ты, Зось, не нужна ему теперь. В селе говорят, проклял он тебя и знать не желает. И все прокляли тебя, последними словами ругают, «овчаркой немецкой» кличут.

— Недолго осталось терпеть, папа. Те, что проклинают сейчас, потом спасибо скажут.

— Напрасно ты веришь в людскую доброту, девочка моя разнесчастная, — тяжело вздохнул отец, разделся, принес из кухни холодный суп, сел к столу, стал торопливо есть.— Не будет нам теперь жизни, дочка, не будет и прощения.

— Ладно, папа, кончим этот разговор. Он ни к чему,— нервно проговорила Зося. — Я пойду в село, а вы тут готовьте обед.

Она подошла к вешалке, чтобы надеть пальто. Но отец быстро встал из-за стола, взял ее за локоть и чуть ли не силой подвел к лавке, стоявшей возле окна.

— Садись и слушай! Имею к тебе одно дело... Может, выпьем понемногу со встречей? Ты, кажется, теперь уже не комсомолка? Теперь можно выпить. Не хочешь? Ну, хорошо, пусть будет так. Слушай же, доченька, слушай, родная! К Зажуре тебе идти незачем. Он сам говорил мне, что не хочет тебя видеть. И на своих партийных товарищей не надейся — они тебя не прикроют. Ты для них старалась, свою красоту в немецких кабаках проматывала, а теперь они же от тебя и отвернулись.— Отец зловеще понизил голос, дыхнул Зосе в лицо горьковатым запахом гнилых зубов. —Кто-то должен отвечать за гибель Пашки Зажуры. Понимаешь? Партизан предали. Кому-то

за это отвечать надо! — Он понизил голос до угрожающего шепота. — И отвечать будем мы с тобой!

— Прекратите этот разговор, папа, — резко перебила его Зося. — Вы же ничего не знаете!

— Я знаю не меньше твоего, дочка, — повысил голос отец, и его маленькая, костистая голова на тонкой шее стала похожей на голову хищной птицы. — Что ты работаешь на советскую разведку, мне известно. Знаю и о том, что тебе наобещали золотые горы. Но ты не очень-то верь. Они и таких, как ты, ставят к стенке, особенно если нужно на кого-то свалить вину за неудачу. — Он поднялся, прошелся по комнате. Глаза его налились тяжелой злобой. — Мы все теперь одной веревочкой связаны: и Антон, и ты... Да, да, и Антон, твой братец родной, гестаповских дел мастер! Люди все помнят, у людей крепкая память. За Антоном охотились партизаны? Охотились. И коль не словили, придется отвечать нам. Зуб за зуб, око за око. Так что, дочка, давай собираться в дорогу, пока не поздно. Такая наша доля.

Он открыл дверь в горницу, прикидывая, что захватить с собой, потом опять долго смотрел в бледное, испуганное лицо дочери. Зося слушала отца с тяжелым предчувствием, будто вслед за его словами должно было произойти что-то страшное. Она догадывалась, на что намекает отец, куда зовет ее. Догадывалась и ужасалась, боясь даже мысленно поверить в происходящее. В сущности, ее старый отец не злой человек. К чему же этот разговор?

— Ты погляди на меня. — Он стоял перед ней лицом к окну, низколобый, обросший рыжеватой щетиной, сгорбленный. — Ты только глянь на меня: кем я был и кем стал? Отец мой, а твой дед, был управляющим в имении княгини Лопухиной, имел богатство, уважение. А кто я теперь? Простой лесник, объездчик. И ты, внучка управляющего, как батрачка, возишься у печки, варишь, стираешь. Разве такой жизни я хотел для тебя? Соседи — грязное мужичье — ненавидят нас.

Догадка перерастала в уверенность. Зося улавливала горькую правду в гневных словах отца. Спеша, задыхаясь от бешенства, он напомнил ей о своем роскошном особняке в центре Корсуня, о фаэтоне и выездной паре белых рысаков, о своей молодости, проведенной в Петербурге, где учился в Лесном институте.

— Значит, вы хотели, чтобы сюда пришли немцы? —

с искренним удивлением спросила Зося. — Вы... ждали войны? А теперь хотите, чтобы я вместе с вами сбежала к фашистам? Как же так? Вы даже не спросили меня!

— Ты умница, Зоська, я знаю. И упрямая, в мать, — льстиво заговорил отец, садясь на лавку рядом с дочерью и пытаясь заглянуть ей в глаза. — Гордость твоя мне известна. Да разве к немцам мы идем? Я сам их ненавижу. Стрелял в них и буду стрелять. Пойми, Зоська, у меня деньги есть. Золото, драгоценности, марки, доллары. Вырвемся отсюда, княгиней станешь. Брата моего разыщем в Швейцарии. Там все наше богатство в банках лежит, тебя дожидается. Для тебя копил...

Зося с холодной ненавистью оттолкнула от себя отца. Он ударился головой о печь.

— Может, ты и наших продал? — обварила она его кипящим взглядом.

— Цыц, паскуда! Кто кого продал, пусть разбираются без нас, а тебя я не оставлю тут на расправу, лучше собственными руками задушу.

— Значит, правда? Продал! И Зажур, и меня, и весь отряд!

— Молчи! Задушу!..

В дикой злобе он схватил Зосю за плечи и с неожиданной силой отбросил к высокой кровати, отчего подушки разлетелись по всей комнате. Зося больно ушиблась о кроватную спинку, испуганно вскрикнула и затихла. Лежала перед отцом беззащитная, беспомощная, с бесстыдно оголившимися выше колен ногами. Дышала тяжело и прерывисто. Небольшие, как у девочки-подростка, груди ее, туго обтянутые платьем, поднимались и опускались.

От дикой злобы и бессилия в голове старого лесника точно помутилось. В памяти всплывали страшные сцены, которые он видел в гестапо: темно-бурые пятна крови на стенах, проволочная плеть в руках коменданта Рауха, истерзанные тела ребят из комсомольского подполья, которых гестаповцы выволакивали во двор и бросали в машину. Сейчас его, пожалуй, даже не пугала неизбежность расплаты за предательство, хотя он ясно сознавал, что рано или поздно придется отвечать. Собственная смерть представлялась ему чем-то мизерным по сравнению с теми смертями, которые он сеял вокруг.

— Ты, стерва, хочешь выдать родного отца? — задыхаясь, бормотал он, глядя на дочь, а из темных глубин памяти все отчетливее всплывали зловещие видения.

Зося молчала. Лицо ее было бледным, на глазах застыли слезинки. Обессиленная, почти в бессознательном состоянии, лежала она возле кровати с широко раскинутыми руками.

— Молчишь!.. Не хочешь говорить с отцом! — растерянно шипел лесник. — Всю жизнь старался для тебя, а ты...

Ему вдруг показалось, что она умерла. Он стал яростно трясти ее за плечи, умоляя очнуться.

Увидел возле уха дочери родинку, и его словно обдало жаром. Из старческой груди вырвался стон. Вспомнилось давно забытое, болезненно-близкое и родное.

...Маленькая девочка в ночной рубашке сидит за столом, щурит серые глаза на лампу. На пухлых щечках смешные ямочки. Он целует ее пышные волосы, долго смотрит на родинку возле уха. В комнате жарко. Игриво гудит в печке пламя, пахнет хвоей, смолистыми дровами. Молодая, красивая жена готовит ребенку постель... Как давно это было! Все исчезло, затуманилось, умерло.

Зося лежит на полу, возле печки, в порванном платье, с опухшим лицом. Подслеповато смотрит на окно. Рядом отец. Склоняется над ней, осторожно, очень осторожно, словно больного ребенка, приподнимает, завертывает с головой в ватное одеяло. Больше она ничего не видит, но слышит и чувствует, как отец, тяжело дыша, несет ее куда-то во двор, ступает по скрипучей лесенке крыльца, некоторое время топчется на месте, одной рукой открывает дверь, затем опускает Зосю на землю.

Она раздвинула головой концы одеяла, увидела: отец в сарае торопливо разматывает старую веревку. Быстро и проворно, так, что Зося не успела даже опомниться, опутал одеяло веревкой, точно сноп, придвинул живой сверток к стене. Вышел. Вернулся в сарай, достал торбу, начал что-то поспешно запихивать в нее. Немецкий автомат... патронные обоймы... Завязал торбу, огляделся вокруг.

В этот момент за воротами послышался рокот мотора. Знакомый голос окончательно вывел Зосю из забытья. Она рванулась всем телом, попробовала подняться. А-а-а!..

Отец мгновенно выхватил из торбы автомат, припал

к двери. Зосю оглушил дробный грохот выстрелов. Очереди гремят одна за другой. Отец вставляет в автомат новую обойму. Вновь выстрелы. Теперь стреляют и за воротами. Пули цвякают о стропила, о стену. На Зосю падают трухлявые щепки, сухая глина. Она высвобождает, наконец, одну руку, старается зубами развязать узел веревки. Отец поворачивается к ней. В его глазах — свирепый блеск, губы белые как бумага. Направляет на нее автомат и... тут же замертво валится наземь.

Зосю развязали. Крепкие солдатские руки помогли ей подняться. Вокруг стояли военные — полковник в длинной шинели, еще один офицер, несколько солдат.

— Пройдемте к крыльцу, там посуше, — говорит полковник. — Вы можете идти, Зося?

У нее подгибаются ноги, по всему телу — словно ожоги. Полковник бережно поддерживает ее под руку. Они останавливаются возле крыльца. Дует свежий ветер, пьяняще пахнет влажным спорышем.

Окончательно придя в себя, Зося внимательно смотрит на полковника. Узнала. Тот самый, который когда-то давно, больше года назад, прилетал в партизанский отряд с Большой земли, беседовал с ней, давал задание. Полковник, в свою очередь, приветливо смотрит на Зосю.

— Мы приехали за вами, и, кажется, вовремя.

— Я ждала...

Зося повернулась лицом к открытым настежь воротам. Возле стоявшей перед домом грузовой машины суетились солдаты, кого-то укладывали в кузов: не то раненого, не то убитого. Кто он? Так это же командир партизанского отряда Плужник! Что с ним? Голова безжизненно свисла вниз, полушубок расстегнут. Видно серую рубаху, воротник потемнел от крови. Неужели убит?

Заметив, как побледнела Зося, полковник взял ее за руку, слегка притянул к себе и, сурово сдвинув брови, пояснил, что Андрею Севериновичу уже ничем не помочь, он погиб от первой автоматной очереди.

Там же, за воротами, Зося увидела забрызганный грязью виллис.

— Пора ехать, товарищ Становая, — сказал полковник, направляясь к машине. Когда виллис тронулся, он глуховатым голосом добавил: — Вас ждут. Сегодня вам необходимо быть в Корсуне.

— Товарищ полковник, разрешите...

Зосе очень хотелось, чтобы ее завезли в Ставки. Не надолго, только на один час, ну хотя бы на полчаса, не больше. Но полковник, будто догадываясь, о чем она собирается просить, взял ее маленькую руку в свои шершавые ладони, с чуть заметной печалью в голосе повторил:

— Вас ждут, товарищ Становая. Дорог каждый час!

Сегодня Зосю тоже ждут. Ждут ровно в десять. Время не абстрактная сущность, особенно на войне. Зося прекрасно знает, что такое точность, что такое минута, даже секунда. Если бы тогда, в сарае, обезумевший от бессильного гнева отец обернулся к ней на секунду раньше, последняя его автоматная очередь досталась бы ей. Если бы Андрей Северинович подошел к воротам на секунду позже, он, возможно, не был бы убит.

Достаточно секунды, чтобы кто-либо из эсэсовцев окликнул ее, Зосю, и со зловещей улыбкой приказал пройти в гестапо. Только одна секунда, и может произойти страшное, непоправимое.

Нет, время не выдаст ее. Она, как всегда, точна. Идти совсем недалеко. В городе полно солдат и офицеров. Зося всем нравится, глаза встречных немцев жадно и похотливо ощупывают ее с ног до головы.

Явочная квартира находилась в небольшом деревянном доме на развилке двух улиц, почти в самом центре местечка, в лихорадочном водовороте, где сливались, переплескивались, скапливались разномастные потоки фашистского воинства, где блеск мундиров штабных офицеров перемешивался с грязными шинелями фронтовиков. Домик принадлежал полуглухой старушке, бойко торговавшей самогоном.

Сюда частенько забегали немецкие солдаты, бесцеремонно грязнили в сенях тряпичную подстилку, крикливо требовали шнапса. Пили тут же, стоя возле большой бутыли, или нацеживали шнапс в подвешенные на ремнях алюминиевые фляжки («О, русиш самогон-прима!»). Затем с шумом и смехом, в распахнутых шинелях, красномордые, вываливались на крыльцо, чувствуя себя почти счастливыми, почти спасенными от страшной русской артиллерии и не менее страшных партизан.

Для тайных встреч это было удобно. Пока солдаты усердно прикладывались к чаркам, Зося быстрой тенью пробиралась через палисадник в заднюю комнату, дверь

которой всегда была открыта. Через минуту-другую в комнату заглядывала хозяйка, потом выходила во двор, с привычной осторожностью осматривала через дырку в заборе улицу и только после этого звала в комнатушку немецкого гостя — майора Блюме.

Сегодня старушка была в комнате, хлопотала возле бутыли с самогоном. Лицо у нее испуганное. Булькает мутноватая жидкость. На стене неумолимо отсчитывают время ходики.

Зося прямо от порога спрашивает:

— Пришел уже немец, бабушка? — И вдруг: — Что с вами? Почему у вас дрожат руки?

Старушка смотрит на нее с укором, едва удерживает в сухих, узловатых руках тяжелую бутыль. Кажется, хочет что-то сказать, но не может, бессильно опускается на скрипучий венский стул.

Зося быстрым взглядом окидывает комнату.

— А!..

В затененном углу возле печки стоял офицер в мундире эсэсовца, держа руку на расстегнутой кобуре. На продолговатом, худом лице застыла злобная улыбка. Он вышел на середину комнаты.

— Очень рад познакомиться с вами, фрейлейн! — сказал он, чеканно произнося каждое слово.

Зося с вымученной улыбкой кивнула. Что это? Провал? Бежать поздно! На улице, вероятно, солдаты, а пистолет у нее за голенищем ботинка. Может, нагнуться, быстро нагнуться и...

— Почему фрейлейн смотрит на пол? Что-то уронила?

Голос у эсэсовца злой, едкий. В нем чувствуется неприкрытое желание поиздеваться над девушкой, может, даже довести ее до обморочного состояния. Сейчас эсесовец был для нее одновременно жизнью и смертью, судьей и палачом. Он мог арестовать Зосю, мог ограничиться комплиментом, мог пригласить на офицерский бал. Нет, комплиментом или приглашением тут не обойдется. Попалась Зоська! По-глупому попалась, сама пришла в недобрый час!

— Прежде всего я хотел бы знать, с какой целью и по какому случаю милая девушка решила приобрести себе богопротивного питья, что готовит для немецких солдат эта старая бестия? — Эсэсовец кивнул через плечо на испуганно застывшую у двери старуху.

— Я не для себя, господин офицер, — тоном послушной, готовой к покаянию грешницы ответила Зося. — Отец пьет. Соседи тоже просили.

— О, как у вас говорят, аморальность в семейном масштабе! И в какую же посудину собиралась девушка налить этой дряни?

— Я очень спешила, господин офицер, забыла взять бутылку. Возвращаться не стала. У бабушки всегда есть порожняя посуда.

— Врешь, красавица! — неожиданно взвизгнул эсэсовец, подошел к Зосе, грубо ощупал ее взглядом.

У него были белые брови, белые ресницы, белые волосы, и весь он был похож на картофельный стебель, проросший в темном подвале. Где только родятся такие слизняки! А нагнуться, достать пистолет невозможно. Эсэсовец следит за каждым движением.

Жизнь, видно, крепко потрепала Леопольда Ренна — это был он. Бельгиец и раньше не имел ничего святого за душой. В Испании на стороне республиканцев он оказался лишь потому, что мечтал о славе, о романтике, о громких словах похвалы, а теперь окончательно забыл о красивых иллюзиях. От прежних увлечений не осталось и следа. Теперь для него существовал лишь один бог — деньги, да еще — неограниченная власть над людьми.

— Милая девушка! — заговорил эсэсовец тоном бывалого следователя. — Одного моего слова достаточно, чтобы отправить вас в полевую жандармерию. А это пострашнее гестапо. Вы будете молить бога, чтобы он послал вам смерть. Слышите? Будете молить бога.

Зосе захотелось пить. У нее побелели губы. В подсознании еще тлела надежда: Блюме! Придет майор Блюме и спасет ее. Но эту надежду заглушила мысль о провале. Блюме тоже, наверное, выследили. Иначе как мог оказаться на явочной квартире этот белобрысый?

— Теперь скажите, девушка, когда сюда придет ваш друг и защитник майор Блюме? — словно разгадав ее мысль, спросил Ренн.

«Значит, действительно провал. Все кончено».

Зося недоуменно пожала плечами. Она не понимает, о чем спрашивает господин офицер. Пусть ведет ее в полевую жандармерию. Там разберутся. Теперь ей все равно.

Не спросив разрешения, Зося села на табуретку. Правая рука так близко от пистолета! Но сделать ничего нельзя: эсэсовец не отрывает от нее глаз.

— Я знаю, вы хотите жить. Молодая девушка живет мечтой о будущем счастье, о семье и детях. Это естественная мечта. Но вы должны мне помочь. Расскажите все, что знаете о майоре Блюме. С кем он связан? Какие сведения передает вам?..

В потоке вопросов Зося уловила спасительную нотку. Мысль снова напряжена. Возможно, Блюме еще не арестован? Да, вероятно, так. Если бы Блюме взяли, то эсэсовец не стал бы допрашивать ее здесь... Нет, он не арестован, он должен сейчас прийти сюда. Как предупредить его? А нужно ли предупреждать? Эсэсовец наверняка знает Блюме, следит за ним, но, по-видимому, действует пока в одиночку. Хорошо, если так. Может быть, он привел с собой солдат? Похоже, нет. На крыльце она не видела ни одного эсэсовца. Блюме должен прийти!..

Зося стала долго и путанно рассказывать о себе. Вспомнила детские годы, деда — управляющего имением, отца — лесничего. Да, в начале войны ее приневолили пойти в партизаны. Отца тоже. Но она ушла от партизан, а отец помогает немцам. Это можно проверить в гестапо. Отец всегда ненавидел Советскую власть, с нетерпением ждал прихода немецких войск. Советы разорили его, отняли большой дом в Корсуне, лошадей, выездной фаэтон. Отец много пьет, вернее, стал много пить, работая лесником. Она, его дочь, хорошо понимает отца. Когда живешь в вечном страхе, поневоле запьешь.

— Меня не интересуют ваши семейные приключения, — оборвал ее Леопольд Ренн. — Немедленно расскажите, при каких обстоятельствах вы познакомились с майором Блюме? Какие сведения он передавал вам?

Во дворе скрипнула калитка. Шаги! Спасительные шаги!.. Зося громко закричала:

— Что вы от меня хотите, господин офицер? Я не знаю никакого майора Блюме!

— Молчать! — вновь визгливо проверещал Леопольд Ренн, схватил Зосю за руку, с силой бросил на пол. — Я заставлю тебя говорить правду, красная сволочь!

Он тут же быстро обернулся на дверь и... встретился со спокойным, чуть насмешливым взглядом майора Блюме.

— Кажется, я пришел вовремя! Ты неплохо усвоил жандармские приемы, Ренн. Поздравляю!

— Конрад?! Наконец-то мы встретились.

— Не хватайся за пистолет, приятель. Я стреляю лучше тебя. К тому же дом окружен, бежать тебе некуда.

Блюме держался свободно, с уверенностью человека, которому ничего не грозит и даже радующегося тому, что произошло. Шинель на нем была туго перепоясана ремнем, сапоги блестели, козырек фуражки низко сдвинут на лоб. Блюме с элегантной вежливостью помог Зосе подняться с пола, затем вплотную подошел к Леопольду Ренну, буравя его внимательными, внезапно потемневшими глазами.

— Так вот каким ты стал, обер-лейтенант Ренн, то бишь оберштурмфюрер Ренн! Помнится, когда-то ты молился другому богу, называл себя коммунистом, затем надел мундир офицера СС, вновь перебежал к красным, изменил фюреру и опять вернулся сюда. Столько превращений и ни капли радости! Я очень сожалею. Итак, завтра утром ты улетаешь вместе с господином Дегреллем в Бельгию? Там тебя, вероятно, ждут?

— Как вы смеете! — завизжал Ренн. В этом его визгливом выкрике слышались скорее отчаяние, бессильный гнев, нежели чувство собственного достоинства. — Вы красный лазутчик. Вам придется отвечать перед...

В его горле словно что-то оборвалось. Он задыхался от негодования. И вместе с тем было видно, что его парализовал страх, липкий, неодолимый страх перед всесильным майором. Напоминание об измене раскаленным серпом подкосило эсэсовца. Он не в состоянии был понять, запугивает его Блюме или действительно знает о его встрече с советским генералом.

— Так вот, оберштурмфюрер Ренн. Мне очень прискорбно, но факты, которыми я располагаю, непременно заставят полевую жандармерию пересмотреть списки улетающих из котла. — В голосе Блюме вновь звучали легкая вольность, даже добродушие. — Видишь, к чему приводит поспешность. Ты опытный политик, имеющий за плечами немалый стаж всевозможных подлостей, предательств, и вдруг этот глупый, достойный сожаления шаг: попытка подставить ножку адъютанту генерала Штеммермана!

— Не адъютанту, а...

— Постой, Ренн! Имей уважение хотя бы к моему более высокому офицерскому званию. Может, ты уже не считаешь меня майором немецкой армии? Ну что ж, в таком случае мы сейчас же пойдем в гехаймфельдполицай, и там ты расскажешь некоторые пикантные подробности своей встречи с русским генералом. Надеюсь, ты не откажешься пройтись со мной в это хорошо знакомое тебе учреждение?

Лицо Ренна сделалось мертвенно-бледным, плечи обмякли, нижняя губа задрожала.

— Я не был в плену, — пробормотал он. — Не встречался с русским генералом. Чем вы докажете, что я...

— Вся двадцатая рота бригады СС «Валония» сдалась в плен, за исключением ее командира графа де Мерод, — невозмутимо продолжал Блюме. — А ты, если не ошибаюсь, был командиром взвода в этой роте. Не так ли? Я только что читал донесение. Оберштурмфюрер граф Мерод вчера по приказу бригадефюрера СС Гилле расстрелян за измену. Представляю, как ты будешь объяснять уважаемому бригадефюреру свой счастливый переход к русским и столь же счастливое возвращение! При этом обязательно расскажи и о задании русского генерала, которое ты поклялся ценой своей жизни выполнить. Да, оберштурмфюрер Ренн! В радиоцентре имеется точная запись этого поручения, ее передал нам твой давний приятель Курт Эйзенмарк.

— Курт?..

— Именно, тот самый Курт Эйзенмарк, которого ты, помнится, в сороковом году выдал гестаповцам. Твое досье, Ренн, могло бы послужить прекрасным образцом неограниченности человеческой подлости. — Лицо Блюме стало сурово-непроницаемым, в голосе зазвенел металл. — Ну как, Ренн? Встреча с бригадефюрером Гилле или Бельгия? Отвечай немедленно! У меня нет времени ждать. Гилле или место в самолете?

Из всех трудных положений, в которые не раз попадал Леопольд Ренн, он не знал более безвыходного и беспросветного, нежели то, в котором оказался сейчас, в этой полутемной, пропахшей самогоном комнате. Предательство и спасение! К предательству ему не привыкать. Но возможно ли спасение? Может, обещание Блюме молчать, не доносить на него бригадефюреру Гилле — просто обман? Он ничему сейчас не верил и проклинал то

мгновение, когда дерзкая прихоть толкнула его на розыски майора Блюме. Он молил бога, чтобы это был сон, дикий, кошмарный сон, после которого человек срывается с постели в холодном поту.

Нет, это не сон, а самая настоящая действительность! Блюме знает все. Проклятый, всемогущий, неуловимый и непобедимый, живучий как дьявол, Блюме и на этот раз оказался сильнее его, Ренна. Вот он стоит перед ним, красавец мужчина, опекаемый лаской и уважением своего генерала, тайно связанный с русскими, стоит спокойно, ничего не боится, знает, что пользуется полным доверием, что на всех нагоняет страх.

— Конрад! — хрипло произнес Ренн, испуганно озираясь по сторонам. — Я тоже знаю кое-что о тебе, о твоей связи с русскими. Но я не хочу зла. Вспомни наше прошлое, Конрад!..

— Не вспоминай о прошлом, Ренн. Прошлое требует твоей смерти.

— Нет, нет! Теперь я понял все свои ошибки.

— Короче! Ты летишь завтра в Бельгию?

— Лечу!.. Непременно лечу! Если имеешь охоту выбраться отсюда, место в самолете найдется и для тебя, Конрад.

— Растроган щедростью оберштурмфюрера.

— Я предлагаю от всей души.

— Замолчи, Ренн! — Блюме прошел в противоположный угол комнаты, рывком обернулся. Лицо его теперь было немного печальным и сумрачным. — Ты напомнил мне о прошлом. Но между моим и твоим прошлым нет ничего общего. Я осуждаю тебя на смерть! Моя рука не дрогнула бы сейчас вогнать в тебя все пули из моего вальтера. Но тебя спасает мундир эсэсовца. Прикончить офицера СС без следствия и рассмотрения дела в военном трибунале не разрешается даже адъютанту генерала Штеммермана. А теперь уходи отсюда! Чтобы завтра не было твоего духа на этой земле! Смерть пойдет за тобой. Она разыщет тебя и в Бельгии.

Ренн задом попятился к порогу, еще раз глянул испуганными бесцветными глазами на Блюме, затем на Зосю, что-то беззвучно, одними губами, пробормотал и вышел. На крыльце с минуту постоял, смахнул рукой со лба пот, жадно вдохнул воздух и словно в полусне зашагал к калитке.

18

Матери не было дома. В пустую избу идти не хотелось. Лучше уж пойти в любой соседний дом. Максима тут все знают, и он уверен — встретят приветливо, с уважением и любовью. От таких встреч всегда веет чем-то давним, из детских, незабываемых лет. И в самом деле, хорошо бы на час-другой отгородиться от войны, вернуться в беззаботное детство, почувствовать себя десятилетним пареньком. Нет, не получится, давно все забыто. Определенно не получится.

Он прошел мимо залитых талой водой окопов на огород. Потянуло дальше, за погост, на шоссе, за которым холодной тревогой дышали широко раскинувшиеся поля. Где-то за облаками прогудел самолет. Может, это Задеснянский? Методично постреливают пушки. Снаряды взрываются у самого леса. Сегодня немцы ведут огонь откуда-то издалека. Ставки живут в суровом ожидании, будто кочевой лагерь, разбитый на узкой косе меж двумя кипучими морями. Ненасытные волны бьют и бьют с обеих сторон, а все вокруг затаилось в предчувствии чего-то неведомого.

В небе опять загудели самолеты. Промелькнули стремительными птицами и исчезли, растаяли в синеве. Только еще долго над полями разносился металлический гул моторов, прерываемый время от времени орудийными всполохами у самого горизонта.

Когда-то давно, в былые казацкие времена, там тоже гремели пушки. Тогда, наверное, также на этих высотах стояли встревоженные люди, жители Ставков, Корсуня, Шендеровки либо Яблуновки, и по грохоту пушек старались определить, чья берет, как закончится бой между казаками и шляхтичами? А под вечер потянулись через села полки Богдана Хмельницкого. Пушкари ехали на взмыленных конях, с закопченными пороховым дымом лицами, молчаливые, как добрые молотильщики после тяжелого трудового дня. У многих конников порублены седла, погнуты сабли, слиплись от крови волосы. Вдоль дороги стоят простые хлеборобы, завороженные и счастливые, стоят женщины, девушки, дети. Сквозь густые тучи пыли им улыбаются молчаливые, устало-приветли-

вые лица мужественных воинов. Звенит удалая песня, бухают взрывы богатырского смеха...

От этих мыслей в душе Максима Зажуры что-то нежно тренькнуло. Он глянул окрест повеселевшими, чуть задумчивыми глазами, прислушался к нежному щебетанию серой длиннохвостой пичужки, присевшей на телеграфном проводе, тихо сказал себе: «Вот так и делается история моего народа — от войны до войны, от боя до боя, от одной беды до другой. И сколько же тебе нужно сил, родная земля, чтобы продолжать жить, никогда не умирать, чтобы на твоих просторах опять цвели сады, колосились хлеба, росли травы, чтобы в голубом небе над тобой по-прежнему весело и беззаботно пели жаворонки?»

Рядом, в десятке шагов от Максима, неторопливо плескался пруд — один из десяти, тянувшихся по задворьям вдоль всего села. «Наша венецианская аллея!» — вспомнил Максим шуточное название, которое дал прудам много лет назад кто-то из его школьных друзей. Сейчас вода в пруду была темной и неприветливой, будто в ней растворилась вся хмурость времени, точно недавний бой взбаламутил пруд, и ему долго еще придется отстаиваться, ждать тишины, чтобы очиститься. И людям тоже потребуется немало времени на все: на труд, на лечение ран, на воспоминания.

Вода в пруду слегка рябилась от ветра, о берег ударялись небольшие серовато-стальные, отливающие металлом волны. Максим попытался представить себе, как тут летом, рано утром или в обеденную пору, прячутся за густыми кустами ежевики заядлые рыболовы, часами наблюдают за неподвижными поплавками. Он спустился чуть ниже, увидел возле самой воды несколько забитых в землю колышков, к которым когда-то крепились цепью лодки. Внимательно осмотрев берег, вспомнил, что это было любимое место Панаса Станчика — Василькова брата, самого удачливого в селе рыболова. Панас словно обладал волшебством и всегда вытягивал таких крупных лещей, что у его соседей от зависти темнели лица. Прошлым летом, когда минометная рота Максима вместе со всей бригадой входила в прорыв на Курской дуге, он случайно встретился с Панасом Станчиком на позиции «катюш». Грудь земляка украшали ордена и медали, а на погонах поблескивали сержантские лычки. Кто-то из

командиров сказал Зажуре, что Панас Станчик обладает особым талантом — его «катюша» всегда накрывает немцев с первого залпа. Сержант Станчик на всю гвардейскую дивизию слывет лучшим наводчиком.

«Сколько среди наших солдат настоящих мастеров своего дела! — подумал Максим.— Жалко, не все они вернутся на тихие, спокойные берега, в свои любимые родные уголки».

Теплый луч солнца, пробившийся сквозь облака, золотистым бликом заиграл на широкой глади пруда, и вода сразу ожила, озарилась радостной улыбкой. Зажура точно услышал вдруг веселые всплески рыб над прудом и голоса людей на берегу, ему показалось, что где-то за избами вспыхнула песня. Сначала защебетала чистыми девичьими припевками на левадах, затем, подхваченная дружным хором парней, понеслась по всему селу.

Максим стоял у самой воды и зачарованно слушал, вырванный воображаемой песней из суровой действительности. И когда воображение растаяло, исчезло, он вновь вспомнил о золотистом солнечном луче, которого уже не было ни в облаках, ни на воде, но который по-прежнему видели глаза и согревались им.

Нет, что ни говори, в жизни все тянется к солнцу! Как бы ни было темно у тебя на душе, а взошло солнце, обогрело своими лучами землю, глядишь, и в сердце что-то прояснилось. Максиму вспомнилось, как часа три назад вбежал он во двор лесника, охваченный злобой и негодованием: в сарае — умирающий старик, на земле — порванная веревка, стреляные гильзы. Потом комната военного следователя, опаленные гневом глаза Задеснянского и прилизанный, суетливый капитан с въедливым взглядом.

Еще вспомнился звук шагов в коридоре. Кто-то, прежде чем войти в комнату, старательно сбил с сапог липкую грязь. Прилизанный капитан быстро одернул китель и застыл в напряженном ожидании.

Широко распахнув дверь, в комнату вошел полковник, высокий, худой и бледный, точно недавно вернулся из госпиталя после тяжелой болезни. Снял с головы папаху, озабоченно потер высокий лоб, по которому пролегла глубокая красная полоса. Увидев Зажуру и Задеснянского, резко спросил у капитана:

— Откуда? Кто? По какому делу вызваны?

Капитан торопливо, с некоторым подобострастием ответил, что оба офицера вызваны по делу Становой. Полковник нахмурился.

— Быстро вы, однако, умеете создавать «дела», товарищ капитан!

— Теперь все доказательства налицо, товарищ полковник.

— Ошибаетесь, капитан! — с некоторым раздражением произнес полковник, вытирая платком лоб. — Как раз теперь-то и нет никаких доказательств. Считаю своей обязанностью предостеречь вас, товарищ капитан, против необдуманных действий в дальнейшем.

— Товарищ полковник, Становая полностью изобличена. Она убила двух партизан.

— Она никого не убивала. В перестрелке с нами убит ее отец, предатель и изменник. От его выстрелов погиб командир партизанского отряда Плужник. Вот и все «дело», капитан.

Полковник подошел к Максиму, с интересом стал разглядывать его.

— Вот вы, оказывается, какой, Аника-воин. Ну что ж, будем знакомы. Я из штаба армии. Вильховый Петр Ануфриевич. Рад познакомиться и с вами, старший лейтенант Задеснянский. Наверное, удивляетесь, откуда я знаю вас. Служба такая, обязан знать. Хорошо, что застал вас вместе. Ну так вот. Вашу подружку, знакомую или кто она вам, не знаю как назвать, — Зосю Становую мы представляем на Золотую Звезду Героя. Надеюсь, нас поддержат. Она достойна такой высокой награды. Смелая, отважная девушка.

Тепло пожав на прощание руки Зажуре и Задеснянскому, полковник вышел, оставив следователя в полном недоумении и растерянности.

Пруд отсвечивал матовым серебром. По его шероховатой глади гулял легкий ветер, гнал к берегу поземку, отчего создавалось впечатление, что на льду играют, веселятся мириады мальков. Задумчиво качали головками камыши у берега. Во всем чувствовались непривычная тишина и покой.

Вдруг на узенькой улице, что сбегала к пруду, Зажура увидел Василька. Запыхавшийся, в заляпанных грязью сапогах, скользя по липкой глине, он спешил к Максиму.

— Товарищ капитан! Дядька Максим! — радостно закричал он издали.

— Ты передохни, Василек, передохни! — тепло обнял мальчика Зажура. — Вон как бежал, мокрый весь.

— Так мне приказали, товарищ капитан...

— Ну говори, что же тебе приказали? — шутливо переспросил Зажура.

— Мне приказали... А вы не дразнитесь, товарищ капитан, а то ничего не скажу. Вас вызывают в сельсовет.

Это было произнесено серьезным, уважительным тоном, хотя лицо Василька выдавало его нетерпение. Милый мальчуган! Обиделся на шутку, а тебе, видно, не до шуток, ты уже научился выполнять приказы, как настоящий солдат. Ну что ж, раз зовут, надо идти.

— А кто меня зовет? Кто теперь в Ставках председатель сельсовета? — не без заинтересованности спросил Максим: ему было вовсе не безразлично, кто из односельчан принял на себя обязанности председателя.

— Так вас же зовут, дядька Максим, — развел руками Василек.

— Меня? — Зажура наклонился к мальчику, взял его за плечи, пристально посмотрел в глаза. — Оставь свои шутки, Василек, и говори толком: кого избрали или собираются избрать председателем?

— Я правду говорю, товарищ капитан. Все хотят вас. Потому и послали меня за вами.

— Меня? Председателем? — недоуменно вскинул брови Максим и, словно пытаясь найти объяснение сказанному Васильком, окинул быстрым взглядом ближайшие сельские улицы. — Ну пошли, партизанская гвардия. Посмотрим, не ошибся ли ты адресом.

Они торопливо зашагали по грязным улицам, мимо обшарпанных изб, покосившихся заборов и плетней, опережая шумные, почти радостные, почти веселые толпы односельчан. Это были те самые люди, которые еще вчера, затаившись, в ужасе и отчаянии прислушивались к гулу боя и многие из которых сами участвовали в бою, стреляли в эсэсовцев, видели из окопов пылавшие вражеские танки. А сколько их не вернулось в свои хаты, сколько покалечено, изранено!

Боже, что за народ! Неужели все уже забылось? Нет, не забыто и не забылось. Люди вышли на улицы в партизанских шапках с красными лентами, в солдатских

фуфайках, многие с винтовками и автоматами. Пусть знают все, знает весь мир: они, ставичане, простые хлеборобы, от дедов и прадедов мирные труженики, вместе с такими же тружениками солдатами и офицерами выстояли в неравном бою, наперекор танкам, наперекор бешеным атакам немцев отстояли родное село, отогнали смерть и что для них, оставшихся в Ставках, снова наступила мирная жизнь со всеми ее успехами и недостатками, со всеми надеждами и радостями.

Необычность происходящего на сельских улицах невольно ощутил и капитан Зажура. Пусть он во фронтовой, ношеной-переношенной шинели, пусть его шея перевязана бинтами, пусть он утомлен, все равно он — ставичанин, свой человек тут, знакомый и близкий всем от ребенка до старика. Он понял волнение Василька и сам взволновался не меньше его. Вон и каменное здание с высоким крыльцом и водворенной на место после долгих месяцев оккупации огромной вывеской «Ставищанська сильрада». Площадь перед крыльцом до отказа заполнена народом. Кто-то под тыном (видно, после доброй чарки!) затянул песню про то, «як у лузи та пры дорози», а потом про «зореньку ясну» и про весь добрый людской род.

Кое-где в толпе мелькали солдатские погоны. Их было немного, но они стали как бы составной частью разбушевавшегося людского моря. Высокий, степенный солдат-сибиряк митинговал в тесном кругу ставичан, объясняя, какой им теперь нужен председатель. Лучше всего избрать фронтовика, доказывал он. У них в Забайкалье многие председатели Советов — бывшие фронтовики. И дело ведут как надо. Фронтовая закалка многое значит. Люди охотно и дружно поддакивали ему, согласно кивали и, казалось, были настолько убеждены его доводами, заворожены обстоятельностью его суждений (а женщины, может быть, и открытой мужской красотой!), что готовы были поставить его самого у власти. Такой мог бы словом и делом поддержать надежды ставичан, постоять за измученное войной село.

Пробираясь сквозь толпу к зданию сельсовета, Зажура понял, что Василек и в самом деле не шутил. Максим мысленно представил себе ситуацию. Люди считают его уже гражданским. Вернулся, дескать, в село раненый, значит, отвоевался, будет теперь жить в Ставках. А раз

так, он и должен быть председателем сельсовета. Пусть покомандует здесь, покажет свою власть и сноровку, как показал в окопах.

На собрании его фамилию назвали первой. Пришлось доказывать односельчанам, что, во-первых, он офицер и не сегодня-завтра ему снова надо будет вернуться в армию, а во-вторых...

— Нам не нужно ни во-первых, ни во-вторых, ни в-третьих, — загалдели в толпе. — Ты, парень, не отказывайся. Людям нужны твоя голова и твои руки. Вот мы тебя и назвали.

— В Москву напишем и в Киев. Там нас поддержат.

— Живого места нет на человеке, а он все свое — про фронт, про окопы. Хватит, сынок, навоевался ты. Теперь тебе самое место председательствовать и раны залечивать.

Тут учитель Тесля (предложение избрать Максима председателем сельсовета внес он) смекнул, что допустил промах. Снял с головы старую шляпу, поднял ее, призывая людей к тишине, не громко, но убедительно сказал:

— Выходит, граждане, ошиблись мы малость. Ведь и в самом деле Максим — человек военный, офицер. Не можем мы сейчас избирать его председателем. Ему воевать надо. Вон, слышите, гудит! — И повернулся в сторону фронта, откуда доносился гул артиллерийской канонады.

Председателем избрали Теслю. Голосовали простым поднятием рук, без соблюдения обычных в таких случаях формальностей. Голосовали все мужчины и женщины, которыми была заполнена площадь, вся пестрая толпа полушубков, пальто, ватников, шинелей, шапок и картузов. Голосовали глаза, руки, радостные улыбающиеся лица. Все голосовали с азартом и сердечной искренностью, какие бывают у людей только после тяжелого боя. Каждый чувствовал себя хозяином и гражданином.

А капитан Зажура? Он по-прежнему стоял на крыльце и счастливо улыбался, глядя на односельчан. Шапка на голове была чуть сдвинута набок, грудь выставлена вперед, в глазах — лукавый блеск. И всем хотелось заглянуть в эти глаза, улыбнуться им.

— Хороший сын вырос у старого Захара, — говорит какая-то круглолицая молодица, толкая локтем в бок соседку. — Красивый и умный.

— Все улыбается. Может, уже успел с кем-нибудь выпить по чарке? — отвечает ей подруга.

— А что тут такого? Разве грех? Такую силу сломали. Мой Петр говорит, что в этом есть и наша, бабья, заслуга. Если бы мы не поднесли патроны, нечем было бы воевать.

— И Зажуриха тоже тяжелую торбу несла.

— Ой, не говори! Елена Дмитриевна просто святой человек. Мужа потеряла, старший сын погиб, а она все о других заботится. Теперь вот полную хату детдомовцев набрала. Везли их куда-то немцы и не довезли.

— Нужно бы ей муки и пшена отнести. Ребят ведь кормить надо.

— Долго собираешься, подружка. Мы для нее сегодня на своей улице чуть ли не целый воз харчей собрали. И хату подправили, окна вставили. Возле зажуринского двора бой страшный был, все перекопано, деревца живого не осталось. Если ты, подружка, хочешь доброе дело сделать, пойдем побелим у нее в хате, а то знаешь, как оно жить в развалюхе.

— А что, пойдем и побелим. Я хоть сейчас готова. Побелка у Елены Дмитриевны, наверное, найдется, только забегу домой, щетку свою захвачу.

В сельсовете собрались вновь избранные депутаты. Большой стол в центре просторной комнаты поблескивал чисто вымытыми досками. Под низким потолком зависли клубы табачного дыма. Тесля снял шляпу, поднялся с торжественной улыбкой на сухом старческом лице, помигал веками, окинул близоруким взглядом присутствующих.

— Товарищи! Сердечно поздравляю вас с окончательным освобождением села от оккупации! — Потрогал рукой тонкую, морщинистую шею, глаза его повлажнели. — Прошу вас, товарищи, минутой молчания почтить память тех, которые отдали жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Все встали, склонили головы. Тишина. У женщин — слезы на глазах. Первым сел Тесля. Вслед за ним безмолвно опустились на свои места остальные. Вновь зачадили самокрутки. И опять негромкий голос Тесли:

— Объявляю первый пленум Ставкинского сельсовета открытым. Предлагаю следующую повестку дня...

Максим Зажура сидел в дальнем углу комнаты, смотрел на своего старого учителя и думал. Большую и трудную жизнь прожил старик. Перенес и боль утрат, и горечь разочарований. Всего навидался за свою жизнь, и ничто не сломило его. По-прежнему живет с доброй человеческой улыбкой на лице. Да, нелегкая штука жизнь. У каждого в ней есть что-то свое, заветное, у каждого свои трудности, печали и невзгоды, у каждого свои радости. Не все люди святые, не всех можно назвать ангелами, а вот завихрилась военная вьюга, сразу стало ясно, на что способен человек. Разлетелась шелуха, сила народного духа поднялась над мелким и низменным, каждому открылась большая, суровая правда. Жизнь не беззаботное времяпрепровождение, не мягкая постель, не теплый каравай. В нее вплетаются самые неожиданные кружевные узоры. Тут и темные ночи в окопах, и последние пулеметные очереди, когда израсходованы все патроны, и жгучая боль ран. Жизнь — это усталые глаза старого Тесли, видевшие так много, что всего и не запомнить, глаза суровые и строгие, но не разучившиеся улыбаться людям, умеющие видеть в каждом человеке великую силу добра.

В тот же вечер в хату Тесли пришли самые близкие его друзья, боевые соратники. Конечно, не все. Многих уже не было в живых.

Старый учитель так же, как в сельсовете на пленуме, а может быть, как в школьном классе, торжественно поднялся со своего места, долго ждал тишины, а когда она наступила, снял пенсне с толстыми стеклами, опустил веки, и тут все увидели слезы на его глазах, скупые старческие слезы радости и печали.

— Пью эту чарку за Максимова батька! — сказал он с чуть заметной грустью в голосе. — Пью за моего друга Захара Сергеевича Зажуру. Верю, что он жив, и хочу, чтобы не блукал он долго по чужим землям и быстрее возвратился в родное село. Хочу, чтоб не сразила его вражья пуля, не спалил проклятый огонь крематория, не испепелила его душу тоска. Знаю и верю, что этого не случится. Захар Сергеевич — достойный представитель зажуринского рода, а род этот от дедов и прадедов всегда был веселым и жизнерадостным. И нет такой силы,

которая может смутить Зажур, забрать у них смех и добрую улыбку, украсть у них песню. Вот так, друзья! Выпьем и споем, гости мои дорогие!

Всколыхнулись на стенах тени. Песня рождалась несмело и медленно, но постепенно заполнила все жилище, зазвучала громче, монолитнее. В тоскливых ее переливах послышались хорошо слаженные, давно спевшиеся голоса, словно собралось тут казацкое товарищество и в песне изливало свои трудные думы.

Зажурилась Україна,
Що нігде прожити:
Гей, витоптала орда кіньми
Маленькії діти.

Новоявленные ордынцы из «цивилизованной» Европы заливают кровью украинскую землю. Не с саблями, а с моторами и автоматами, с новейшими теориями убийства ворвались они в тихий край и своими зверствами затмили всю черноту татарских и ляхских набегов. Но песня свое знает. Она мудра и спокойна. Она как бы заранее предвещает: не было пощады захватчикам на нашей земле в древности, не будет ее и теперь.

Ой, щоб слава не пропала
Проміж козаками.
Ой, козак до ружини,
Бурлака до дрюку:
Оце ж тобі, вражий турчин,
З душею розлука!

Кому-то из сидевших за столом пришлась не по душе слишком суровая и печальная песня. Не мешало бы что-нибудь повеселее.

— Давай веселую! Веселую запевай!

— А какую?

— Все равно. Лишь бы рюмки не были пустыми и чтобы капитан Зажура выше поднял свою казацкую голову.

Веселая песня почему-то не ладилась, и Тесля, чувствуя это, невольно перевел взгляд на стену, где висел давний, выцветший от времени портрет Захара Сергеевича: на голове — высокая смушковая шапка червоного казака, шинель туго перетянута портупеей, взгляд напряженный. Будто знал человек, что ему предстояло вот

так долгие годы смотреть на свет божий. «Не будем печалиться, Захар, не видевши твоей смерти, — подумал старый учитель. — Пусть томятся и печалятся враги наши».

Максим тоже думал об отце и испытывал удивительное чувство, глядя на отцовский портрет. Такое чувство бывает, когда разлучит тебя судьба с родным человеком, но ты знаешь, что еще увидишься с ним, обязательно увидишься. Да и как может статься иначе? Разве под силу злой доле разрушить давний уклад жизни, порвать живые нити, разметать души? Все останется и будет жить, все должно быть так, как сейчас: и этот старый, добрый, умный учитель, и эти много потрудившиеся на своем веку односельчане, и эта земля, что радуется их победе, их возвращению.

Максим окинул взглядом учительскую избу. Почти точь-в-точь такая же как и зажуринская: старая-престарая, простояла, наверное, лет пятьдесят, а то и все сто, перешла к Ивану Григорьевичу Тесле от его добрых предков. Ничем на вид не примечательная, обычная изба хлебороба. Маленькие оконца. В кухне — огромная печь. Все по-деревенски надежно и крепко. Даже при артобстреле изба не пострадала. Она казалась сейчас Зажуре во много раз прочнее и долговечнее, чем вся «тысячелетняя» гитлеровская империя. Это была изба его рода, его земли, его дум, воспоминаний, детства.

Живя во время учебы в университете в огромном студенческом общежитии «Гигант», он не раз вспоминал свою избу в Ставках. Вспоминал материнские руки, что любовно подкрашивали стены, скребли и мыли пол, поливали цветы. Они и сейчас беззаботно пялят свои голубые, синие, розовые глаза на белый свет, цветы его далекого, невозвратного детства.

Тесля продолжал что-то рассказывать. Он снял очки. Значит, выпил изрядно. На переносье — красноватые вмятины. Старик трет их указательным пальцем, подслеповато жмурится. На нем поношенный синий пиджак, старенькая в полоску сорочка.

Вспомнилось довоенное, давнее, когда Максим был еще мальчишкой. В ту пору Иван Григорьевич часто заходил к Захару Сергеевичу. Год был голодный. Мать варила на всю семью пшенный кулеш и наливала каждому по неполной тарелке. Иван Григорьевич, тогда моло-

дой учитель, тоже голодал. На глазах худел от постоянного недоедания, но от предлагаемой Еленой Дмитриевной тарелки кулеша всякий раз вежливо отказывался.

Память Максима бережно сохранила одну из многих бесед между отцом и учителем. Тесля сидел в углу, возле окна, отец — у стола. Сначала они говорили о чем-то совсем тихо, потом отец вдруг ударил кулаком по столу и громко, с отчаянием произнес:

— Не могу! Понимаешь? Не имею права!

Тощая фигура учителя четко вырисовывалась на фоне окна.

— А люди начнут умирать. На это ты имеешь право?

— Ну чего ты от меня хочешь? — схватился за голову отец. — Ты же знаешь, сверху приказали. Обязан вывезти — государственный план.

— Знаю! — отозвался Тесля. — Только план — это мы с тобой и все ставичане. Перемрет народ с голоду, некому будет выполнять план.

Мать стояла возле печи и плакала, вытирая фартуком слезы. Многих унес голодный год. Зажуры выжили. Выжил и Тесля. А теперь отца нет, хотя Иван Григорьевич верит, что он жив. Но если Захар Сергеевич и умер, все равно что-то от него осталось в нем, Максиме, и в его учителе. После человека, который жил для других, непременно что-то остается...

Тесля встал, обошел вокруг стола, сел рядом с селянином в солдатской гимнастерке, нахмурил клочковатые брови, положил на плечо земляку руку.

— Когда-то вы говорили мне, Никита Степанович, про жалость христианскую. Теперь, видно, сами убедились: одной жалостью не проживешь. Когда на горло тебе становятся ногой, разучишься жалеть. Я тоже, хотя вроде и не положено так старому, не хочу жалеть. Вы думаете, мне легко было убивать того немца, что выскочил из танка? И все-таки я убил его, убил, потому что он враг. Выстрелил ему в сердце, вот сюда... И он упал. Мальчишка совсем, юнец, а я его в самое сердце, сразу насмерть.

Зажура догадался, о чем шла речь. Перед ним вдруг возникла картина поединка, который он видел собственными глазами.

Танк был близко. Он стремительно несся прямо на

Теслю. Учитель поднял руку, на секунду высунулся из окопа и бросил гранату. Взрывная сила развернула танк. Перебитая гусеница хлестнула по земле. Белый крест, намалеванный на борту, накренился и замер. Тесля вслед за гранатой бросил бутылку с горючей смесью. По танку поползли сизовато-желтые всполохи пламени. Открылся люк, и над ним среди дыма и огненных конвульсий появились две руки. Они тянулись вверх. Руки молили о спасении, за что-то цеплялись, горели. Потом показалась пилотка, потом белое, искаженное ужасом лицо. Тесля поднял автомат. Немец глянул на него и стал быстро выбираться из охваченной пламенем металлической коробки, оперся рукой о край люка, напрягся. Над башней уже была половина его туловища. И тогда старый учитель длинной автоматной очередью ударил врагу прямо в грудь.

Теперь он говорил, что ему было трудно убивать гитлеровца, словно старался оправдать себя. Казалось, что в душе простая человеческая жалость не хотела смириться с доводами рассудка, и от этого старик страдал.

«Удивительно складываются человеческие судьбы, каждая по-своему, у каждого на особый манер, — невольно подумал Максим. — Молодой немец, которого убил в бою Тесля, вероятно, совсем недавно был школьником, этаким не очень складным на вид пареньком в коротких штанишках, которого мать, провожая по утрам в школу, старательно причесывала, наказывала не шалить, внимательно слушать учителей. В классе ему приветливо и снисходительно улыбался учитель, может быть, такой же старый и чем-то похожий на Теслю, в таком же старомодном пенсне или современных очках. Его учитель, возможно, и теперь приветливо улыбается, только другим немецким школьникам. Или, может быть, гниет где-нибудь под развалинами разбитого дома. Но как бы то ни было, судьба его воспитанников бесславна. Не из-за таких ли учителей начинаются все беды на земле? История человечества — вечное учение. Одни учат строить, мечтать и любить, другие — убивать. Учитель держит в руках детское сердце. Он обязан лепить его, обязан готовить его к будущей жизни. Если же руки учителя грубы и нечутки, если он предпочитает убийство красоте жизни, то пусть не сетует потом на горечь утрат, блуждая между

чадными руинами разбитых городов, в горькой пустыне разрушенных иллюзий».

А за столом гремел дружный, раскатистый смех. Кто-то вспомнил, как перепугался сосед и теперешний собеседник Тесли, когда во время боя над окопами появились два советских штурмовика. Селянин в солдатской гимнастерке досадливо махнул рукой, обидчиво насупился. Смех загремел еще гуще, грохочущей волной разлился по всей хате. И тогда селянин смущенно провел рукой по верхней губе, будто разгладил отсутствующие усы, и тоже засмеялся дрожащим, идущим откуда-то изнутри смехом.

— Так они ж напугали меня до смерти, — признался селянин. — Думал, немец летит, капут, значит, мне, а оказалось — наши. Хорошие, видать, летчики!

— Один — Герой Советского Союза, — важно пояснил Тесля. — У нас партизанил, начальником штаба был в отряде. Прилетел как раз вовремя, а то бы не сидели мы сейчас за этим столом. И напарник у него, видно, смекалистый парень.

Задеснянский и Северцев прилетели тогда как нельзя кстати. Очень своевременно оказался летчик в селе и со своей пулеметной группой. «Отчаянный Виталий парень, — удовлетворенно подумал Максим. — С виду тихоня, мечтатель, добрый и задумчивый, а в бою — настоящий герой. Его воле и упорству можно позавидовать. И откуда это берется в человеке?»

Зажура прислушался к ночной тишине. Было в ней что-то затаенное и настороженное: не слышно грохота пушек, земля точно дремлет после перенесенных страданий.

Сегодня окруженным немцам вручили ультиматум: двадцать четыре часа на размышление. Выбирайте что хотите — жизнь или смерть. Последние двадцать четыре часа!..

— Ты что, Максим, улыбаешься? — крикнул ему через стол окончательно захмелевший Тесля.

— Так, ничего. Представил себе немецких генералов, как они читают ультиматум.

Ставичанин в солдатской гимнастерке безнадежно махнул рукой.

— Я так мыслю: немного будет пользы от этого уль-

тиматума. У них, у немцев то есть, мозгов нема. Что они там вычитают? За них фюрер думает. Гиблое дело.

Максим потянулся к стакану, повернул его. Стекло в свете лампы неярко блеснуло. Отодвинув стакан в сторону, сказал, подчеркивая каждое слово:

— Нет, Степаныч, дело не совсем гиблое. Все зависит от того, кто у них там держит настоящую власть, кто командует. С парламентерами ведь тоже как вышло? Сначала их не хотели принимать, а потом ничего, все обошлось, приняли.

— А ты что, Максим, и в парламентерах успел побывать? — спросил Тесля.

— С горнистом я говорил, с тем, что сопровождал парламентеров. От него узнал кое-что. Жутковато, говорит, было.

Горнист, с которым случайно познакомился Максим, в сущности, не был солдатом, хотя носил военную форму и числился в списках личного состава 1-го Украинского фронта. Максим хорошо запомнил его внешность и фамилию. Среднего роста, худощавый, с задорным блеском юношеских глаз, Кузнецов был трубачом фронтового оркестра, любил музыку, считался виртуозом своего дела. Возможно, он тоже тосковал по настоящим ратным подвигам. Но на войне человека не спрашивают, что ему больше по душе. Прикажут стрелять — стреляй, прикажут трубить — труби, а когда надо — с гранатой в руках под танк бросайся. Не у тещи в гостях! Все же, когда Кузнецова привезли на передовую и сказали, что он должен сопровождать парламентеров в качестве горниста, идти без оружия к несдающемуся врагу, его охватила робость. Лучше уж в бой, чем вот так, безоружным, навстречу неизвестности!

— Понимаете, товарищ капитан, как это неприятно, даже жутко: поднимайся во весь рост и иди навстречу вооруженным до зубов немцам, — говорил он потом Зажуре. — Они, возможно, будут стрелять, а ты молчи, стисни зубы и иди, пока не свалишься от шальной пули. Белый флаг, конечно, в какой-то мере оберегает. Но ведь немцев в лесу тысячи, и кто знает, не застрочит ли какой-нибудь бешеный из автомата, не прошьет ли пулеметной очередью?

Их было трое: подполковник Савельев, лейтенант Смирнов и он, рядовой музыкант фронтового оркестра Кузнецов [1]. В штабе фронта их проинструктировали, как себя вести, рассказали о международных конвенциях, охраняющих безопасность и неприкосновенность парламентеров. Но конвенции конвенциями, а на практике все могло произойти иначе: фашисты, как известно, в ходе войны не очень считались с конвенциями и международными правовыми нормами.

Старшим среди парламентеров был Савельев. Он имел полномочия на переговоры о порядке капитуляции окруженных войск и должен был вручить немецкому командованию ультиматум. Лейтенант Смирнов — переводчик. Ему же надлежало нести белый флаг. Обязанности горниста Кузнецова заключались в том, чтобы подавать сигналы о движении парламентеров. Все в строгом соответствии с законами международной правовой традиции и все на пределе смертельной опасности.

Восьмого февраля небольшой домик на окраине села, где размещались штаб батальона и передовой командный пункт полка, заполнили офицеры. Собрались все, кто имел какое-либо отношение к предстоящему событию. Старшим был высокий, стройный полковник. Он глянул на часы и после небольшой паузы, обращаясь к подполковнику Савельеву, сказал:

— Ну что ж, товарищи, если вы готовы, можно приступать к выполнению задания.

По привычке хотел было сказать «боевого задания», но ограничился одним словом — «задания». Еще раз глянул на часы и решительно махнул рукой. Это означало, что стрелка часов приблизилась к той точке, когда немцы должны были прекратить огонь и ждать парламентеров. Трое русских шли на смертный риск. Трое русских несли жизнь десяткам тысяч немцев.

Полковник подошел к Савельеву, посмотрел ему в глаза.

— До свидания, товарищ подполковник! — Секунду помолчал. — Счастливого возвращения!

Ему хотелось взять подполковника за плечи, обнять,

---

[1] Фамилии парламентеров в романе подлинные. Все три участника этого ответственного задания здравствуют и поныне. А. П. Савельев живет в Воронеже, А. В. Смирнов — под Москвой, А. Р. Кузнецов — на Украине. (*Прим. авт.*)

прижать к груди. Однако в последний момент он решил, что этим душевным движением лишь подчеркнет опасность миссии парламентеров, поэтому строго и даже несколько сухо пожал руки сначала Савельеву, потом Смирнову и Кузнецову.

Кто-то из присутствовавших сдержанно кашлянул. Затем находившиеся в домике офицеры о чем-то заговорили между собой. Негромко, почти шепотом, словно стесняясь нарушить торжественность момента. Время торопило. Пора отправляться в путь. Лейтенант Смирнов взял белый флаг, горнист Кузнецов — трубу. Дверь широко открыли. Влажный ветер донес с улицы в душную комнату запахи близкой весны.

— Сейчас придет солдат-разведчик. Он проведет вас к переднему краю, — сказал полковник, как бы подводя итог подготовки к выполнению задания.

Вошел разведчик, молодой, в лихо сдвинутой на затылок шапке, с озорными глазами, в которых прыгали лукавые огоньки. Полковник что-то шепнул ему на ухо. Солдат бодро кивнул и первым вышел на улицу. За ним двинулись парламентеры.

Небо светилось безмятежной теплой синевой. Оно не было особенно ярким, не было и облачным. Оно было просто чистым и ласковым.

Шли молча. Протоптанная в грязи стежка петляла вдоль заборов, потом через кладбище с окопами. Солдаты в окопах провожали необычную процессию любопытными взглядами. Все знали, что это — парламентеры, и всем было немного страшно за товарищей, которые шли безоружными в логово врага. Один из солдат даже сочувственно подмигнул Кузнецову, кивая в сторону леса: дескать, не бойся, в случае чего мы прикроем вас огоньком, только держитесь, не падайте духом!

Когда миновали кладбище, Савельев приказал разведчику возвращаться. Теперь в нем не было нужды. Солдат нерешительно остановился.

— Товарищ подполковник, дозвольте, я с вами...

— Куда? К немцам?

— С вами, товарищ подполковник. Все-таки вчетвером сподручнее. И потом, я в этом лесу каждую тропку знаю.

Хотя Савельев спешил (медлить было нельзя!), но все же ответил не сразу. С доброй и немного нервной улыбкой он положил на плечо разведчику руку. Ему захоте-

лось обнять отчаянного, мужественного солдата, однако он лишь слегка притянул его к себе и сказал, что дальше ему идти не следует. Парламентеров должно быть трое. Только трое! Немцы предупреждены. Если появится четвертый, они могут истолковать это по-своему, могут усмотреть в этом провокацию.

— Так что, дорогой товарищ, ты возвращайся, а мы пойдем. Нам пора. Спасибо за помощь!

Солдат резко повернулся (в его движении почувствовалась скрытая обида), сделал шаг в сторону кладбища, на мгновение остановился, бросил прощальный взгляд вслед парламентерам и быстро, почти бегом зашагал к разрытым могилам.

Было тихо. Все будто затаилось. Смирнов развернул белое полотнище, поднял флаг немного наискось, прижал древко к груди — так на демонстрациях носят большие красные знамена, в нерешительности оглянулся на товарищей и зашагал прямо к немецким позициям. Савельев догнал его, пошел рядом. Горнист коротко просигналил и, как бы стряхнув с себя сомнения, заспешил за офицерами.

Белый флаг отчетливо выделялся на черном поле. Издали он казался большим цветком, плывущим над растаявшей пахотой. Справа тянулось шоссе. Его высокая насыпь скрывала горизонт. Там, за насыпью, возможно, таилось самое страшное. Так и случилось. Из-за насыпи протатакала длинная пулеметная очередь.

— Вот мерзавцы! — зло произнес Савельев. — Помашите им флагом, лейтенант.

Белый флаг поднялся выше, трепыхнулся в воздухе, бутон цветка расцвел ярче. На него смотрело удивленное солнце. То, что происходило на земле, солнцу, наверное, казалось чудовищным: флаг примирения, флаг спасения — и пули!

Громко пропела труба. Савельев поднял руку — пошли дальше! Но над головами парламентеров вновь засвистели пули.

— Ложись! — приказал подполковник, и все трое плюхнулись на влажную пахоту. — Ну разве не сволочи, а?

Секунды ожидания казались неимоверно долгими. Вероятно, немцы решили оборвать все сразу. А может быть, их плохо проинформировали?

Плотная пулеметная очередь в третий раз прострочила впереди землю. По полям прокатилось звонкое эхо. Горнист на мгновение повернул голову в сторону кладбища. Ему показалось, что он увидел вздрогнувший ствол пулемета, увидел угрожающе поднятые вверх винтовки. Там, на кладбище, советские воины готовы были в любой момент прикрыть огнем своих товарищей.

Неужели это конец?

Савельев поднимается первым, и они опять идут. Немцы молчат. Черному полю, кажется, нет конца. «Только бы пройти шоссе. Еще немножко...» Кузнецову вспомнились слова инструктировавшего их генерала: «Вы, надеюсь, сами прекрасно понимаете важность задания. Понимаете и то, что гитлеровцы способны на любую подлость. Для них международные нормы — клочок бумаги. Я не хочу скрывать опасность вашей миссии, но непременно помните: мы — победители, они — побежденные, и держитесь как победители. Не просите, а требуйте. Вы идете спасать жизни тысяч людей, не только немцев, но и наших. Мы не хотим бессмысленного кровопролития».

Впереди показались фигуры в черных шинелях. Один из эсэсовцев держал в руке белый флажок, маленький белый лоскут был едва виден над полем. Вслед за первой группой немцев откуда-то, будто из-под земли, появилась вторая, побольше. Обе они одновременно двинулись навстречу парламентерам.

Савельев, Смирнов и Кузнецов выходят на шоссе. Немцы торопятся. Слышатся крики: «Парламентер! Парламентер!» Два солдата с автоматами на груди размахивают руками. Может быть, им приказано не пускать дальше советских парламентеров? Черные эсэсовские шинели, самодовольные морды. Эти, видно, еще не собираются капитулировать, продолжают на что-то надеяться?

Черные и зеленые шинели окружили парламентеров плотным кольцом. Высокий, широкоплечий эсэсовец с белым флажком в руке небрежно козырнул. Подполковник Савельев громко и отчетливо проговорил:

— Мы советские парламентеры!.. Переведите им, товарищ лейтенант, что мы, советские парламентеры, прибыли сюда по заданию своего командования, чтобы вручить командованию окруженных немецких войск ультиматум с предложением о капитуляции.

Смирнов перевел. Немцы о чем-то громко заспорили. Эсэсовец с флажком сделал шаг в сторону, приглашая парламентеров следовать за ним.

— Кажется, нас изволили принять? — сказал Савельев, обернувшись к переводчику и горнисту.

Теперь они шли по шоссе: в середине парламентеры, по сторонам — немцы. Левее были видны окопы. Из них с любопытством и надеждой глядели на парламентеров солдаты. Горнист посмотрел вокруг, и сердце его сжалось. Никогда прежде он не видел врагов так близко. Наша земля, наше небо, за холмом хаты нашего села, а тут, рядом, копошатся оккупанты, галдят по-своему.

Эсэсовец с флажком остановил группу: ему кто-то подсказал, что парламентерам надо завязать глаза. Он сделал шаг к Савельеву:

— Вир мюсен ойх ауген фербинден [1].

Повязок у него не было. Савельев вынул из кармана шинели носовой платок. То же сделали его товарищи.

— О, яволь! — обрадованно закивал немец и сам стал завязывать парламентерам глаза.

Каждого из них кто-то взял под руку. Двинулись дальше. Шли молча, без единого звука. Только слышно было как стучат по мокрому асфальту кованые сапоги немцев, да еще чье-то свистящее покашливание. Спустились с насыпи, повернули налево. Поднялись на взгорок, опять повернули влево, потом резко назад.

— Хирхер, битте! [2]

Сапоги застучали о доски крыльца. Скрипнула дверь. Горнист почувствовал, как в лицо ему ударило теплым духом жилого помещения — несвежим, с кислинкой запахом с какими-то резкими примесями, не то бензина, не то дешевого одеколона. Повязок с глаз не сняли. Немцы негромко, вполголоса переговаривались. Возможно, это был штаб какой-то передовой части.

— Мы должны вручить командованию окруженных немецких войск ультиматум! — отчетливо проговорил подполковник Савельев.

Смирнов слово в слово перевел фразу. Горнист стоял возле двери и по голосам пытался представить, что происходит в комнате. Ему хотелось видеть немцев, которые о чем-то продолжали переговариваться между собой.

[1] Мы должны завязать вам глаза. (*Нем.*)

[2] Сюда, пожалуйста! (*Нем.*)

Обидно, если все время придется оставаться с завязанными глазами, побывать в логове фрицев и не рассмотреть их как следует. О том, что миссия парламентеров может вообще закончиться ничем, а вернее, их пленением или гибелью, Кузнецов сейчас не думал.

Посовещавшись между собой, немцы направились к выходу.

— Мы должны вручить вашему командованию ультиматум! — властно повторил Савельев, чувствуя, что чья-то рука тянет его к порогу.

— Найн, найн! — ответил ему писклявый голос. — Ихь бин нихт бефольмехтигт. Зи мюсен вайтер фарен[1].

Снова свежий воздух, пьянящие запахи степного влажного ветра. Рев мотора. Звенящий хлопок открываемой дверцы. Везут, наверное, в главный штаб. Глаза неприятно сдавлены. Самочувствие скверное. Быть среди врагов с завязанными глазами — отвратительная штука. Кажется, ты совершенно один, весь в их власти. Может, они смеются над тобой? Может, унижают тебя? А ты ничего не видишь.

Машина остановилась. Парламентеров ввели в комнату. Тут было тихо. Пахло свежевымытым полом.

— Ди ауген! [2] — бросил кто-то из соседней комнаты.

С глаз парламентеров быстро сняли повязки. Светлая, с низким потолком комната. От обилия света горнист даже зажмурился. Застекленная дверь в соседнюю горницу чуть приоткрыта. Возле окна несколько офицеров в черных дождевиках.

Неожиданно застекленная дверь широко распахнулась. На пороге появился молодцеватый, холеный немец со множеством орденских планок на груди и матовым крестом на шее. Окинув прищуренным взглядом парламентеров, он кивком пригласил их в горницу.

Савельев и Смирнов скрылись за стеклянной дверью. Горнист остался один. Наступила тишина.

Начался последний акт исторического события.

За большим столом пожилой немецкий офицер в погонах полковника. Он медленно поднимается навстречу

---

[1] Нет, нет. Я не уполномочен. Вы должны ехать дальше. (*Нем.*)

[2] Глаза! (*Нем.*)

вошедшим. Взгляд твердый, без злобы и без учтивости. Губы плотно сжаты. Ни слова, ни тени улыбки.

Немец выжидательно смотрит на подполковника Савельева.

Савельев тоже ждет. Может быть, полковник поздоровается? Может, произнесет какую-нибудь подобающую моменту фразу? Молчит. Значит, надо начинать. Без амбиции, с достоинством и чувством суровой необходимости, коротко и ясно. Вот два пакета. Ультиматум...

Губы полковника наконец разжались. Усталым голосом, даже не пытаясь бодриться, он представился:

— Полковник Фуке, командующий артиллерией сорок второго армейского корпуса!

Савельев не расслышал фамилию, не ожидая перевода, спросил:

— Вы командующий всеми окруженными войсками или одного соединения?

Смирнов перевел вопрос. На лице старого немца впервые мелькнула грустная улыбка. В его голосе прозвучала скрытая ирония: если русские считают немецкие войска окруженными, то, по его, полковника Фуке, мнению, это не совсем так. Но каждый волен оставаться при своем мнении. Короче, его, полковника Фуке, командование уполномочило принять ультиматум.

Взяв пакеты, Фуке положил их на стол. Другой немец мягким движением открыл дверь, предложил Савельеву и Смирнову подождать ответа в соседней комнате. Они вышли. Дверь за ними с легким звоном закрылась.

Сквозь тонкую перегородку было слышно: полковник Фуке связался по телефону с генералом Штеммерманом, стал медленно и внятно читать ему текст ультиматума. Время от времени он останавливался, повторял только что прочитанную фразу, давал пояснения. Немцы, находившиеся в передней комнате, молчали, будто замерли, стараясь не пропустить ни одного слова, звучавшего за стеной.

После того как Фуке закончил разговор с генералом Штеммерманом, в первую комнату вошел офицер с крестом на шее. Спокойный, властный, он с минуту разглядывал подполковника Савельева, затем что-то шепнул на ухо стоявшему рядом обер-лейтенанту. Тот угодливо кивнул, вышел в кухню. Через несколько минут в комнате

появился солдат с бутылкой вина и тремя фужерами на подносе.

Офицер с крестом деловито разлил вино в фужеры, улыбнулся:

— Битте! [1]

— Товарищ лейтенант, скажите господину офицеру, что по русскому обычаю хозяин всегда пьет вместе с гостями, — холодно проговорил Савельев, обращаясь к Смирнову.

— О, извиняйт! Я понимайль. Яволь! — Холеный немец поднял вверх руку, щелкнул пальцами, затем быстро проскользнул в комнату своего шефа. Вернулся довольный, приказал принести еще бутылку вина и несколько фужеров. — Зеер гут! Это есть русский обычай,— удовлетворенно проговорил он, после чего учтиво приоткрыл дверь в горницу. — Герр оберст, аллес ист их орднунг! [2]

Вошел полковник Фуке. С холодной гримасой безразличия взял с подноса фужер, чуть пригубил вино, поставил фужер обратно. Немец с крестом на шее и остальные осушили свои фужеры до дна.

— Герр оберст ледт зи цу миттагэссен айн [3], — с едва заметным поклоном проговорил элегантный немец с крестом, обращаясь к подполковнику Савельеву, и ловко стукнул каблуками.

— Я, я! [4] — сухо подтвердил Фуке.

Савельев посмотрел на Смирнова, развел руками: к сожалению, он не может принять приглашения господина полковника: его миссия окончена и он спешит доложить своему командованию о выполнении задания.

— Я, я! — опять равнодушно кивнул Фуке, поворачиваясь к двери горницы.

— Господин полковник! — остановил его Савельев, придав своему лицу выражение официально-строгой торжественности. — От имени советского командования мы вынуждены заявить протест по поводу недопустимого инцидента. При переходе линии фронта мы были трижды обстреляны вашими людьми из пулемета. Вы, безусловно, понимаете, господин полковник, что подобное наруше-

---

[1] Прошу! (*Нем.*)
[2] Господин полковник, все в порядке! (*Нем.*)
[3] Господин полковник просит вас на обед. (*Нем.*)
[4] Да, да! (*Нем.*)

ние освященных веками международных правил не может способствовать успешному ведению переговоров.

— Ди шульдиген верден бештрафт верден! — отрубил Фуке. — Аллес? [1]

— Все, господин полковник, — со сдержанным раздражением сказал Савельев, после того как Смирнов перевел краткий ответ немца.

Фуке прищуренным старческим взглядом посмотрел на Савельева, будто собираясь сказать что-то особенно важное, но, так и не сказав ничего, вышел в горницу. Савельев понял его. В короткое мгновение он прочел в глазах Фуке безмерное страдание. Этот старый немец мог бы сказать ему многое, мог бы тут же, в этой светлой комнате с низким потолком, ответить на ультиматум так, как этого требовал здравый рассудок. Но законы службы были сильнее Фуке. Его миссия ограничивалась лишь принятием текста ультиматума от парламентеров. На большее он не располагал властью.

— Так, значит, вернулись наши парламентеры? — поинтересовался кто-то из сидевших за столом.

— Конечно, вернулись. А что им еще делать? Выполнили задание и пришли обратно. Кузнецов говорит, протест подействовал. На обратном пути в них никто не стрелял, — пояснил Максим и устало зевнул. От выпитого самогона, духоты и табачного дыма его клонило ко сну.

— Ну, а как же дальше с окруженными немцами?

— Теперь у них остается выбор: либо принять ультиматум, либо ждать смерти. Одно из двух. Словом, хоть в петлю головой.

— Сами-то они в петлю головой не полезут, Максим,— неожиданно вступил в разговор Тесля. — Хотел бы черт повеситься, да петля мала. Слышал такую поговорку? Тем, что сидят в котле, петля все еще кажется не по шее. А теперь прочтут ультиматум, убедятся, что она из крепкой пеньки сплетена.

— Да, деваться им некуда, — тихо улыбнулся Зажура, глядя усталыми глазами на учителя.

Расходились поздно. Тесля проводил Максима до самой школы, где капитана Зажуру ждал майор Грохоль-

[1] Виновные будут наказаны! Все? (*Нем.*)

ский. Учитель и ученик торопливо шагали по середине улицы в полной темноте, почти вслепую. Но Тесля знал Ставки как свои пять пальцев, поэтому даже в темноте находил более или менее проторенные стежки.

Иван Григорьевич вовсе не случайно пошел проводить своего молодого друга в эту холодную, ветреную ночь. Там, в избе, при людях, они не все сказали друг другу. Не могли поговорить о самом важном, самом заветном.

Перед тем как попрощаться, Тесля задумчиво произнес:

— Ты, Максим, теперь долго будешь гневаться на меня, старика, за Зосю. Почему, мол, сразу не раскрыл правду? Зачем мучил? Верно я говорю?

Зажура не ответил, но с такой силой шлепнул подошвой сапога по грязи, будто ногами хотел осушить болото.

— Вот, видишь, молчишь! — продолжал Тесля, низко опустив голову. — А меня оно, это дело, не меньше, чем тебя, волновало, болью в груди отзывалось. — Они остановились у какого-то амбара. Здесь было несколько тише, и голос старого учителя казался более искренним, более откровенным. — Только теперь, когда узнали, кто нас предавал и продавал немцам, стало возможным раскрыть тайну.

— Я понимаю, Иван Григорьевич.

— Ты не умом, сердцем пойми. Если бы ты узнал правду несколько дней назад и помирился с Зосей, ее вряд ли могли бы послать в тыл к фашистам на то ответственное дело, которое она сейчас выполняет.

— Неужели лесник продал бы немцам и родную дочь?

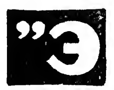
— Кто знает? Когда волка на лед загоняют, он и себе жизнь может укоротить. Да и не знали мы, кто предавал: то ли лесник, то ли иной кто. Он действовал хитро и осторожно. На отца твоего гестаповцам донес, Павла с отрядом в западню загнал. Тонко умел жало запускать. Мы ж ему верили.

— А что все-таки случилось с Павлом? Ведь Зося предупредила его. Не верю я, что он повел людей на смерть умышленно.

— Думаешь, я верю? — Тесля поправил пенсне, нервно задвигал в темноте руками. — Нелегкая эта загадка, Максим. — Он дружески пожал Зажуре локоть. — Ты вот в отца пошел. Коли б и Павел таким, как ты, вырос, тогда б никаких загадок не было.

Несколько удивленный последними словами учителя, Максим промолчал. Не сказав больше ни слова, ушел в темноту и Тесля. Зажура тяжело вздохнул, недоуменно подумал: «Павел не в отца пошел. Загадка! Но почему же тогда доверили ему командовать партизанским отрядом? Нет, сам ты загадка, Иван Григорьевич, такая загадка, что тебя тоже не разгадаешь».

19



лизабет работает на бронетанковом заводе «Панцерверкнорд». Мама писала, сестру еще два месяца назад мобилизовали по закону о трудовой повинности, отправили в казарму... Бедная сестренка! Она же не выдержит там, у нее больные легкие. А кому до этого дело? Заводу нужны рабочие руки. Мама плачет, теперь одна осталась в доме. По ночам тревоги, бомбежки... Элизабет в казарме...»

Обер-лейтенант Кирш услышал тихий стон раненого. Стон доносился откуда-то из дальнего угла. Сыро и холодно в темном сарае. Во тьме слышен чей-то шепот. Рядом кто-то всхлипывает... Ну к чему это? Не все ли равно, как умереть: от пули эсэсовца или от осколка русского снаряда?

«Глупец я все-таки, — продолжает мысленно рассуждать Кирш. — Должен бы знать, что все так кончится. Шварцберг правду говорил, нельзя им верить. Шварцбергу теперь что: он в русском плену, отлеживает бока в теплушке или в бараке. Сибирь, лютые морозы! Зато вернется потом в Германию, будет рассказывать о сибирской тайге... А Элизабет вряд ли выдержит с ее легкими. И мама не переживет горя, если умрет Элизабет...»

— Господин обер-лейтенант, когда нас расстреляют? — послышалось из темного угла.

— Не знаю. Теперь, наверное, скоро.

— Господин обер-лейтенант! Я не виноват... Скажите им, что я ни в чем не виноват. У меня кончились пулеметные ленты, потому я...

— Бригадефюрер Гилле уже подписал приказ о нашем расстреле. Он не любит отменять своих приказов и не отменит.

— Я хочу жить, господин обер-лейтенант.

— Я тоже хочу жить, но теперь на это мало надежды.

— А вы... вы не думали сдаться в плен?

— Мне очень хотелось остаться живым, чтобы быть вместе с матерью и больной сестрой... Она работает на танковом заводе. А сдаться в плен — единственный шанс выжить. Я думал об этом.

В темноте послышался тяжелый вздох. Сверкнула зажигалка, вспыхнул желтый огонек, осветил худое, небритое лицо. Солдат сидел на земле, подобрав под себя ноги, жадно затягивался дымом сигареты.

— Я давно видел, что нас обманывают, — вдруг заговорил он с холодной злостью в голосе. — Всю зиму обещали валенки — не выдали. У нас на батарее двое отморозили ноги. Командир дивизиона как-то сказал: ребята, сегодня получим подарки из дома, нам скинули их на парашютах. Мы обрадовались, ждем. Обер-вахмистр открыл ящик, а в нем запасные части для «Цезаря». Есть такой артиллерийский прицел. Что им наши ноги! Для них главное, чтобы мы стреляли.

— Зато полковник имеет не одну пару валенок.

— О, он живет как в раю, даже теперь, в окружении. Для него построили специальную баню, у него свой массажист. Каждое утро ему подают на завтрак телячий язык, и он запивает его лучшим куантро.

— Можешь не завидовать полковнику, — непослушными губами выдавил Кирш. — Через час ты будешь стоять перед райскими воротами, а твой полковник будет жрать конскую требуху.

— Я не хочу, не хочу!..

Влажную пустоту наполнили истерические всхлипывания. Потом плачь оборвался, солдат подбежал к двери и стал изо всех сил стучать кулаками по доскам.

Во дворе послышались голоса. Кирш закрыл глаза и мысленно перекрестился. Его охватило какое-то удивительное безразличие ко всему. Убьют, ну и пусть. Кажется, уже пришли за ними, открывают двери. Нужно встать и с достоинством выйти.

Их вывели за сарай: двенадцать солдат и одного офицера. В мозгу Кирша мелькнула мысль: «Беззаконие... Это беззаконие! В Германии со мной бы не поступили так... Меня должен судить трибунал, а тут без всякого

суда и следствия...» Он увидел шеренгу эсэсовцев с карабинами и понял — сейчас все кончится.

Падал мокрый снег. Сапоги шлепали по грязи... Длинный сарай, дальше — ограда для скота, а за ней толпа солдат из третьего батальона. Их привели смотреть на экзекуцию.

Кирш глянул себе под ноги — он стоял в болоте. Вздрогнул от озноба: неужели он упадет сейчас в эту холодную грязь и будет валяться в ней, может, час, а может, всю ночь? Липкая черная земля набьется ему в рот, в глаза.

Вновь вспомнилось письмо матери. Она благодарила за последнюю посылку и просила приехать весной в отпуск. Когда ему обещали отпуск? Кажется, в мае?.. Теперь он получит бессрочный отпуск, пусть они завидуют ему все: и Гилле, и полковник, и унтер-офицер со своими солдатами в черных шинелях.

Приземистый, плотный капитан в дождевике и фуражке с высокой тульей поднял руку:

— Солдаты доблестных войск фюрера! Перед вами трусы и изменники из двенадцатой роты. Они забыли о своей священной обязанности, поддались страху, пытались покинуть поле боя. Командир нашей славной дивизии принял решение расстрелять их. Зиг хайль!

Сейчас. Еще секунда — и все кончится. Вот уже унтер-офицер повернулся к солдатам...

В этот момент в воздухе послышался свист снаряда. Земля качнулась, загудела. Еще взрыв, еще, еще... Кирш почувствовал, как взрывной волной его отбросило в сторону. Он упал, тут же догадался, что это бьет русская артиллерия. Сарай разрушен. Двое в черном ползут между воронками. Офицер сидит, раскинув в стороны ноги. Вместо лица — темная маска, грудь залита кровью. Вот тебе и «зиг хайль»!

Солдаты из третьего батальона, что стояли за оградой, в панике разбежались кто куда. Правда, не все успели. Около разрушенного сарая осталось несколько трупов.

Кирш шел по липкой земле словно ослепленный. Ему казалось, что он продирается сквозь густую розовую завесу. Натыкался на заборы, на деревья, машинально обходил их, двигался дальше, падал, вновь поднимался на ноги. Слышал у себя за спиной какие-то истеричные кри-

ки и не верил, что это кричат люди. Продолжали грохотать взрывы.

«Элизабет умрет, не выдержит на заводе... Мама тоже. Она почти совсем слепая, даже вывески читать не может... А прибор «Цезарь» — надежная штука. С его помощью легко корректировать огонь артиллерии, бить точно в цель. У русских нет такого прибора, но они бьют точно... Страшно было в Берлине, когда последний раз ездил в отпуск. Пустой вокзал и огромный плакат: «Читайте «Фолькишер беобахтер»!» Девушка в летной форме с медалью на груди. Может, встречу ее здесь? Хотя зачем эта встреча?..»

Село казалось огромным, бесконечным. Избы терялись в туманной измороси. Среди улицы застрял танк, возле него копошились фигуры в черных комбинезонах.

Фигуры в черном!.. Опять в черном!

Мысли прояснялись, но в душу все сильнее просачивался страх. Он гнал его по раскисшей дороге, подталкивал в спину, заставлял вздрагивать при встрече с каждым офицером.

«Надо уйти как можно дальше. Документы?.. Скажу, что ищу штаб дивизии. А если задержат? Мама получит уведомление: расстрелян за измену нации. Элизабет вызовут в управление крайзляйтера...»

Он почти бежал. Панический страх сжимал ему сердце. В голове все перемешалось. Вдруг открытая штабная машина. Удивительно знакомая фигура старшего офицера...

Втянув голову в плечи, Кирш хотел прошмыгнуть незамеченным, но вдруг его точно ударили прикладом в спину.

— Обер-лейтенант Кирш!

Он сразу узнал голос. На секунду закрыл глаза, потом выпрямился, поднял было руку для отдания чести, но на голове не было фуражки.

— Что с вами? — спросил майор. — Где ваш головной убор? — В глазах Блюме удивление, он смотрит на обер-лейтенанта взволнованно, с жалостью. Он такой приветливый, что Кирш ощущает во всем теле предательскую слабость, горло перехватывают спазмы, ноги подкашиваются.

— Меня... Я...

Сердце его с такой стремительностью отсчитывает удары, будто собирается выскочить из груди. Он раскрыл рот, но из него вырвался лишь стон. Слезы затмили глаза.

— Уйдем отсюда, обер-лейтенант. Нас могут увидеть, а у вас такой вид, вы не похожи на самого себя, — тихо сказал майор, взял Кирша за локоть и через палисадник повел к крыльцу дома, потом чуть ли не силой втолкнул в коридор. — Успокойтесь и расскажите, что с вами.

Здесь было тихо и безлюдно. Взгляд майора, кажется, проникал в самую душу. Киршу стало страшно, будто он остался совсем один и никто его не выслушает, никто не скажет ему человеческого слова. Он судорожно схватил майора за руку.

— Меня расстреливали... Я убежал... Начался артиллерийский обстрел...

— Вас... расстреливали?

Блюме быстро окинул взглядом коридор. Затащил Кирша в какую-то комнату, с силой прикрыл за собой дверь. Помог обер-лейтенанту снять шинель, повесил ее на гвоздь возле двери, вынул из кармана платок, старательно вытер неожиданному посетителю лицо, приказал молчать.

— Подождите здесь минутку. Я скоро вернусь. — Он подвел Кирша к дивану, сунул ему в руки газету.

Кирш остался один. Мама, мама! За что такие тяжкие муки выпали на долю твоего сына? На мгновение перед его глазами мелькнула фигура эсэсовского офицера с темным, разбитым лицом, с раскинутыми в стороны ногами. Убит или только ранен? Все равно останется слепым. «Зиг хайль!» Есть, оказывается, и на вас управа.

Он глянул на газету. Это был последний номер «Рейха». На первой странице — большой снимок. Кто-то в парадном мундире, перетянутом портупеей, выступал с установленной на площади трибуны. Лицо оратора было напряжено, глаза чуть навыкате. Казалось, он кричал на толпу слушателей, выливал на нее сгустки гнева и ненависти и сам представлял собой ненависть.

Вновь появился Блюме.

— Пойдемте со мной, Кирш. Я вам что-то покажу.

Они вошли в очень тесную комнатку. Тут было полутемно — свет цедился лишь через маленькое, запыленное оконце. В углу тускло поблескивали автоматы. Блюме

подошел к столу, выдвинул ящик. В нем лежали ручные гранаты и несколько автоматных рожков-обойм.

— Видите?

Целый арсенал! Почему оружие собрано в этой полутемной комнате? И для чего майор Блюме показывает все это ему, Киршу? Обер-лейтенант растерянно смотрит на майора, не может ничего понять. Блюме взял его за локоть, сильным движением руки повернул к себе, сказал, что сейчас решается судьба армии. Заканчиваются последние часы срока ультиматума русских о капитуляции. Генерал Штеммерман до сих пор не намерен капитулировать. Он, Блюме, пойдет сейчас к нему и попытается уговорить его, сломить его нерешительность. Если же сделать это не удастся, тогда придется применить силу. Они вдвоем — Блюме и Кирш — отправятся в 112-й полк Гауфа.

— Я тоже?! — удивился Кирш.

— Да, мы поедем вдвоем,— подтвердил Блюме.— Если не будет иного выхода. Вы меня понимаете?

— Да, я понимаю. Но оружие, здесь!..

— Вот об этом я и хотел вас предупредить, обер-лейтенант Кирш. В решающий момент оно может нам пригодиться.

— Я все понимаю, герр майор!

— Ну и прекрасно. Ждите меня в этой комнате. Недолго, я скоро вернусь.— Теплая рука майора легла на узкое, полудетское плечо обер-лейтенанта.

Майор Блюме был для него сейчас единственной надеждой на спасение.

— Я верю вам, Кирш, и вы должны верить мне. Вы помните русского летчика, которого мы подобрали осенью на шоссе? Я не отдал его эсэсовцам.

— Я был уверен, что вы не отдадите. И девушку тоже?

— Да, и девушку. Вы не ошиблись, Кирш. У вас доброе сердце. Я знаю, вы никому не рассказали про тот случай. Ну ладно, я пойду. Дай бог, чтобы разум осенил генерала!

Генерал Штеммерман был словно в летаргическом сне. Приказал никого к нему не пускать. Ни одной души, кроме майора Блюме. С той самой поры, как полковник

Фуке продиктовал ему по телефону русский ультиматум, то есть со вчерашнего дня, он почти не вставал с дивана.

Перед ним прошла вся его жизнь. Он искал в ней минуты радости, минуты счастья, точно хотел убедить самого себя, что не зря прожил пятьдесят восемь лет. Вспомнил детство: высокие качели на берегу Эльбы, посыпанные желтым песком дорожки в саду деда, старую француженку-бонну с лорнетом в руке. Младший брат Клаус всегда терся возле матери и выпрашивал у нее деньги. Он собирал их, чтобы потом в школе хвастать перед сверстниками полным кошельком, богатством и славой своих предков: «Мой дед был адъютантом самого Мольтке. Все вы не стоите даже подошвы моего сапога».

В сущности, ничего интересного у генерала в детстве не было. В студенческие годы тоже. Под Верденом воевал обер-лейтенантом, страшно скучал в окопах, с нетерпением ждал конца войны. Хотелось попутешествовать по Италии, пофлиртовать с пылкими француженками...

Генерал открыл глаза, посмотрел на часы. До истечения срока ультиматума еще два часа. Целая вечность! Можно столько передумать! Ему казалось, что эти два часа принесут какую-то развязку, заставят его отважиться на самый разумный шаг. А какой он, этот разумный шаг? Кто может определить его?

Он знал, что в соседнем доме собрались командиры подчиненных ему дивизий и с нетерпением ждут последнего слова. Генерал Шмидт-Гомер, наверное, жует свой любимый бутерброд с телятиной, облизывает жирные, толстые губы и млеет от удовольствия. Генерал Транберг, командир 167-й дивизии, тот, как всегда, дремлет, клюет носом. Генерал Либ и полковник Хонн, несомненно, режутся в карты. Интересно, а где бригадефюрер Гилле? Где этот бретёр с белым, изнеженным лицом? Утром его не было здесь. Не присутствовал он и на совещании. Со вчерашнего дня, когда узнал, что идут русские парламентеры, исчез, будто сквозь землю провалился. Уж не затевает ли он какую-нибудь каверзу?

Генерал Штеммерман любил красивые вещи, особенно часы. Смешно звучит, но он действительно любил часы — уникальные, музейные раритеты. Имел большую коллекцию, в том числе такую диковинку, как шпиндельные часы знаменитого нюрнбергского мастера Хейнлена из золота и серебра с вкрапленными в крышки брильян-

тами. И, может быть, потому, что всегда был окружен часами, он с юных лет научился ценить время, ценить каждую минуту своей жизни.

Один астролог в Бад-Шандау наворожил ему прожить шестьдесят пять лет. В ту пору Штеммерман был еще слишком молодым, чтобы постичь значение ворожбы, чтобы испугаться: он отгуливал всего лишь двадцатую весну. Сейчас он вдруг вспомнил о предсказании астролога и ужаснулся. Мысль заработала лихорадочно и нервно. Стал прикидывать, что еще может ждать от судьбы. Представил себе последний короткий отрезок своей жизни, и это представление вновь вернуло его мысли к вопросу о капитуляции.

Если допустить, что он согласится подписать акт о безоговорочной капитуляции, это значит — лагерь военнопленных, Сибирь. Возможно, и не Сибирь, а какая-нибудь русская тюрьма, за решетками которой он пробудет до конца войны. Долго будет ждать свободы. Может быть, лет через десять его отвезут в Германию. Старого и немощного, того самого генерала Штеммермана, потомственного прусского дворянина, который в сорок четвертом году капитулировал перед бывшим русским солдатом Коневым. А Клаус не упустит ни одного дня. Братья встретятся: счастливый и немощный, богатый, процветающий и опозоривший себя пленом бывший генерал. Потом еще несколько лет убогого существования: генерал в отставке, немецкий потомственный генерал, который сдался в плен бывшему русскому солдату. Нет, это ужасно!

Ему вспомнился разговор с майором Блюме после русской радиопередачи. Блюме был настроен на философский лад, сидел, углубленный в себя, увлеченный рассуждениями о величии Германии. Потом вдруг сказал: «Фельдмаршал Паулюс пишет мемуары. Имеет под Москвой небольшую виллу и пишет там мемуары». «А вам откуда это известно?» — спросил его Штеммерман. «Я слышал выступление фельдмаршала по радио. Он очень интересно и без сожаления оценивает свой поступок». Эта фраза словно обожгла генералу душу. Сейчас она вспомнилась Штеммерману в каком-то новом значении. Он представил себе: маленькая комната, заваленный бумагами стол, снег за окнами. Русская зима. Он, Штеммерман, пишет мемуары, пишет до самой смерти, все

оставшиеся годы жизни, пока не выпадет из пальцев перо.

Опять посмотрел на часы. Время, время! Скоро последний срок. Шмидт-Гомер, наверное, доел свой бутерброд. Транбергу денщик принес флягу с ромом: «Выпейте, герр генерал, за здоровье ваших дочек!» У него их шестеро. Толстопузый генерал Транберг почти ежедневно отправляет домой посылки с продовольствием, огромные ящики с армейскими штемпелями «Вермахт-Ост». Собственно, не отправляет, а отправлял. Все кончилось, когда русские замкнули кольцо окружения. Интересно, как теперь чувствует себя этот толстяк? Вероятно, все еще надеется вернуться к своим дочкам? А не думаете ли вы писать мемуары, герр генерал?

Скрипнула дверь. Штеммерман поднял голову, увидел майора Блюме.

— Остался ровно час, герр генерал! — напомнил Блюме от порога.

— Садитесь, Конрад!

— Спасибо, герр генерал, но...

Генерал знал, что означало это «но». Он мог бы сейчас и сам выложить все аргументы, свалить их в кучу, соорудить из них башню, целую египетскую пирамиду. Тамерлан тоже возводил пирамиды, средневековые пирамиды из голов убитых его воинами врагов. Этих пирамид пугался весь мир. То был самый убедительный аргумент завоевателя. А что делать, если ты не Тамерлан, если ты бессилен карать смертью даже своих собственных бунтующих солдат?

— Мне оставят холодное оружие?

— Да, герр генерал.

— И пистолет с одним патроном?

— Он вам не нужен, герр генерал. Когда-нибудь мы встретимся с вами в вашем доме в Бад-Шандау, и тогда вы поймете меня. Пули не разрешают проблем, они их усложняют.

— Один патрон я все-таки попрошу. — Генерал поднялся с дивана, скинул плед, быстро одернул френч, пригладил его на себе ладонями, подтянулся. Казалось, что он уже слышит за дверью шаги советских автоматчиков.

Что ж, лучше писать мемуары, чем гнить в чужой земле! В худшем случае он воспользуется последней пулей.

Его миссия кончилась. В Берлине, возможно, ждут от него арийской отваги, уже заготовили некролог для «Фолькишер беобахтер». Бессмертный шаг арийца. Мужество и верность потомка нибелунгов. Кто знает, что лучше: последняя пуля или мемуары?

Из окна Штеммерман видел стоявших у крыльца генералов. Шмидт-Гомер что-то патетически доказывал командиру 57-й пехотной дивизии генералу Дарлицу, наседал на него своим массивным животом, потрясал в воздухе кулаком. Рядом стоял генерал Либ и упорно смотрел в землю.

— Ну что ж, Конрад! — тяжело вздохнул Штеммерман, окончательно взвесив все «за» и «против». — Пригласите от моего имени командиров дивизий в штаб.

И вдруг он весь подался вперед, густые брови на его лбу сурово сдвинулись.

Майор Блюме сделал шаг к окну.

К штабу подъехал бригадефюрер Гилле. На улице стояли два бронетранспортера с эсэсовцами. Головорезы в черных шинелях появились на крыльце, возле входной двери. Послышались резкие команды.

— Что там такое? — насторожился Штеммерман.

— Разрешите, я выясню, герр генерал! — круто повернулся майор Блюме, сильно рванул на себя дверь. Он примерно представлял, что произошло, знал, что теперь каждая секунда промедления может стоить ему жизни. Гилле с эсэсовцами! Черные фигуры толпились в коридоре, бесцеремонно заглядывали в комнаты, чувствовали себя хозяевами.

Блюме протиснулся между ними. Последняя по коридору дверь — оперативный отдел. Через него можно пройти в комнатку, где майор оставил Кирша. Майор взялся за ручку двери, прислушался. За спиной у него все нарастал гул голосов: эсэсовцы заполнили коридор. Всем своим существом Блюме чувствовал, как смерть обволакивает дом, приближается, зловеще наступает на него.

Услышав голос бригадефюрера, он переступил порог оперативного отдела, плотно закрыл за собой дверь, повернул ключ. На столах, на диване, даже на подоконниках — всюду оперативные карты, бумаги, хотя теперь, по существу, никому не нужные, но аккуратно сложенные, подшитые, пронумерованные. Вот и узкая дверь в по-

лутемную комнату. Навстречу Блюме бросается взволнованный Кирш:

— Что там за шум, герр майор? Что случилось?

— Берите автомат, Кирш. Приехал Гилле. Может произойти неожиданное.

— Вы хотите убить Гилле?

На щеках Блюме заиграли розовые пятна. Нет, он вовсе не собирается убивать Гилле — эсэсовец позже и без него получит по заслугам. Блюме думал о том, как теперь вырваться живым самому. Между тем Кирш был готов на все. Нет, обер-лейтенант, убить Гилле сейчас не удастся. Поздно! А жаль!

— Идите за мной, Кирш!

Низкая дверь вела куда-то в темноту, в душный, узкий коридор. По сторонам стояли ящики с патронами. Патроны были рассыпаны и по полу. Блюме шел уверенно, будто расталкивал темноту. Слышно было его дыхание — горячее, надрывное. Вдруг он остановился и поднял руку. Голоса! Где-то рядом, за стеной, слышались голоса.

Кирш скорее догадался, нежели услышал: Гилле! Кричит на Штемермана, грозит ему от имени рейхсминистра СС немедленным расстрелом. Никакой капитуляции! Он, Гилле, не допустит, не позволит! Войска должны драться до последнего патрона!

Штеммерман слабо обороняется.

«Вы не имеете права, Гилле. Я все-таки генерал».

«А вы имеете право, генерал? Имеете? Окружили себя предателями и шпионами. Позор! Мне стыдно за вас, генерал! — Небольшая пауза, и снова лающий, наглый голос бригадефюрера. — Вот радиограмма из имперского штаба СС. Ваш любимый майор Блюме служит большевикам. Что вы на это скажете, генерал?»

Блюме потянул Кирша куда-то в темноту. Еще несколько торопливых шагов, и они выбежали на задний двор. Тут стояли машины, бронетранспортеры, танки. Подбежал вахмистр, подобострастно вытянулся перед майором.

— Немедленно сюда бронетранспортер генерала.

Буксуя в глубокой колее гусеницами, подъезжал закамуфлированный, с ромбовидными бортами бронетранспортер.

— Охрану тоже?

— Только водитель и радист.

— Стойте! — неожиданно закричал вахмистр. — Кажется, объявлена боевая тревога. Может, русские?

— Генерал ждет машину. Прочь с дороги! — Блюме метнул глазами по двору. Солдаты, солдаты! Всюду солдаты. — Освободите дорогу! Генерал ждет. Прорвались русские конники.

У вахмистра сразу посерело лицо, брови полезли на лоб. Он поднял руку, но тут же опустил ее и куда-то побрел, обессиленный, безвольный, ко всему безразличный.

Когда бронетранспортер выскочил из села на грязное, разбитое шоссе, Блюме выпрямился на холодном кожаном сиденье, властно осмотрелся вокруг. Он был в бекеше с пышным теплым воротником и чем-то напоминал генерала.

— Куда? — односложно спросил через плечо солдат-водитель.

— Сто двенадцатый полк, к майору Гауфу! — Блюме вынул из кобуры пистолет, проверил обойму, вновь вставил ее на место, сунул пистолет в карман и, обернувшись к Киршу, обнял его за худые мальчишеские плечи. — Я рад, что вы со мной, обер-лейтенант. Теперь вся надежда на майора Гауфа и его солдат.

20



здали двор Зажур представлял собой несколько странную картину. Это была недавняя боевая позиция. Теперь она стала своеобразной площадкой для беззаботных детских развлечений. Развороченная снарядами траншея тянулась через всю улицу, пересекала огород и вплотную подходила к углу избы, как раз к тому месту, где прежде шумела ветками старая груша. Дерево было спилено, оно лежало перед траншеей, на самом бруствере, все исковерканное, расщепленное пулями и осколками снарядов. Со стороны оно чем-то напоминало тяжело раненное животное, которое в предсмертной аго-

нии еще пытается подняться. Сейчас вокруг него резвились ребятишки, устраивали в оголенных ветвях засады, ломали сучья, играли в «войну». Мертвое дерево со снисходительным равнодушием терпело их шумные забавы.

На улице, недалеко от несуществующих теперь ворот зажуринского двора, неподвижно застыл немецкий танк. Он был без пушки, ее оторвало взрывом и отбросило далеко в сторону. Белый крест на борту потускнел от огня, сделался желтовато-серым. Возле уцелевшей гусеницы валялся обгоревший шлем танкиста. Два мальчика лет по восьми-девяти уже успели примерить его на свои давно не стриженные головы и этим как бы сняли с него страшную тень смерти.

Посреди двора, у края траншеи, стояла худенькая десятилетняя девочка с немецкой каской в руке. Вероятно, она пришла, чтобы набрать в каску влажного песка или глины, но загляделась на остов танка и задумалась: вспомнила, как во время боя горели вокруг избы, как стреляла из пулемета по немцам молодая, очень красивая тетя, как пылал чадным огнем подбитый немецкий танк, как из траншеи уносили убитых и раненых. Обо всем этом страшно было вспоминать, но девочка вспоминала, потому что бой происходил у нее на глазах, потому что она была невольной свидетельницей событий и не по-детски серьезно радовалась, что осталась жива.

— Сонь, а Сонь! — дернул девочку за руку карапуз в выцветшем, грубо сшитом пальтеце из молескина, которые в войну носили воспитанники многочисленных детских домов.

— Что тебе? — строго глянула на него девочка.

— Я есть хочу. Когда мы будем обедать?

— Погоди, Мыколка. Бабушка Елена сготовит и позовет, а пока иди играйся.

— Не хочу играть. Хлеба хочу.

— Где я тебе его возьму? Фашисты хлеб забрали.

— А ты забери у фашистов. Они злые, нехорошие.

Темные глазенки малыша наполнились слезами. Всхлипывая, он погрозил запачканным глиной кулачком в сторону сгоревшего немецкого танка.

В это время в конце улицы послышался гул мотора. Он приближался, нарастал, и вскоре из-за угла полуразрушенной соседней хаты выползла забрызганная

грязью грузовая машина. Выбравшись из глубокой колеи на песчаный взгорок, она остановилась. Ее со всех сторон окружили дети.

Из кабины студебеккера вышел молодой майор, положил руку на худенькое плечо одного из мальчишек и, сочувственно глядя на его иссиня-бледное лицо, спросил:

— Где тут изба Зажур?

— А вот она, рядом, — ответил мальчик. — Бабушка Елена дома, я ее сейчас поклячу.

— Не надо. Я сам.

Офицер поднялся на крыльцо, открыл дверь. На пороге — Елена Дмитриевна в стареньком, много раз стиранном фартуке, руки запачканы мукой, лицо взволнованное, немного смущенное. Она ждала сына, а приехал незнакомый майор.

— Я к Максиму Захаровичу, — сказал гость. — Он дома?

— Нет. Сама не видела его со вчерашнего дня. Может, в штабе полка — не знаю. Пришел в село из госпиталя отдохнуть, долечить раны, а тут тоже, как на фронте.

— Что поделаешь, мамаша! Сейчас везде фронт, а у вас в селе почти передний край. Вокруг все развороченно, разрушено. Недавно, видно, уличный бой был?

— Да, недавно. Таких страхов натерпелись, что на всю жизнь хватит. Очень боялись, что село опять под немцем окажется.

Офицер окинул быстрым взглядом двор. Засмотрелся на группку детей возле машины.

— Где вы таких хороших ребятишек набрали, мамаша? Уж не детсад ли у вас тут?

— Все тут у нас, дорогой товарищ: и детсад, и детдом, — тяжело вздохнула Елена Дмитриевна. Стала рассказывать гостю о трудной судьбе малышей и вдруг замолчала, вздрогнула, в глубине ее глаз мелькнула тревога: увидела возле машины светло-зеленую немецкую шинель. Немцы?.. Откуда они тут?

Возле студебеккера и в самом деле был немец — Курт Эйзенмарк. Он выпрыгнул из кузова машины, чтобы немного поразмяться после долгого пути. Подошел к бывшим воротам, стал разглядывать подворье. Он не представлял, что само его появление вызовет во дворе

переполох: напугает хозяйку дома, заставит детей броситься поближе к крыльцу.

— Это наш друг, мамаша, немецкий патриот, коммунист, — пояснил майор. — Собственно, ему-то и нужен Максим Захарович. Сейчас я познакомлю вас с ним. — Офицер замахал рукой. — Курт! Идите сюда! Познакомьтесь: мама... муттер вашего друга Зажуры.

От волнения полное лицо Эйзенмарка чуть побледнело, на нем засияла радостная улыбка. Курт нежно взял Елену Дмитриевну за обе руки, поднес их к своим губам и поцеловал.

— О, муттер! Ваш сын и вы... — Он не смог вымолвить какое-то слово, может быть, забыл его, и вновь склонил лицо к морщинистым рукам матери друга.

Елена Дмитриевна пригласила Курта в избу.

— Посидите здесь, товарищ. Я попрошу соседку сходить в штаб. Может, Максим там.

Эйзенмарк отрицательно покачал головой. Нет, он не может ждать. Ни одной минуты! Ему и майору необходимо ехать, чтобы вовремя быть на месте. У них очень важное дело.

Майор объяснил, о чем идет речь. В машине передвижная радиостанция, ее нужно доставить на передний край. Он и Эйзенмарк должны обратиться к немцам, что все еще прячутся в лесу, поторопить со сдачей в плен. Установленный ультиматумом советского командования срок капитуляции закончился, а немцы все еще молчат. Видно, их командование не собирается капитулировать. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы немецкие солдаты и офицеры не вступали в бой, добровольно переходили на нашу сторону, чтобы не лилась напрасно кровь ни наша, ни немецкая.

— Если они откажутся капитулировать, их ждет смерть? — спросила Елена Дмитриевна.

— Яволь, майне муттер! — ответил за майора Эйзенмарк, и при этих словах его глаза сухо блеснули.

Майор глянул на часы, потом посмотрел на небо. Солнце было еще высоко — до вечера времени много, но все-таки надо торопиться: впереди трудная дорога. Собственно, его больше беспокоила не дорога, а неизвестность того, что происходит за селом, возле леса, откуда время от времени доносились отзвуки артиллерийского и пулеметного огня.

Приезд нежданных гостей вконец растревожил Елену Дмитриевну, и до того постоянно думавшую о Максиме.

— Товарищ майор! Если у вас в машине найдется место, я подъеду с вами до штаба. — Кивнула на возившихся возле танка ребят. — Сейчас должна прийти соседка, она покормит детей. А я с вами. Не могу больше: болит душа о сыне. Где он? Может, голодный, со вчерашнего дня не был дома.

— Пожалуйста, мамаша! — широко улыбнулся майор. — Это даже хорошо. Садитесь в кабину и показывайте водителю дорогу, где лучше проехать. Тут у вас такие моря разлились!

Увидев, что Елена Дмитриевна собирается куда-то уезжать, дети всполошились.

— Бабушка Елена, куда вы?

— Возвращайтесь быстрее. Есть хочется.

Студебеккер съехал с песчаного взгорка прямо в болото. Синеватая гладь всколыхнулась волнами, отраженное в воде по-весеннему голубое небо тоже заколыхалось, разламываясь на мелкие частицы.

Дети сгрудились возле забора, долго смотрели вслед машине, смотрели с жалостью и обидой, будто уже знали, что никогда-никогда не увидят больше свою заботливую, нежную бабушку Елену.

В штабе Максима не было. Майор Грохольский тепло поздоровался с Еленой Дмитриевной. Эта интеллигентная женщина чем-то импонировала ему, возможно, напоминала родную мать, такую же задумчивую, такую же решительно-спокойную, с такой же волевой черточкой в межбровье.

Сам он не в мать. Не удался ни характером, ни наклонностями, вообще ничем. И вот перед ним словно страница детства. Строгое, спокойное лицо, черные, с проседью на висках волосы, темные, точно нарисованные, брови над ласковыми материнскими глазами.

В просторном классе за столом сидел генерал Рогач, командир дивизии. Вокруг стояли офицеры, сосредоточенные, насупленные, смотрели на разостланную на столе карту, были углублены в нее всеми своими помыслами и тревогами, точно наблюдали в бинокли за тем, что в эти минуты происходило за линией фронта, точно ста-

рались угадать, какие неожиданности готовит им завтрашний день, чем он их порадует и чем огорчит.

Немцы не вырвались из кольца. Генералу Хубе не удалось пробиться через Лысянку к Штеммерману. Если сегодня до вечера Штеммерман не примет условий капитуляции, придется вести бои на уничтожение.

— Простите, вы к кому? — Генерал строго посмотрел в сторону двери, возле которой в нерешительности остановилась Елена Дмитриевна.

— Это мать капитана Зажуры, — сказал майор Грохольский. — Она ищет сына, товарищ генерал.

Мать капитана Зажуры! Стало быть, жена Захара Сергеевича!.. Генерал провел рукой по лбу, снял фуражку. Он не думал сейчас о том, что Елена Дмитриевна может узнать его, что она вспомнит далекие двадцатые годы, когда Захар Сергеевич приезжал с нею в Харьков, и он, генерал Рогач, тогда молодой красный курсант, угощал их в своей холостяцкой квартире на Холодной горе постным супом из командирской столовой.

Горячо забилось сердце. Генерал поднялся из-за стола, с протянутыми вперед руками пошел навстречу высокой женщине.

— Елена Дмитриевна! Дорогая моя!

Второй раз сегодня ее натруженных рук коснулись обветренные мужские губы.

— Я не знаю вас, товарищ генерал, — сказала Елена Дмитриевна, запоздало пряча руки за спину.

— Это не делает мне чести, — вздохнул генерал, придвигая Елене Дмитриевне стул. — Садитесь и посмотрите повнимательнее. Может, теперь все-таки признаете? А если нет, я... побегу в командирскую столовую за супом.

— Товарищ генерал, почему же вы?.. — забеспокоился майор Грохольский, не уловивший в голосе командира дивизии печальной шутки. — Я сейчас прикажу. Разрешите?

Рогачу пришлось рассказать о Харькове, о курсантской комнате и о постном супе из командирской столовой.

Генерал сидел рядом с Еленой Дмитриевной и молча дивился тому, как много событий произошло за последние годы. Он дивился мужественной, неугасающей красоте Елены Дмитриевны, дивился ее черным, нисколечко не вылинявшим бровям, которые в ту давнюю пору

волновали его кровь и нагоняли краску на его юношеское лицо, дивился ее горькому одиночеству, гибели ее мужа, своего друга, с которым так редко встречался в последние годы, так редко вспоминал свою харьковскую молодость и лихие степные рейды в неудержимых лавах красного казачества, когда над эскадроном вздымалось боевое знамя и солнце преломлялось в блестящих клинках.

Возле него в молчаливой задумчивости сидела подруга и сверстница его давно минувшей юности, нежный порыв отшумевших весен. Сидела и ждала своего сына, того самого капитана, который, выйдя недолечившимся из госпиталя, оказался в самой гуще боевых событий.

— Товарищ генерал!

— Какой я тебе генерал, Елена? Называй меня просто по имени.

— Ну хорошо, буду, как в молодости, называть Николаем. У меня к тебе просьба, Мыкола.

— Разыскать Максима? Сейчас мы его...

— Погоди, не о Максиме речь. — Елена Дмитриевна положила на руку генерала свои сухонькие, тонкие пальцы. — Разреши, Мыкола, я поеду с немцами на передовую.

Генерал сощурил глаза. С какими немцами? С Эйзенмарком, с тем немецким коммунистом, что перешел к нам? Зачем ехать на передовую? Там управятся и без нее. Но, услышав ее просьбу, он тут же подумал, что просит она не зря: хочет, чтобы немцы услышали и ее голос, голос матери, голос женщины, потерявшей мужа и старшего сына. Наверное, все уже обдумала и не боится опасности, лишь бы сказать немецким солдатам свое гневное слово? Генерал мог отказать ей в просьбе, сказать, что немцы сейчас особенно озлоблены, способны на всякую подлость и что радиопередача с переднего края — не такая уж безопасная вещь. Однако он понял Елену Дмитриевну и ее короткую, четкую фразу: «Я знаю немецкий, и я скажу им то, что нужно».

Перед ним сидела не молоденькая Аленка двадцатых годов, а мать сынов своих, много испытавшая в жизни, исстрадавшаяся женщина.

— Мать! — уважительно промолвил генерал. Встал, пожал ей руку.

Елена Дмитриевна тоже поднялась. Генерал посмот-

рел на майора Грохольского, спросил, как бы проверяя самого себя:

— Значит, сто двенадцатый переходит?

— Утром, товарищ генерал.

— Обеспечьте охрану радиостанции!

Генерал Рогач склонил перед Еленой Дмитриевной голову, и она поняла, что ей разрешено ехать.

— Спасибо, Мыкола!

Она попрощалась с Грохольским, с остальными офицерами и пошла к машине.

В кабине было тряско и холодно: откуда-то тянуло влажным ветром. Лобовое стекло машины было почти сплошь заляпано грязью. Елена Дмитриевна ехала как в полусне. Что-то монотонно мурлыкал себе под нос солдат-водитель. Про что-то нудное и печальное пел подызносившийся, натруженный мотор.

Мать вспомнила ту далекую пору, когда она не была ни матерью, ни женой. На своем, тогда еще совсем недолгом жизненном пути она повстречала двух друзей: один — русоволосый, настырный, уверенный в себе, с орденом Красного Знамени на гимнастерке, другой — темноглазый, черночубый, задумчивый, молчаливый, даже немного робевший в ее присутствии. Полюбила черночубого. К русоволосому съездила вместе с мужем лишь один раз, когда тот был курсантом военного училища и жил в небольшой комнатке на Холодной горе в Харькове.

Холодная гора, постный суп и вопросительный взгляд чуть дерзких глаз запомнились ей навсегда. Втайне не раз признавалась себе, что дерзкие глаза ей не безразличны, манят и тревожат. Даже сегодня, заглянув в них, она ощутила в груди холодноватое щемление, какую-то давнюю тоскливую боль.

Пробежали по календарю годы. Жизнь почти прожита, сыны повырастали, а ты все вспоминаешь! Ты и сейчас едешь будто со свидания. Куда ты едешь? Что ждет тебя впереди?

Мысль поехать на передовую неожиданно пришла ей там, возле штаба, когда подходила к широкому школьному крыльцу: «Поеду и скажу им свое слово! Может, оно сделает больше, нежели суровые мужские слова? Мо-

жет напомнит им о собственных матерях, сестрах и женах, измученных войной и осиротевших?»

Николай понял ее. Значит, правильно, так надо. Пусть хоть сто человек услышат ее голос, сто человек не станут завтра стрелять в наших солдат и офицеров, сдадутся в плен, чтобы со временем вернуться домой! Пусть она спасет хоть одного человека, одного-единственного, и то это будет ее заслуга, ее успех.

Елена Дмитриевна еще не знала, что скажет немцам, не успела об этом подумать. Ну, конечно же, скажет самое главное! А оно в том, чтобы спасти людей, не отдать человеческие сердца смерти. Кого она стремится спасти от смерти? Врагов? Или только своих? Для Елены Дмитриевны, казалось, не существовало сейчас этих вопросов. Она — мать, она в достаточной мере познала и радости жизни, и муки материнства, поэтому не хочет напрасных, бессмысленных жертв. Возможно, кто-то назовет это наивным пацифизмом. Ну что ж, пусть называет. И все-таки она — за спасение человеческих жизней! Только бы предотвратить ненужное, ничем не оправданное кровопролитие. Затем она и едет теперь по грязной, разбитой дороге. Затем же едут и майор, и немецкий коммунист Курт Эйзенмарк, и лейтенант.

Уже вечереет. Где-то тут должен быть небольшой хутор. Елена Дмитриевна давно не была в нем, с довоенных лет. Майор, что из уважения к ней оставил свое место в кабине и пересел в кузов, перед отъездом из штаба полка говорил, что на хуторе последний пост советских войск. Дальше немцы, их позиции и укрепления. И еще майор говорил, что, по имеющимся сведениям, одним из первых собирается сложить оружие 112-й немецкий пехотный полк и что радиопередача, которую они будут вести почью, будет обращена прежде всего к солдатам и офицерам этого полка. О 112-м полку что-то спрашивал у Грохольского и Николай, командир дивизии, с которым она встретилась так неожиданно. Ну что ж, если сдастся один полк, за ним потянутся и остальные. Никому ведь не хочется умирать в бессмысленном, безнадежном сопротивлении. Вот разве только эсэсовцы? Они, пожалуй, могут и не согласиться капитулировать, побоятся расплаты, ответственности за свои преступления. Впрочем, найдется управа и на них.

О чем она скажет немцам? Надо заранее все проду-

мать, сосредоточиться. Потом будет некогда. Прежде всего, конечно, о том горе и страданиях, которые они принесли людям. Скажет о своем личном, семейном горе — о замученном гестаповцами муже и погибшем в бою старшем сыне. Пусть знают. Потом напомнит об их семьях, которые ждут их возвращения домой, надеются увидеть живыми. А чтобы вернуться домой, надо сдаться в плен, прекратить бессмысленное сопротивление. В этом единственная надежда выжить.

В хутор приехали перед самым заходом солнца. Небо между голыми тополями было ярко-красным. Огненные горны уже полыхали где-то за горизонтом. Стекла в избах рдели яркими отблесками. Из-за бугров и перелесков начинали выползать ночные тени. Вокруг безлюдно и зловеще-тихо, тишина кажется настороженной и угрожающе-беспокойной.

Возле неглубокого окопа майор о чем-то долго говорил с двумя солдатами. Его лицо было тревожно-сосредоточенным, брови нахмурены, сдвинуты. Потом он поднял воротник шинели и вслед за солдатами зашагал куда-то в сторону, оставив машину на дороге.

Становилось все холоднее. Тянуло на мороз. На черную землю начали падать редкие снежинки. Стоявшие над прудом избы казались пустыми и заброшенными. Мелькнет изредка серая шинель, пробежит торопливо солдат с котелком, проскачет по грязи конник, и опять тягучая, настороженная тишина. Может, на самом деле тут кроме солдат никого нет?

Обеспокоенная угрожающе-напряженной тишиной, Елена Дмитриевна вышла из машины. Почему так долго нет майора? Куда он ушел?

Из-за угла соседней избы вышел мальчик лет десяти, в старом кожухе и нахлобученной на лоб большой шапке. Глазенки внимательные, немного дерзкие. Всего навидался. Ни тени страха и беспокойства. Неторопливо подошел к Елене Дмитриевне, деловито посмотрел на машину, по-взрослому заложил ручонки за спину.

— Тетя, а чего вы не вакуировались?

— Зачем же мне эвакуироваться, если немцев прогнали? — обогрела малыша теплым взглядом Елена Дмитриевна.

— Вы лучше вакуируйтесь, тетя, а то фашисты как ударят! — Мальчик взмахнул грязным, посиневшим от

холода кулачком, и лицо его сделалось сердитым. — У нас тут много фрицев, одни эсэсы. Злые, спасу нет.

— А сам ты не боишься эсэсовцев?

— Чего их бояться? Они в котле сидят. Вот скоро их наши танками и «катюшами» накроют. Я на танке уже ездил, а на «катюше» нет. Говорят, что «катюши» не могут сюда проехать — грязюка кругом, болота.

Елену Дмитриевну все больше пронимала беспокоящая дрожь. Почему эсэсовцы? От кого наслушался мальчик этих ужасов? А майора все нет. Ушел с солдатами растерянный, обеспокоенный, ничего не сказал.

Из-под брезентовой крыши машины выпрыгнул молодой, светловолосый лейтенант. Подал руку Эйзенмарку, помог ему спуститься на землю. Потом сделал несколько быстрых гимнастических движений и шутливо стал боксировать немца. Эйзенмарк поднял вверх руки:

— Сдаюсь! Гитлер капут!

Мальчик стоял рядом и звонко смеялся. Елена Дмитриевна тоже тихо улыбнулась, в ее глазах блеснула теплая слезинка. Дети! Что малые, что большие. Максим, когда жил дома, тоже всегда вот так задиристым петушком наскакивал на Павлушу.

— Заводи машину! Поехали!

Это издали кричит майор, торопливо, не глядя под ноги, шлепает сапогами по грязи. За ним едва поспевает какой-то дядька в гражданском, с немецким автоматом на груди.

Сели. Едут вниз, к пруду. Натужно ревет мотор. Машина чуть ли не плывет по раскисшему чернозему. Мальчик стоит на подножке, показывает водителю, где лучше проехать.

Миновали пруд. Дальше — огороды. На колеса наматываются шмотья грязи. Мальчик, довольный своей миссией проводника, держится одной рукой за дверцу, ловит бледным лицом холодный встречный ветер.

Наконец въехали в небольшой овражек. Над самым спуском — изба, внизу почти темно. Майор подошел к кабине, хотел что-то сказать Елене Дмитриевне, но в этот момент вечернюю тишину прорезал скрипучий вой снаряда. Грохочущий взрыв возле пруда. Снова вой, и опять взрыв...

Майор встал на подножку машины.

— Елена Дмитриевна! Плохие дела. За хутором эсэсовский батальон. Говорят, сто двенадцатый полк разоружен. Может, вам лучше уйти отсюда, пока есть время?

— Нет, я останусь с вами.

Ночью было холодно. Прежде чем прилечь отдохнуть или просто подремать, майор провел короткое совещание.

— Что будем делать, Ватер? Вы — радист. Как считаете, сможем мы провести передачу? — обратился он к светловолосому лейтенанту, который стоял возле машины и что-то негромко напевал.

— Я выполняю приказ, товарищ майор! — ответил тот тихим, задумчивым голосом. Елене Дмитриевне показалось, что она уловила в его тоне скрытую иронию. В самом деле, к чему эти вопросы? Они приехали, чтобы обратиться к немцам по радио с призывом сдаваться в плен, и какие бы изменения у них ни произошли, какие бы полки и батальоны ни стояли за хутором, задание должно быть выполнено.

У майора, однако, имелись свои соображения. Он был человеком практичным, опытным и знал, что непродуманными действиями можно лишь напортить дело, а пользы не будет ни на грош. Если правда, что 112-й полк обезоружен и его заменил на позициях батальон эсэсовцев, заядлых головорезов, одичавших от крови и злодеяний неисправимых бандитов, то призывать их к капитуляции — напрасный труд.

— Нужно учитывать и то, — продолжал майор, — что на хуторе очень мало наших войск, не больше роты. Не знаю, просто не могу представить себе, как лучше поступить.

В чем-то майор был, безусловно, прав. Даже плохо разбирающаяся в военных делах Елена Дмитриевна понимала, что положение чрезвычайно опасное. Уже не раз и не два в ее голове мелькала мысль: может, напрасно она поехала с радиостанцией и, пока не случилось беды, лучше уйти отсюда куда-нибудь. Она — старая женщина. Начнется бой — солдатам и оружие, и ноги помогут, а она и стрелять не умеет, и бежать быстро с ее сердцем нельзя. Только и останется, что умереть.

Лейтенант Ватер по-прежнему стоял возле машины и почти беззвучно тянул свою песенку. Он выглядел таким спокойным и уравновешенным, будто его не тревожили никакие страхи.

— Эсэсовцы или не эсэсовцы, мы точно не знаем, — сказал он, глядя себе под ноги и чуть-чуть иронически улыбаясь. — А бежать нам не позволяют ни совесть, ни приказ командования.

— Не о том речь, Юрий, чтобы бежать, — досадливо махнул рукой майор. — Приказ командования мы обязаны выполнить, но я против фанфаронства и неоправданного риска.

— «Жизнь есть риск, и только в смерти покой», — с прежней невозмутимостью проговорил Ватер и глянул на Елену Дмитриевну добрыми, чистыми глазами. — Кажется, Верхарн это сказал, или кто? — Потом уже серьезно добавил: — Вы, Петр Сергеевич, начальник машины. Решайте сами. Ваш приказ — закон. Дискуссия тут ни к чему.

Майор секунду помолчал, тяжело вздохнул, полез в карман за табаком.

— Хорошо, сейчас немного отдохнем. Начнем передачу ровно в два ночи. — Чиркнул зажигалкой, наклонил голову, прикурил, осветив лицо теплым розовым светом.

Начали ровно в два. В кромешной тьме, в ветреном безлюдии полевых просторов вдруг громко, призывно и властно зазвучала сурово-величественная музыка Баха, всколыхнувшимися волнами покатилась в черную пустоту, разбудила ее, поднялась выше туч.

Полулежа в неглубоком окопе над прудом, лейтенант Ватер держал в руке чашечку микрофона, ждал, пока отгремит Баховская оратория, чтобы можно было начать говорить.

Елена Дмитриевна сидела неподалеку на мокрой глиняной ступеньке и напряженно слушала музыку. Ей было страшно. Она чувствовала себя точно в болезненном сне. Темнота вокруг. Низкое, будто прижавшееся к земле, закрытое тучами небо. Пугающие всплески пруда между вербами. Тягучие, похожие на пружинистые волны раскаты Баховской оратории.

Слушают ли их немцы? Что им там думается сейчас, окруженным, загнанным в западню, обреченным на смерть, если не сдадутся в плен?

Елена Дмитриевна мысленно произносила слова своего обращения. Четко и холодно чеканились в сознании немецкие фразы, простые и короткие. Она хорошо знала немецкий язык, когда-то очень любила его. Еще до революции, будучи курсисткой, зачитывалась шиллеровскими «Разбойниками» в оригинале, цитировала по памяти отрывки из гетевского «Вильгельма Майстра».

Как она начнет? Как назовет их? Немцы? Эсэсовцы? Люди? Или просто скажет, что она мать и хочет мира для всех детей, для всех людей, хочет, чтобы слушающие ее немцы возвратились живыми домой, чтобы немецкие матери не прокляли свою судьбу, чтобы знали, что их сыновья будут живы и, когда придет время, они встретят их?

Первым будет говорить Юрий Ватер, юный латыш с иронической улыбкой на устах. От имени комитета «Свободная Германия» произнесет несколько слов Курт Эйзенмарк. Он предостережет тех, которые затаились в темноте и еще надеются чужой смертью отгородиться от собственной гибели, о несбыточности надежд. Потом микрофон возьмет она: «Вы слышите меня, немцы? Слышите голос матери?..»

Музыка смолкла. Где-то внизу гудит мотор автомашины, питающий током радиостанцию. Юрий Ватер кашлянул в кулак, сейчас будет говорить. Елена Дмитриевна почти ничего не видит в темноте, но сердцем чувствует, как он напрягся, замер в ожидании. Юрий напомнит немцам о жизни и смерти, напомнит о том, что есть две Германии — Германия свободы и Германия рабов. Может быть, сейчас и решится судьба окруженных? Возможно, сегодня на рассвете, с наступлением нового дня криком обновления, как бывает с только что родившимся ребенком, отзовется та Германия, которая с нетерпением ждет освобождения от ненавистного фашизма? Может быть, этот крик обновления благовестным звоном полетит в Берлин, Нюрнберг, Дрезден и другие германские города, донесется до известного всему миру Лейпцигского собора, где когда-то впервые исполнялись чудесные баховские оратории?

Тишина. Ожидание. Надежда.

И вдруг — прерывистый вой шестиствольных немецких минометов. Залаяли, заскулили, запенились неистовой злобой, словно кто-то потерявший рассудок, обезумевший начал резать на куски черный бархат неба. Полоснули раз, другой, третий... И небо будто разорвалось от края до края.

Лейтенант Юрий Ватер все еще не верил:

— Неужели это и есть их ответ?

К минометам присоединились пушки. Возле пруда загахкали взрывы. Снизу послышались чьи-то голоса. Может быть, солдаты уходят, оставляют хутор? А куда можно уйти в этой кромешной тьме?

Гремит со всех сторон. От взрывов натужно стонет земля. Кажется, на нее стотонными глыбами обрушиваются горы. Теперь не до музыки, не до призывов, не до убедительных слов матери. Те, что ведут огонь, наверное, взбесились от злобы и отчаяния. Они готовы взорвать своими минами весь белый свет, перепахать снарядами всю планету.

Лейтенант Ватер торопливо сматывает провод. Возле него возится солдат-связист. Воздух вибрирует от воя мин и снарядов. Кажется, вот-вот что-то огромное шарахнет прямо в окоп и все разнесет по холодному полю.

— Елена Дмитриевна, — потянул мать за локоть Ватер. — Пойдемте отсюда быстрее.

— Я ж еще...

Ей не верилось, что все их мытарства, все долгие минуты, проведенные в тесном окопе, были напрасными. Нужно отходить вниз, к пруду. Латыш настойчиво тянет ее туда.

— Значит, все?

— Все, Елена Дмитриевна.

В темноте натолкнулись на майора, он ждал их.

— За избой отрыты щели. Спрячьтесь пока там, Елена Дмитриевна. — Голос его был неузнаваемо твердым и властным. — А вы, лейтенант, идите к машине, поторопите шофера вывести ее на дорогу. Немного развиднеется, и мы поедем обратно.

Он еще не знал, какая судьба уготована и ему самому, и Юрию Ватеру, и Елене Дмитриевне, и Курту Эйзенмарку. Он не знал, что несколько часов спустя бригадефюрер СС Гилле донесет в Берлин, что «в результате ожесточенного боя с превосходящими силами про-

тивника эсэсовский батальон окружил и разгромил несколько подразделений русской пехоты», хотя и не станет уточнять, сколько и каких подразделений.

Это произойдет на рассвете. Это случится, когда омытое росою солнце глянет своим еще красным со сна глазом на маленький степной хутор, глянет на сожженные избы, на разбитую машину возле плотины и на людей в серых шинелях, которые будут лежать в окопах с замолкшими пулеметами и винтовками.

— Елена Дмитриевна, вы здесь? Пойдемте к плотине. Тут становится опасно.

— Я ничего не вижу, Юрий. Дайте вашу руку, помогите вылезти из этой ямы.

— Я тоже ничего не вижу, Елена Дмитриевна. Сейчас я помогу вам. Скоро будет светать. Слышите, немцы кричат в поле! Пойдемте к плотине, там наши занимают оборону.

— Ой, страшно ж мне, Юрий! Так страшно никогда в жизни не было.

— Дайте вашу руку, Елена Дмитриевна. Я сам отведу вас. Дайте руку!

В стороне от хутора, на бугре, ярко горит подожженный снарядами старый ветряк. Снаряды падают в пруд, разбивают лед и вместе с водой разбрасывают в стороны зеленый ил. Красноватые от зарева пожара волны грязной воды выплескиваются на берег.

Комдив смотрит на карту. Рядом стоят майор Грохольский, капитан Зажура и еще несколько офицеров. Указательный палец комдива неподвижно замер на какой-то точке.

— Это вот здесь, в районе хутора. Сведения разведки оказались точными. Единственная возможность восстановить положение и спасти их — танковый десант. Действовать надо быстро, очень быстро, иначе можем опоздать.

Генерал говорил спокойно, деловито, как о самом обычном боевом задании. А у капитана Зажуры все кипело в груди. Боль, раскаяние, обида теснили его сердце. Это он виноват в том, что мать поехала с радиостанцией на передовую! Как вернулся из госпиталя, может,

всего несколько часов и побыл дома вместе с нею, остальное время то в штабе, то в сельсовете. Побежала искать его и ввязалась в эту историю. И чего, спрашивается, надо старой? Сидела бы дома, занималась своими делами, так нет!

Генерал не хотел ее пускать. Отговаривал, умолял, чтобы не рисковала напрасно. Об этом Максиму рассказал майор Грохольский. Ему, Грохольскому, тоже неприятно, и у него душа болит оттого, что не вразумил старую женщину, не уговорил отказаться от поездки на передний край.

«Какая вообще польза уговаривать фашистов сдаваться в плен? — мысленно рассуждал с самим собой Максим. — Разве их словами убедишь? Снарядами надо убеждать. Это они лучше поймут. Танками тоже. Неплохо бы и несколько «катюш». Только так их можно убедить. Правильно, выходит, кто-то из наших ставичан сказал: «Ультиматум — гиблое дело».

Генерал свернул карту. Посмотрел на Зажуру.

— Ну так как, капитан, возглавите танковый десант? Сумеете добраться до хутора к рассвету?

Это его спрашивают. К нему, капитану Зажуре, обращается генерал. Проведет ли он танки на хутор? Конечно, проведет. Он знает этот хутор, знает самый близкий к нему путь. И, разумеется, возглавит десант.

— Разрешите выполнять, товарищ генерал? — подбросил он руку к шапке.

Генерал низко склонил голову над столом, тихо сказал:

— Выполняйте, товарищ капитан! Людей в десант выделит майор Грохольский. Взвода будет достаточно. Распорядитесь, товарищ майор! — кивнул он Грохольскому. Встал, подошел к Зажуре, положил ему на плечо руку. — Запомните, Максим: все теперь зависит от вас, от вашей оперативности. Нельзя медлить ни минуты. Берите мою машину и езжайте в танковый батальон. Там вас ждут.

Началось это так. Была уже глубокая ночь. Генерал Рогач собрался ехать в штаб дивизии. Грохольский вышел на крыльцо покурить. Зазуммерил полевой телефон. Генерал взял трубку:

— Первый слушает!

Звонил начальник штаба дивизии. Из его краткого доклада явствовало: по сведениям армейской разведки, бригадефюрер СС Гилле в самый последний момент приказал отвести 112-й пехотный полк с передовых позиций и заменить его эсэсовским батальоном; организованной капитуляции окруженных войск не будет; на левом фланге дивизии немцы ведут сильный артиллерийский и минометный огонь; предполагается, что они готовят прорыв из района Стеблева на Шендеровку.

Обычное, кажется, ничем не примечательное сообщение. Но генерал Рогач вздрогнул, когда услышал названия населенных пунктов. Как раз там...

В ту ночь почему-то всем казалось, что враг почти повержен, что он уже не способен ни активно обороняться, ни контратаковать. Командир дивизии тоже был уверен, что ничего существенного не случится. И все-таки случилось, произошло, может быть, непоправимое.

«Простишь ли ты меня, Елена? — думал генерал, вглядываясь в темень улицы, по которой только что прозвенели гусеницами тридцатьчетверки. — И прощу ли я когда-нибудь себе этот неосторожный шаг, эту свою мальчишескую безрассудность!..»

Восемь танков — восемь теней, восемь ревущих в причудливо-призрачном ночном поле великанов.

Впереди — вспышки осветительных ракет, гул артиллерии и пулеметная трескотня, то затихающая, то разгорающаяся с новой силой.

Капитан Зажура стоит, высунувшись до пояса из открытого люка первого танка, вглядывается в ночь, время от времени спускается вниз, напоминает механику-водителю, чтобы тот не сбивался с едва различимой колеи полевой дороги. Из всего десанта только одному Максиму известна эта дорога, ему одному. Она как будто самим его сердцем выхвачена из детских воспоминаний и узкой лентой тянется перед глазами, тоскливо зовет вперед.

Сквозь ночь, сквозь темноту — на свет вспыхивающих мертвенно-белым огнем ракет, в трескотню пулеметов, к оглушающим артиллерийским взрывам! Успеют или не успеют? Не бросились ли уже эсэсовцы в атаку на маленький степной хутор? Жива ли мама?

Кто-то предусмотрительно сходит с дороги, чтобы не попасть под гусеницы танка, останавливается на пашне. Солдат. За плечом — карабин.

— Эй, товарищ! Далеко еще до немца?

— В самое время приехали. Нам приказано оставаться тут, на второй линии обороны, а вам, наверное, нужно дальше, туда, где ракеты.

Теперь Зажура разглядел на ночном поле десятки, а может быть, сотни человеческих фигур: матушка-пехота — стрелки, пулеметчики, автоматчики, гранатометчики — на всякий случай зарывается поглубже в землю. А дорога тянется дальше. Дороге безразлично, куда она тянется и чьи ракеты освещают небо над ней.

Майор Грохольский сказал Максиму перед отправкой танкового десанта, что известие о смене немецких частей на позиции в районе Стеблева передала по рации наша разведчица. Зажура сразу догадался, кто она, кто через ночную непроглядь послал тревожное предостережение. Зося там, у них в тылу! Возможно, и мама уже где-то там. Всех он теряет. Может, такая у него судьба? Хочешь не хочешь, иди своей дорогой!.. Жизнь и потери, жизнь и разлуки.

Постепенно светало. Хутор уже близко. Посмотреть на него спешило солнце. Спешил и Зажура, все время поторапливал механика-водителя танка:

— Быстрее, друг! Быстрее!

Когда выбрались на высоту, с которой открывалась вся хуторская долина вплоть до леса, Максим увидел: внизу над прудом клубятся розоватые дымы и волнами растекаются по пепелищам.

Бой был скоротечный и страшный, неистовый и мстительный, кровопролитный и беспощадный. Бой на плотине, бой на пожарищах и разрушенных снарядами подворьях, бой между трупами и на трупах, между живыми и мертвыми.

Застигнутые врасплох, охваченные ужасом, эсэсовцы в черных шинелях, как дикие звери, метались по хутору, прятались в развалинах сараев, за стенами уцелевших изб, на огородах, в картофельных ямах и окопах. Но танки всюду настигали их.

Остатки эсэсовского батальона откатились к лесу. Преследуя врага, четыре танка вырвались на высоты за хутором и продолжали вести огонь из пушек по далеким разрозненным скопищам.

Потом стало тихо. Зажура вылез из вернувшегося на хутор танка и, пошатываясь, точно пьяный, побрел к пруду. Там, за плотиной, возле полувросшей в землю кузницы и сгоревшего студебеккера толпились солдаты.

Старая, хорошо знакомая с детства кузница на берегу пруда под дуплистым осокорем. На самом верху черной от времени и дыма крыши — пустое аистиное гнездо. Ствол осокоря расщеплен осколками снаряда. Старая кузница и дуплистый осокорь напомнили Максиму о чем-то почти забытом. «Тут кузнечил добрый бородатый старик. Летом мы приходили к нему, вместе клепали игрушечную мельницу... Тот же самый осокорь. Зося любила забираться на его вершину и прятаться там в густой листве».

Солдаты расступились, и Максим увидел у самого входа в кузницу... повешенных. По масляным пятнам на полах ярко-зеленой шинели он сразу узнал Курта Эйзенмарка. Шагнул вперед, к черному створу и увидел мать. Она показалась ему высокой-высокой и очень худой. Носки ее ног почти касались земли. Лица не было видно под темной крышей кузницы, будто, умирая, Елена Дмитриевна пожалела сына: спрятала лицо в тени, не хотела, чтобы он увидел его искаженным предсмертными муками.

— Уведите отсюда капитана! Слышите? — прозвучал в тишине чей-то грубоватый голос.

Максим, силясь удержаться на ногах, почти теряя сознание, привалился плечом к притолоке. Он узнал голос механика-водителя танка, растерянно подумал: «Куда увести? Зачем?..»

Два солдата бережно взяли было его под локти, попробовали оттащить от двери. Он сердито повел плечами и встал на прежнее место. Взгляд его был таким сосредоточенным, внимательным и... отсутствующим, что кто-то снова не выдержал, закричал:

— Да заберите же капитана, товарищи!

Те же два солдата наконец отвели его от двери кузницы, от того страшного места, которое печатью смерти навсегда вошло в его сердце, отвели подальше, почти

на противоположный берег пруда. Один из них вынул кисет с табаком, скрутил грубую козью ножку, раскурил и сунул Максиму в рот:

— Затянитесь, товарищ капитан! Глубже затянитесь, враз полегчает.

А ему нестерпимо хотелось обернуться и глянуть на открытую дверь кузницы. Но перед глазами были серые солдатские шинели, и что-то подкатывалось к горлу.

— Эх, товарищ капитан! — сказал, сурово нахмурив брови, молодой рослый ефрейтор. — Разве ж можно жалеть этих эсэсов? Германия тоже называется! Вы простите меня, товарищ капитан, но, будь моя воля, я бы всех их порешил, всех до одного, и тех тоже, что на скотный двор согнали.

Сочувствующий голос солдата был сейчас для Максима как рука друга. Услышав его, он постепенно стал ощущать прилив сил. Туман в глазах рассеялся. Вдали, за прудом, Зажура увидел восходящее солнце. Начинался новый день войны. В кузницу он, капитан Зажура, больше не пойдет. Потом распорядится, чтобы трупы повешенных отвезли в Ставки: там и маму, и Курта похоронят со всеми почестями. А сейчас он хочет посмотреть на эсэсовцев, на оставшихся в живых убийц.

— Где, вы говорите, пленные? Куда их согнали? — спросил он солдата.

— За огородами, в бывшем коровнике, товарищ капитан.

— Пойдемте туда.

— Пойдемте, товарищ капитан. Они вон там, — показал ефрейтор куда-то в самый конец почти полностью выгоревшего степного хутора. — Они ждут вашего решения, товарищ капитан, дрожат, наверно, как последние подлюги.

Несмотря на грозные окрики и ругань автоматчика, эсэсовцы выходили из коровника по одному. Было видно, что каждый из них старался оттянуть свой выход.

Под их ногами чавкал слежавшийся навоз. Остро пахло мочой и кизяками.

Пленные сгрудились под стеной коровника, в черных шинелях, с серыми, невыразительными лицами, с засунутыми в карманы руками и опущенными к земле гла-

зами. Один, топчась на месте, старательно сбивал с сапог грязь, нагнулся, счистил палочкой с подошвы прилипший кизяк. Другой нервно водил рукой по пуговицам шинели. Третий несколько раз поправил на голове пилотку. Остальные стояли, как в строю, спокойно, не шевелясь.

Зажура подошел ближе, обвел их суровым взглядом, пристально посмотрел в лицо почти каждому, но не увидел на лицах ничего — ни отчаяния, ни раскаяния.

Вероятно, они не раз наблюдали, как умирали другие. И сейчас с таким же тупым равнодушием готовы были принять собственную смерть.

— Дайте мне автомат! — попросил Зажура стоявшего рядом солдата.

Ему дали автомат. Руки Максима дрожали от напряжения. Каждый нерв звенел, как натянутая струна.

Эсэсовцы прижались к стене. Один из них, горбоносый, с припухлыми губами шагнул вперед.

— Ихь фюрхте нихт ден тод, абер, герр официр... вир габен ди фрау нихт генкен. Дас гат герр обер-лейтенант гемахт [1].

Зажура опустил автомат. Скрипнул зубами.

— Во ист ер? [2]

Немцы расступились. Горбоносый показал на худую, съежившуюся фигуру белобрысого офицера:

— Дизер! [3]

От неожиданности Зажура на мгновение растерялся. В пяти шагах от него стоял в надвинутой на уши пилотке, с густо заросшим белесой щетиной лицом Леопольд Ренн. Тот самый Ренн, которого Максим Зажура дважды спасал от смерти.

— Вы повесили тех... в кузнице?

— Когда мы пришли, они уже были мертвы. — Ренн приподнял голову, повел плечами, в его бесцветных глазах мелькнула искра досады. — Они все были мертвы. Я не должен отвечать за них.

Максим вернул автомат солдату. Рукам стало легче. Он тяжело вздохнул.

— Всех обратно в коровник! — кивнул Зажура на

---

[1] Я не боюсь смерти, но, господин офицер... мы не вешали женщину. Это сделал господин старший лейтенант. (*Нем.*)

[2] Где он? (*Нем.*)

[3] Этот! (*Нем.*)

продолжавших стоять у стены эсэсовцев. — Всех до одного доставить в штаб дивизии. Всех до одного! — И побежал к стоявшим за огородами танкам.

21

Им удалось спастись просто чудом. Был момент, когда всему, казалось, наступил конец.

«Чудо» свершилось после, оно пришло неожиданно. А началось все с отчаяния и удивительной, холодной злости к себе, к своей безрассудности, к своим непростительным промахам и ошибкам.

Ведь Блюме было известно, что этот отщепенец Леопольд Ренн не улетел в Брюссель. Ему не удалось улететь, потому что советские бомбардировщики вывели аэродром из строя. А раз так, следовало ожидать, что Ренн покажет свои волчьи клыки. Правда, после недавней встречи на явочной квартире корсуньских подпольщиков и после неудавшейся попытки улететь в Бельгию оберштурмфюрер куда-то исчез, будто забился в какую-то щель. Но, как оказалось, исчез он неспроста, исчез, чтобы ужалить как можно больнее, нанести смертельный укус. Не так уж трудно было догадаться, что он обязательно донесет бригадефюреру Гилле о связях майора Блюме с городскими подпольщиками, об измене, просочившейся в ряды «славного немецкого воинства», в самое его сердце — главный штаб окруженных войск. И Ренн, безусловно, донес. Не мог не донести, потому что был доносчиком и шпионом по природе.

Одного майор Блюме не мог понять: откуда бригадефюрер Гилле узнал о намерениях майора Гауфа? 112-й пехотный полк всегда считался надежным, его не раз бросали на самые ответственные участки фронта, и вдруг — разоружение.

Но об этом стало известно позже. Пока же бронированный вездеход, меся грязь, двигался к темневшему вдали лесу: майор Блюме и обер-лейтенант Кирш спешили в 112-й пехотный полк, к Гауфу. С ним имелась полная договоренность. Этот здоровяк с атлетическим разлетом плеч наконец-то понял, что жизнь гораздо ценнее, чем истерические заклинания доктора Геббельса.

Все было взвешено, обсуждено в деталях: если капитуляция отклоняется командованием, он, майор Гауф, вместе со своим полком демонстративно переходит на сторону русских. Частичная капитуляция! В кошмаре безумства один разумный шаг!..

Подъехали к какой-то небольшой деревне. Собственно, деревни уже не было, от нее осталось пепелище, где, точно проклятия, высились черные печные трубы да блуждали грязные, одичавшие кошки.

«Историки Германии когда-нибудь напишут десятки, сотни книг о великой русской кампании, — подумал Блюме. — Но скажут ли они хоть слово об этих жутких картинах варварства? Найдут ли слова правды, слова презрения к тем, по чьей воле мундиры немецких солдат и офицеров стали синонимом балахонов палачей?»

Поехали дальше. Прошмыгнула встречная машина, за ней другая. Кирш обернулся, внимательно посмотрел им вслед, настороженно прошептал:

— Эсэсовские. Это их номера!

Сразу за сожженной деревней в неглубоком яру они увидели с десяток танков.

— Из дивизии «Викинг», — сообщил Кирш, присмотревшись к эмблемам на бортах машин. Как офицер связи, он знал почти все дивизии и части, которые находились в окружении, знал и примерную их дислокацию. — Почему они здесь, герр майор? Позавчера я проезжал по этому шоссе, их не было.

— Может, бригадефюрер Гилле втайне от Штеммермана хочет предпринять попытку вырваться из кольца силами своей дивизии? — высказал предположение Блюме.

— Нет, герр майор, этого не может быть, — возразил Кирш. — Я слышал, новый удар по обороне русских готовится в направлении Шендеровки, а эта дорога ведет в Ставки. Тут что-то другое.

Проехали еще несколько километров. Путь преградил шлагбаум — тяжелая слега, подвешенная над булыжником шоссе. Откуда-то, точно из-под земли, выскочили три солдата в теплых зимних ватниках с капюшонами, обступили вездеход. Вероятно, они были не очень довольны своей сторожевой службой, к тому же изрядно продрогли на ветреном пустыре. Тем не менее один из них с категорической решимостью объявил:

— Дальше ехать нельзя, герр майор! Проезд закрыт. Вам, к сожалению, придется вернуться назад.

В словах эсэсовца не было ни злобы, ни подозрительности. Механически постукивая озябшими пальцами по стволу автомата, оттягивавшего ему шею, он даже чуть смущенно улыбнулся майору: я, мол, не виноват, так приказано!

Кирш бросил быстрый взгляд на Блюме, его рука невольно потянулась к лежавшему рядом автомату. Майор с подчеркнутой важностью высокопоставленного офицера откинулся на спинку кожаного сиденья, с притворным недоумением сдвинул брови.

— Так, говорите, проезд закрыт? А как же мне попасть в сто двенадцатый пехотный полк? Он где-то впереди.

Блюме говорил небрежным тоном, словно речь шла об обычной служебной поездке и он не ожидал встретить тут какие-либо другие войска, кроме нужного ему полка.

— Сто двенадцатого там уже нет, герр майор, — с готовностью пояснил молодой эсэсовец. — Он отведен в тыл. Теперь там оборону занимает батальон СС.

Это было так неожиданно, что Блюме на мгновение растерялся, но тут же взял себя в руки.

— Удивительно! — с прежним высокомерием проговорил он. — Произошли такие изменения, а в штабе генерала Штеммермана об этом ничего не известно.

— О, герр майор! — с апломбом сказал эсэсовец. — Мы прибыли сюда как раз вовремя. Говорят, в сто двенадцатом полку и даже в главном штабе войск обнаружили шпионов, изменников...

— Вот как?.. Неприятная новость. Надеюсь, у вас ничего такого нет?

— Что вы, герр майор! Фюрер дал нам право жестоко карать всех, кто поддается панике и проявляет слабодушие.

— Вера в фюрера — наше сильнейшее оружие.

— Безусловно, герр майор!

В этот момент на обочине дороги, в кювете зазуммерил полевой телефон. Эсэсовец — он, вероятно, был за старшего — козырнул, извинился и побежал вниз. Провожая его внимательным взглядом, Блюме положил руку на плечо водителю.

— Разворачивайтесь!

Водитель включил скорость. Передние колеса вездехода скатились в мягкую грязь, забуксовали. Сильный восьмицилиндровый мотор гудел ровно, без напряжения. Водитель, часто оглядываясь, стал постепенно разворачивать громоздкую машину. До Блюме доносились обрывки фраз, которые эсэсовец громко выкрикивал в телефонную трубку:

— У всех проверять документы?.. Да, да, понимаю, герр штурмфюрер!.. У офицеров штаба?.. Понятно!.. Какого майора?.. А?.. Что?.. Плохо слышно, герр штурмфюрер... Адъютанта генерала?.. Яволь, герр штурмфюрер!..

Блюме достал из кобуры пистолет, Кирш клацнул затвором автомата.

Машина уже развернулась и стояла теперь посредине дороги, задом к шлагбауму.

Эсэсовец торопливо бросил трубку, стал выбираться на шоссе.

— Вперед! Полный газ! — приказал Блюме водителю и с подчеркнутой небрежностью отсалютовал рукой стоявшим неподалеку солдатам в зимних ватниках. — Зиг хайль!

Эсэсовец, только что разговаривавший по телефону со своим начальством, секунду вытаращенными глазами смотрел на набиравший скорость вездеход, потом, опомнившись, громко заорал:

— Герр майор! Одну минуту...

Его обдало едким дымом и грязью. Машина понеслась вперед. Блюме закрыл глаза. Он ждал автоматной очереди, ждал свиста пуль...

Мощно гудел мотор. Подпрыгивали на выбоинах шоссе колеса. Блюме оглянулся, увидел суетившихся возле самодельного шлагбаума эсэсовцев, затем, переведя взгляд на Кирша, устало откинулся на спинку сиденья.

— Видно, нам благоволит судьба, Кирш, — сказал он. — Для нас осталась еще капелька счастья в этом страшном мире.

112-й пехотный полк они разыскали минут двадцать спустя. Обреченный, но еще не расформированный, он располагался в редком сосновом бору. Всюду горели костры — между деревьями, на тесных полянах, в неглубоких логах. Костров было много. Одни полыхали ярко, другие едва дымились. Одни казались кроткими, совсем

мирными, другие озлобленными. Только люди вокруг них были какие-то однообразные, малоподвижные, мрачные, ко всему безразличные, словно и не люди, а только их всполошенные тени. Они оцепенело тулились к кострам, зябко ежились, лежали и сидели почти без движений.

Командир полка майор Гауф в накинутой на плечи шинели сидел на пеньке, пил из алюминиевой кружки кофе.

— Салют непобедимому воинству! — нарочито бодрым голосом приветствовал его Блюме. — Не слишком ли много иллюминации в этом лесу?

Гауф неуклюже повернул к нему непокрытую голову, выплеснул остатки кофе из кружки, неторопливо поднялся, с безразличным видом прижал в знак приветствия руки к бедрам.

— Салют, господин майор!

Перед Блюме стоял живой мертвец: застывшие, ничего не видящие глаза, бледное, давно не бритое, заросшее густой щетиной лицо. Фуражка валялась на земле, возле его ног.

— Христиан, я должен с тобой поговорить, — деловым тоном произнес Блюме, сразу понявший, что сейчас, в этом лесном бивуаке, только он способен принять какое-то важное, ответственное решение:

— Я слушаю. Откуда ты приехал? — равнодушно скользнул по нему взглядом Гауф.

— Удираю от мести нашего эсэсовского патрона.

— Значит, пробил и твой час?

— Нет, просто изменение тактики борьбы. До сих пор она была скрытой, невидимой. Теперь он кое-что узнал обо мне и решил нанести удар. Между прочим, его патруль засек нас на дороге, пришлось удирать... Вообще, что случилось, Христиан? Как вы могли допустить эту мерзкую комедию с полком?

— Сто двенадцатого полка больше не существует. Остался лишь его командир. Разве тебе этого мало? — В голосе Гауфа проскальзывала насмешка над самим собой: ни тени злости и обиды, в этом человеке, казалось, все умерло, угасло. — Нас выгнали с боевых позиций, как стадо альпийских овец. Обер-лейтенант Гутше застрелился, лейтенант Люкмар сошел с ума — его пришлось связать.

— А твои солдаты? Твои мужественные гренадеры?! — крикнул Блюме.

— Ты видишь их перед собой, Конрад, — кивнул Гауф на дымы костров. — Впрочем, те, которые остались со мной, ни на что не способны: раненые, контуженые и просто до изнеможения уставшие, выдохшиеся. Остальные удрали, разбежались, кто куда.

Блюме охватило негодование. Глаза его сверкнули гневом. Это же чудовищно, неимоверно дико, противно человеческому естеству: здоровые разбежались, а раненые, контуженые, больные покорно ждут смерти! Да и сам майор Гауф, хотя и здоров, но будто лишился разума, неприкаянно бродит между деревьями. Чего он ждет? На что надеется?

— Какие могут быть надежды? — безвольно махнул рукой Гауф.

Он, командир полка, заподозрен в измене и будет расстрелян. Раненых и больных эсэсовцы тоже не пощадят. Все они решили ждать конца. Он, Гауф, до последнего дыхания останется с этими несчастными, как подобает офицеру.

У Блюме между тем созрел план действий, он тщательно обдумал его, пока ехал сюда: поскольку полк не разоружен, необходимо занять круговую оборону, окопаться и не подпускать к себе ни одной живой души. Все те, кто еще может владеть оружием, должны понять, что защитить, спасти себя они могут лишь собственными силами. Ждать уже недолго, русские близко. Однако, возможно, придется драться с эсэсовцами, драться по-настоящему, а потом добровольно сдаться в плен русским.

— Как?.. Поднять полк против своих? — прошептал побелевшими губами Гауф.

— Против тех, кто вынес тебе смертный приговор, кто хочет уничтожить твой полк.

— Я не имею права. Я офицер!

— Ты прежде всего человек, Христиан. Пойми это, — с гневным отчаянием выдохнул Блюме. — Ты сам давно чувствовал, к чему все идет. Ты всю жизнь сомневаешься. Сколько можно сомневаться? Пора в конце концов взять себя в руки.

— Погоди, Конрад! — проворчал с недоверчивой, вымученной усмешкой Гауф, которого последние слова

Блюме, видимо, задели за живое. — Допустим, я займу круговую оборону, буду драться с эсэсовцами. Но сколько мы можем продержаться? Час, два, не больше. У нас мало оружия и боеприпасов. Всего девять пулеметов, три эрликона...

— И майор Гауф с железным сердцем солдата! — серьезно сказал Блюме, взял Гауфа за локоть, притянул к себе. — Не в эрликонах и пулеметах главное, Христиан! — Помолчав, добавил: — Русские, вот кто нас выручит. А для этого надо немедленно установить с ними связь. Ты, надеюсь, сохранил полковую радиостанцию?

До Гауфа не все доходило. Он еще не в состоянии был понять, сердцем почувствовать тот рубеж, за который уже шагнул и который ему предстоит преодолеть.

Русские! Значит, его полк и его самого могут спасти только русские, те самые, с которыми он почти три года воевал, которых привык считать своими врагами и врагами своей родины — Германии. Но почему они должны спасать его и в чем будет состоять это спасение? «Германии грозит опасность быть захлестнутой волнами большевистского вандализма!» — чуть ли не ежедневно кричит по радио доктор Геббельс. «Спасайте чистоту немецкой крови от славянских ублюдков!» — вторит Геббельсу Розенберг. Впрочем, теперь уже трудно что-либо спасти. Германию ждет позорный крах. Война проиграна. Остается одно — умереть. Честно умереть!..

Смерть от пуль эсэсовцев Гауфу была сейчас милее, нежели добровольная сдача в плен и братание с красными. Да, он поддался уговорам своего друга Блюме, заверил его, что капитулирует вместе с полком перед русскими, покажет пример. Он просто не хотел неоправданных жертв, ему жаль людей. Но это было три дня назад, когда существовал полк. Теперь полка нет. Кто будет капитулировать? Раненые, контуженые и больные? Им все равно, где и как умереть!

Гауфу никогда не была близка политика. Он не очень разбирался в ней и, главное, считал ее делом небольшого числа людей. Что же касается всех остальных, то они, по его мнению, просто-напросто обязаны подчиняться приказам и распоряжениям властей. Немцы умеют подчиняться силе и власти, в этом им не откажешь.

Гауф не питал особой ненависти к красным, к их доктринам. Что они ему! Он не политик, а военный. Но

его сердце замирало при мысли о Германии, к границам которой приближались русские войска.

Такие, как Гауф, быстро не прозревают. Для прозрения им требуется время, много времени. Минут годы. На руинах войны появятся первые всходы новой Германии, миллионы немцев приступят к ее созиданию, и только тогда Гауф, если доживет, сможет по-настоящему осознать значение того, что произошло в феврале сорок четвертого года.

Сейчас он подчиняется только жестокой необходимости, и потому у него такое темное, недоступное лицо, потому он соглашается и не соглашается с доводами своего друга Блюме.

— Ефрейтор Арнд сбежал. Многие сбежали, но радиостанция цела. Если надо, ее можно включить. — Гауф почти сбросил с себя тупое оцепенение. — Я сам кое-что смыслю в радиоделе. Пойдем, Конрад!

Блюме облегченно вытер тыльной стороной ладони лоб и этим как бы согнал с лица дневные тревоги, неприятности, усталость.

— Пойдем, Христиан! Медлить нельзя. Сейчас дорога каждая минута, — говорит он решительно и властно, шагая вслед за Гауфом.

22

альт! Одер ихь шиссе![1]

Ствол пулемета угрожающе повернулся в сторону дороги. Над ним блеснула немецкая каска.

Партизаны залегли в кювете, приготовили оружие. В любое мгновение могла полоснуть пулеметная очередь. В любой миг на узкой лесной дороге-просеке мог вспыхнуть бой.

Зося держала в руке гранату, ждала, что же будет дальше, обдумывала, как лучше поступить. Она лежала на животе, в очень неудобном положении, втянув голову в плечи. Раздражал упиравшийся в бок острый камень. Еще больше раздражали досада и неизвестность. Неужели они напрасно спешили сюда?

---

[1] Стойте! Или я буду стрелять! (*Нем.*)

Падал липкий снег. Крупные снежинки мягко оседали на лица людей, на оружие, на ватники и шапки. Лес казался безлюдным и глухим, хотя где-то в глубине его дымились костры.

Зося крепче стиснула рукоятку гранаты. В крайнем случае, она быстро справится с теми двумя, что лежат у пулемета. Сумеют постоять за себя и ее друзья. И все-таки это будет ненужный бой, неоправданные жертвы.

В полученной ночью радиограмме партизанам было приказано вступить в контакт с командованием 112-го немецкого пехотного полка. Полк намеревается капитулировать. Необходимо принять от немцев оружие и обеспечить быстрый вывоз из зоны боев всех раненых немецких солдат и офицеров. В радиограмме указывалось место расположения полка, примерное число солдат в нем, его вооружение.

А почему, собственно, партизаны должны спасать больных и раненых немцев? За какие такие заслуги? Зося никак не могла этого понять. Сами-то немцы никогда не нянчились с нашими пленными, в том числе и с ранеными. Даже больше: они нередко добивали раненых советских солдат. А тут — «обеспечить быстрый вывоз из зоны боев всех раненых немцев»!

Чтобы добраться до расположения полка, партизанам пришлось целую ночь осторожно прокрадываться по занятой врагом территории, избегать стычек, пережить множество всевозможных опасностей. Наконец добрались, и вдруг опять: «Хальт!» Грозное немецкое «хальт»!

Снег падал все гуще. За его белой пеленой с трудом различались деревья. Но вот на взлесье замаячила высокая фигура в бекеше с меховым воротником. Зося сразу узнала майора Блюме, крикнула ему. Услышав знакомый голос, офицер огляделся кругом, быстро зашагал к дороге, по пути отдал какое-то распоряжение пулеметчикам. Зося поднялась ему навстречу.

Блюме спешил. Молча отдал партизанам честь, пригласил Зосю и нескольких мужчин с собой. Возле почти угасшего костра представил им майора Гауфа.

Партизаны держались настороженно, с холодной предупредительностью, все время стремились быть ближе к Зосе, словно все еще не доверяли немцам.

Гауф сурово хмурил брови, старался быть подчеркнуто официальным. Четко козырнул, застегнул шинель, с

недоумением посмотрел на Зосю. На его полном лице мелькнула тень отчужденности.

Тут же, возле костра, не присаживаясь, начали переговоры. Ситуация малоутешительная. Бригадефюрер Гилле объявил 112-й пехотный полк подлежащим расформированию «за измену фюреру и нации». Этого обвинения более чем достаточно для того, чтобы подвергнуть его солдат и офицеров жестоким репрессиям. Возможно, спасая собственную шкуру, эсэсовский генерал не сможет выполнить своего намерения, однако имеются сведения, что он еще не оставил мысли наказать непокорный полк, и прежде всего майора Гауфа. Теперь, когда части дивизии «Викинг» и другие эсэсовские подразделения находятся так близко, возможны любые неожиданности: достаточно лишь одному батальону головорезов появиться в расположении полка, может случиться непоправимое.

— Поэтому мы приветствуем вас и хотим верить, что вы непременно поможете этим несчастным, обманутым людям, — сказал Блюме, заканчивая свое краткое обращение к партизанам.

Некоторое время все молчали, стояла настороженная тишина. Гауф низко опустил голову. Было задето его самолюбие, и он не скрывал своего недовольства. Конечно, бригадефюрер Гилле не пощадит ни полк, ни его самого. Он, майор Гауф, вынужден капитулировать. Но перед кем полк должен сложить оружие?

В разговор вступил один из партизан, степенный, немолодой железнодорожник.

— Я полагаю, дипломатия тут ни к чему, — сказал он. — От имени советского военного командования мы предлагаем вам безоговорочно капитулировать.

Блюме перевел его слова Гауфу. Тот иронически пожал плечами. Безоговорочная капитуляция? Он ждал большего великодушия от Советской Армии. Его полк и сам он готовы сдаться в плен, отдать себя в руки победителей, но, как немецкий офицер, он считал бы более уместным договориться о капитуляции с представителем советского военного командования, а не с гражданскими лицами.

Партизан не понял его напыщенной тирады, зато ее прекрасно поняла Зося.

— Товарищ Блюме! — сказала она с досадой. — Объясните господину майору Гауфу, что мы не имеем ни желания, ни времени устраивать тут дипломатический торг. Мы передаем официальное требование о безоговорочной капитуляции полка. Если господин Гауф принимает его, то обо всем остальном договориться будет нетрудно.

— Думаю, что этого достаточно, — быстро произнес Блюме и перевел взгляд на Гауфа, которому еще раз пояснил, чего от командира полка требуют партизаны. Гауф утвердительно кивнул. После небольшой паузы Блюме объявил: — Безоговорочная капитуляция принимается.

Гауф достал из кобуры пистолет, демонстративно протянул Зосе. Губы командира полка дрожали. Казалось, он задыхался.

— Битте!

— Пистолет еще пригодится господину майору, — отстраняя его руку, сказала Зося по-немецки. — Не думает же господин майор, что женщина прикроет его от эсэсовской пули. Господин майор, вероятно, умеет метко стрелять, хорошо владеет оружием, иначе он не оказался бы так далеко на чужой земле. — Голос ее сделался мягче: — Давайте лучше обсудим, как мы встретим посланцев бригадефюрера Гилле, если они вздумают осуществить свой план уничтожения полка.

Отведенный с передовых позиций, деморализованный, поредевший полк Гауфа, безусловно, не имел теперь для немецкого командования реальной ценности. Он был вычеркнут из списка действующих. Он больше не существовал. Да и какое, собственно, значение мог иметь один пехотный полк, если были разгромлены десятки полков, если даже от считавшейся одной из лучших в гитлеровской армии танковой дивизии «Викинг», которой командовал эсэсовец Гилле, осталось не больше одного по-настоящему боеспособного, полноценного батальона. Горючее на исходе. Не так много и боеприпасов, а доставка их воздушным путем сопряжена с неимоверными трудностями. Гилле понимал безвыходность положения, свою полную обреченность. Контролируемая немецкими войсками территория сократилась до мизерного клочка в районе Стеблева, Шендеровки, Ново-Буды и Джурженцев. Рассеялись надежды и на вызволение извне.

Тем не менее, готовясь к последней отчаянной попытке прорыва, Гилле не забыл о тех, которые «в критический для нации и фюрера момент проявили преступное слабодушие и согласились капитулировать». Впрочем, теперь он собирался наказать не только командира 112-го пехотного полка майора Гауфа и подчиненных ему офицеров. Садистская натура Гилле требовала большего: полного истребления полка. Именно полного истребления! Когда он, Гилле, вернется в Германию, эта суровая акция будет блистательным подтверждением его арийской полноценности, его фанатической преданности фюреру.

Всю ночь и весь день 16 февраля колонны окруженных войск по раскисшим дорогам двигались в направлении Шендеровки. Шли пешком, медленно тащились на подводах и верхом на исхудавших от бескормицы лошадях, ехали на заляпанных грязью, часто застревавших в колдобинах машинах.

В колоннах почти не было артиллерийских орудий — их пришлось бросить в непролазных болотах, оставить полузатонувшими на черноземных раскисших полях.

Почти не было и танков — они остались на обочинах дорог с пустыми баками, без капли горючего.

К Шендеровке сползались не солдаты, а отупевшие, задерганные, обозленные, разочаровавшиеся и отчаявшиеся, потерявшие человеческий образ смертники, с закутанными женскими платками головами, с грязными, обросшими густой щетиной лицами, с глазами, полными страха и безнадежности, с опущенными, болтавшимися, точно плети, руками. Сползались потому, что их поманили туда несбыточной надеждой: в Шендеровке спасение! Сползались потому, что их гнали туда офицеры, гнали эсэсовцы, гнали гестаповцы и жандармы, гнали все, обладавшие хоть какой-нибудь властью и силой.

Одному эсэсовскому батальону, сохранившему какую-то боеспособность, было приказано свернуть с главного направления и уничтожающим ударом разметать остатки 112-го пехотного полка. Мстительность бригадефюрера Гилле не угасла. Арийский дух и садистская натура убийцы требовали удовлетворения.

Встреча эсэсовского батальона с обреченным на уничтожение полком должна была состояться в послеобеденную пору. Командир батальона оберштурмфюрер Ли-

бих отвел на всю операцию ровно час. Ни одной минуты больше! Люди Либиха имели богатый опыт в таких делах. К тому же они не хотели отстать от тех, кто шел к Шендеровке искать спасения. «Чем черт не шутит! — рассуждали они. — Может, в самом деле удастся выскочить из этого дьявольски крепкого русского мешка?»

23

верху, с высоты птичьего полета, Задеснянский видел огромную, растянувшуюся на несколько километров колонну вражеских войск. Видел не людей. Видел темные точки, ползшие между застрявшими в грязи автомашинами и танками, между уныло молчавшими орудиями и возвышавшимися к небу черными печными трубами выжженных селений. Видел грязный муравейник, гнойную накипь. Это было отказавшееся от капитуляции гитлеровское воинство.

Задеснянский вел машину низко под темно-серыми, взлохмаченными, обложными тучами. Посеребренная снегом земля открывала перед летчиком хмурые пейзажи. Повсюду грудились свалки боевой техники. Дороги пестрели лишаями воронок. И самое страшное — пожарища, пожарища, пожарища!

Этот разведывательный полет Задеснянский совершал по заданию самого командующего воздушной армией. Вчера в разгар свадебного веселья командующий армией вызвал подполковника Савадова и его, Задеснянского, к телефону. Сначала говорил Савадов, потом передал трубку Задеснянскому.

— Мне доложили, товарищ старший лейтенант, что вы партизанили в корсуньских лесах, хорошо их знаете, — услышал тот в трубке добродушный бас. — А нам нужны точные сведения, куда двигают немцы свои части. Где, в каком районе пытаются сосредоточить силы? По сведениям синоптиков, завтра — нелетная погода. Но ждать нельзя. Вам придется вылететь в разведку. Сможете?

Задеснянский ответил утвердительно. Он не мог, не имел права ответить иначе. Что из того, что погода не-

летная? Он прекрасно знает корсуньские леса, сделает все, как нужно.

— Ну вот и хорошо, — сказал командующий. — Верю, что вы выполните задание. И еще одно, товарищ старший лейтенант. В квадрате «Б-5» — посмотрите на карту — немцы согнали в лес раненых и больных, устроили какое-то подобие госпиталя без врачей. У нас имеются сведения, что эсэсовское командование намеревается отдать приказ об уничтожении раненых. Своих же раненых, немцев! Наша обязанность спасти людей. На этот счет даны необходимые указания партизанам. Надо проверить, какие силы охраняют этот госпиталь. Выдержат ли партизаны до подхода наших танков, если немецкое командование бросит на истребление своих раненых эсэсовские подразделения?

Задеснянский вспомнил вчерашнюю свадьбу. Их с Клавой свадьбу.

Праздничный, свадебный ужин на прифронтовом аэродроме. Он мало чем похож на свадебный банкет мирного времени, но все равно это была свадьба, самая настоящая свадьба!

В жарко натопленной штабной землянке собрались его и Клавины друзья-летчики, расселись вокруг грубо сколоченного из неоструганных досок стола, по случаю торжества накрытого белой простыней. Они пришли поздравить молодоженов: его, Виталия, и Клаву. Пришли без традиционных подарков, без шампанского и цветов. Вместо цветов на столе стояли две банки из-под консервов с букетиками багрово-желтых березовых веток, опаленных морозными ветрами. Вместо хрустальных рюмок и фужеров были обычные чашки и стаканы. Вместо столовых мельхиоровых приборов — алюминиевые ложки. Вместо тарелок — алюминиевые миски. Всю посуду для свадебного ужина Клава позаимствовала в полковой столовой. Скромная, даже очень скромная закуска и несколько бутылок обычной водки. Сколько ни старались ребята, но шампанского так и не раздобыли. Для женской половины участников торжества удалось купить в дивизионном отделении Военторга всего две бутылки портвейна.

И все же повеселились на славу. Были тосты. Сначала выпили за молодых. Потом, как водится, за светлую память погибших в боях друзей. Ну, а дальше за тех,

кто ежедневно поднимается на боевых машинах в воздух, чтобы разгонять и уничтожать в небе смерть. Был и еще один тост. Его провозгласил подполковник Савадов. Он пожелал молодоженам счастливой семейной жизни.

Вдруг широко распахнулась дверь. В землянку вошел оперативный дежурный штаба, объявил, что подполковника Савадова и его, старшего лейтенанта Задеснянского, вызывает к телефону командующий армией. Клава немного испугалась, взяла его за руку:

— Зачем это, Витя? Почему вдруг звонит тебе командарм? Как ты будешь с ним говорить? Он ведь догадается, по голосу узнает, что ты выпил.

Он успокоил Клаву:

— Не волнуйся. Я быстро!

От порога землянки еще раз улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась.

Первая свадебная ночь показалась совсем короткой. Она запеклась в сердце жаркими Клавиными поцелуями...

Задеснянский напряг внимание. Впереди показался редкий сосновый бор. Вот уже самолет над ним. Внизу, между деревьями, в оврагах и на взгорках — сотни костров, совсем мирных, бивуачных, будничных.

«Наверное, это и есть тот самый «лесной госпиталь», о котором говорил командующий? — подумал Задеснянский. — Там по большаку движутся маршевые колонны к Шендеровке, а здесь — костры, струйки дымов. Тоже немцы, только уже отвоевавшиеся, присмиревшие».

Глянув на карту, он доложил по рации, куда направляются колонны немецких войск, сколько их, по его приблизительным подсчетам, где он обнаружил наиболее крупные скопления. Доложил и о «лесном госпитале». Он видит его — ничего особенного: вроде мирного бивуака.

В боевом развороте еще раз пронесся над лесом, повторил по рации: «Вижу «Б-5». Никакой охраны. Раненым немцам, по-моему, пока ничто не угрожает».

Только закончил передачу, как увидел россыпь черных точек неподалеку от опушки леса. Эсэсовцы! Непременно они. Как он не заметил их раньше?

— «Орел!» «Орел»! Вы меня слышите? Прием...

Неожиданно блеснула огненная трасса. Самолет вздрогнул, задымился, лес начал круто нарастать сбоку.

«Подбили! — мгновенно мелькнуло в мозгу, и холодное бессилие растеклось по всему телу. — Не успел доложить...»

Лес приближался, редел, деревья словно разбегались в стороны. Мелькнул один костер, другой, третий... Лесная просека... Мотор еще тарахтит... Еще можно приземлиться...

Самолет пронесся над кустами, разбросал в стороны тучи рыжей грязи и замер над кюветом.

24

теммерман быстро вошел, а точнее, вбежал в избу, где размещался штаб дивизии «Викинг». Генерал был до предела зол, прямо-таки взбешен, глаза его полыхали яростью.

— Как вы посмели?.. — закричал он на стоявшего у окна большой комнаты в вольной, развязно-пьяной позе бригадефюрера Гилле. — Как вы посмели в такой момент, когда все поставлено на карту?!

— Генерал, я не люблю грубостей, — пробубнил Гилле, качнувшись всем телом в сторону Штеммермана.

— Я требую от вас объяснений, герр бригадефюрер! — продолжал кричать генерал. Левая щека его спазматически дергалась. — Как вы посмели нарушить утвержденный план действий?

— Генерал, я не люблю, когда со мной разговаривают таким тоном, не люблю истеричных криков! — еще сильнее качнулся Гилле вперед. — Вы жалеете изменника Гауфа? Может, вам жаль тех, уже ни на что не годных мерзавцев, которых сейчас добивает в лесу батальон Либиха? Не советую их жалеть, генерал!

— Я ничего не могу понять, бригадефюрер. — Штеммермана охватило отчаяние. Он вдруг весь как-то сжался и казался теперь совсем маленьким, беспомощным перед упитанным, плотным, пьяно-развязным эсэсовцем. — Послать самый боеспособный батальон в карательную экс-

педицию, когда мы стоим на пороге полного разгрома, на пороге смерти! Какой в этом смысл?

— Определенный смысл есть, мой генерал! Мне очень досадно, что вы не понимаете или не хотите этого понять. Смысл в том, чтобы уничтожить все непокоряющееся, неподчиняющееся нам. Либо победа, либо смерть, то есть полное уничтожение! Мир не может, не должен существовать после нашего поражения. И поражения не будет, генерал! Слышите, никогда не будет! После нас ничего не должно остаться. Ничего!..

Штеммерман с ужасом смотрел на взбесившегося эсэсовца. Он был ошеломлен, какое-то мгновение чувствовал себя словно подавленным вспышкой фанатизма Гилле: как легко таким людям бороться и умирать! Но тут же им вновь овладело злое упрямство. «Умирать вместе с ним?.. Умирать ради его маньячных идей? Ни за что!..»

Постепенно освобождаясь от отчаяния и безвольной покорности, он как бы вновь вырастал, поднимался над своим противником. Сегодня, в эту последнюю ночь, только он, генерал Штеммерман, будет принимать решения.

Генерал приблизился к бригадефюреру, разгневанный, с белой как снег головой, с такими же белыми губами.

— Вы... вы ничтожество! — выдавил он из себя, вырвал из самой глубины сердца безжалостные слова. — Вы убийца! Запомните: никакого вмешательства в мои дела! Никакого сопротивления моим приказам, иначе я расстреляю вас. Управление боем остается за мной.

Гилле иронически ухмыльнулся, натянул на лицо маску мнимой покорности.

— Я рад выполнять ваши приказы, мой генерал!

— Садитесь в бронетранспортер и уезжайте! Если сможете, пробивайтесь к своим, спасайтесь!

— А вы?

— Я отвечаю за вверенные мне войска.

— Прекрасно, мой генерал! Фюрер не забудет вашего мужества. Но батальон Либиха уже не вернуть. Эсэсовцы — рабочий скот. Все равно эта шваль из сто двенадцатого полка будет истреблена. Я предлагаю вам место в правой колонне войск, мой генерал, в дивизии

«Викинг». Шесть бронетранспортеров... Если кому и удастся уцелеть, то только нам.

Ответа он не услышал. Ответом были резкий хлопок дверью и быстрые шаги генерала под окнами.

Погода окончательно испортилась. Вновь вернулась зима. Непроглядно вьюжило. Небо заволокло снежными тучами.

Штеммерман, опустив голову, раздраженный, разгневанный, задыхающийся, торопливо месил плохо слушавшимися ногами липкую кашу из грязи и снега. Его догнал новый адъютант, заменивший майора Блюме, — молодой, стройный обер-лейтенант, в теплой гренадерской куртке. Решительно взяв генерала под руку, он повел его куда-то по огородам, повел на последнюю ночевку, на окраину села, подальше от криков и пьяных оргий эсэсовцев.

— Обер-лейтенант, я имел сейчас откровенный разговор с бригадефюрером Гилле, — сдерживая дрожь, сказал Штеммерман.

— Вы должны отдохнуть, мой генерал. Я нашел для вас теплую избу, приготовил постель. Вам нужно отдохнуть, немного поспать.

— А русские?.. Как вы думаете, русские сегодня спят?

— Нет, мой генерал. Русские, вероятно, готовятся к бою. Наверное, после того как мы отвергли их ультиматум о безоговорочной капитуляции, генерал Конев отдал приказ вести бой на уничтожение окруженных войск. Я боюсь Конева. Это мужественный и смелый человек, пользуется непререкаемым авторитетом, и русские войска, несомненно, выполнят его приказ. Говорят, он часто сам управляет боем, по нескольку дней не вылезает из танка.

— Я хотел бы встретиться с Коневым, обер-лейтенант.

— Он, наверное, тоже хочет встретиться с вами, мой генерал.

Они вышли на какую-то небольшую боковую улицу. Тут было несколько тише: не так сильно дул холодный ветер. Под заборами стояли обсыпанные снегом грузовые машины. Из темноты неожиданно выплыли сани. Грива-

стые, крутобокие лошади тяжело тянули их, пробиваясь сквозь заметь. Вслед за санями устало двигалось несколько человеческих фигур.

Закутанный по самые глаза женским платком офицер спросил, как проехать в штаб танковой дивизии. Голос у него был хриплый, едва слышный.

— Никакого штаба нет. Я генерал Штеммерман. Что вы везете?

— Печальную весть, герр генерал, — сказал офицер. — На первых санях труп оберштурмфюрера Либиха, на вторых — еще три офицера нашего батальона, тоже убитые. Русские партизаны не пропустили нас в лес, к остаткам сто двенадцатого полка.

— А майор Гауф? Он остался жив?! — выкрикнул Штеммерман и мысленно представил себе лес, усеянный трупами. Подошел к первой подводе, приподнял засыпанный снегом брезент. Рядом с застывшим трупом Либиха лежал труп молодого русского летчика в кожаной куртке.

— Зачем вы привезли русского?

Офицер сбросил с головы платок и, протирая залепленные снегом глаза, пояснил: этот русский летчик — ас, его самолет был сбит над лесом, как раз там, откуда батальон СС должен был выйти в расположение 112-го пехотного полка; летчик сумел посадить подбитый самолет на просеке и, когда батальон СС двинулся по направлению к 112-му полку изменника Гауфа, открыл огонь из пулемета, долго отстреливался, убил оберштурмфюрера Либиха. Потом батальон нарвался на засаду партизан, понес большие потери. Партизаны и этот летчик, вероятно, имели приказ прикрыть остатки полка Гауфа.

— Как?.. Вы слышите, обер-лейтенант? — обернулся Штеммерман к своему адъютанту. Генералу вдруг сделалось жарко, очень жарко — он с силой рванул отвороты шинели. — Русские спасают от уничтожения раненых и больных немцев, спасают немецкий полк! Это неслыханно!.. Храбрость, жестокость и благородство! Это просто необъяснимо!..

— Оберштурмфюрер тоже погиб в бою храброй смертью! — вставил сопровождавший сани офицер.

— Да, да! Это делает ему честь. Он выполнил приказ. Жестокий приказ. — Генерал опустил брезент, за-

стегнул шинель, наклонил голову в кудлатой шапке и против ветра зашагал во тьму. Долго шел молча. Потом резко обернулся к адъютанту.

— Ваш предшественник — майор Блюме — говорил, что обязанности немецких солдат в этой кампании не делают им чести. Как вы на это смотрите? — Не дождавшись ответа, еще ниже опустил голову и как-то не в лад с только что сказанным добавил: — Оберштурмфюрер Либих погиб не за Германию. Он умер за идиота Гилле.

Ночь осыпается снегом. Весь мир будто сорвался с места, тонет в снежно-ветреной дали. Сквозь поднявшуюся вьюгу не видно ни изб, ни машин, ни людей. Немецкие солдаты бредут в круговороте пурги. Натужно ревут моторы, чавкают в снежно-грязевом месиве шаги.

Пронесся верховой. Сразу исчез за снежной завесой. И снова шагают тени-привидения. Белый ветер бешено воет над белым притихшим селом.

Кое-где в окнах изб светятся огоньки. Это не мирные огоньки. Их зажгли не шендеровчане. Во всех избах полно солдат. Грязные, оборванные, завшивевшие, мокрые, они греются возле печей, тянут руки к огню, что-то жарят, что-то жрут, что-то пьют. Эта ночь — последняя ночь перед последней попыткой вырваться из кольца — предоставлена им для отдыха.

Генерал Штеммерман стоит у крыльца избы, в которой ему предстоит пробыть до рассвета.

— Узнайте, обер-лейтенант, все ли люди размещены в тепле? Все ли накормлены? — обращается он к адъютанту.

— Я уже узнавал, мой генерал! — Обер-лейтенант едва держится на ногах, его удивляет, откуда берутся силы у старого генерала. — Всем разрешено съесть неприкосновенный запас. Выданы спирт и шнапс. У населения реквизирован скот.

— Реквизирован скот? — Генерал невольно нахмурил брови. Жестокости войны, которые часто осуществлялись с его молчаливого согласия, вызывали в нем раздражение. — Бог, наверное, покарает нас, обер-лейтенант. Прошу вас проследить, чтобы не было никаких эксцессов.

— Не беспокойтесь, мой генерал! Все население эвакуировано из зоны боев. Людей выгнали в поле, разу-

меется, для их же безопасности. Русские умеют устраиваться в снегу.

— В поле? В такую стужу! — вздохнул генерал и посмотрел на небо, угрожающе низкое и беспокойное, завихренное белой пеленой. Оно казалось ему понятнее и ближе, нежели все то, что происходило на земле.

Штеммерман вошел в избу. Устало присел на скамейку. Глаза резанула высокая, застеленная по-деревенски постель с горкой белых, тугих, чистых подушек. Адъютант помог ему снять шинель, сапоги. Он рывком поднялся, подошел к кровати и почти в изнеможении упал на нее, зарылся лицом в прохладной свежести грубой материи. Перед закрытыми глазами вновь поплыло завьюженное небо. Снежное небо сливается с белым покрывалом, окутывает Штеммермана, и он все дальше, все глубже проваливается в теплоту неведомого наслаждения, в блаженство забытья...

Вдруг за спиной что-то стукнуло. Дохнул холодный ветер. Изба загудела голосами.

— Вы генерал Штеммерман?

Не оборачиваясь, он догадался: русские! Чужие слова, чужие голоса — все чужое. Ему захотелось увидеть их лица. Он обернулся. Нет, не русские! Перед ним стоял майор Блюме в парадном мундире, с Рыцарским крестом на шее. Рядом оберштурмфюрер Либих в шинели, обсыпанной снегом, с белыми, обмороженными щеками. Чуть дальше — молодой летчик в кожаной куртке, с закрытыми глазами.

Откуда-то понесло могильным холодом. Генерал почувствовал его, ощутил всем своим старческим телом, задрожал, будто облитый ледяной водой, но не упал, даже не испугался. Заставил себя встать. Четко отдал честь, сказал:

— Я согласен капитулировать! Идите к русским. Спасайте армию! Слышите?.. Спасайте армию!

Его трясло все сильнее, до боли в суставах. Он схватился руками за голову, с силой стиснул ее и... открыл глаза.

В избе было темно. Через красноватые стекла окон в комнату вливались туманные отблески недалекого пожара. Возле постели стоял адъютант и тормошил Штеммермана за плечо:

— Проснитесь, герр генерал! Русские бьют по селу из артиллерии. Над селом самолеты.

Они выбежали во двор, в ветреную суматоху, в хаос голосов и рев моторов. Над крышами изб гудели тихоходные ночные бомбардировщики, русские «кукурузники», У-2, от которых нигде не было спасения, будто черти, а не люди поднялись в воздух.

Штеммерман задрал вверх голову. Он все еще оставался в тихом трансе; в обворожении сна. О боже, когда всему этому наступит конец? Куда-то брел по снегу, брел вслепую, не замечая ни пожара на противоположном конце села, ни бестолковой беготни солдат.

Адъютант твердо взял его под руку, вывел на улицу к бронетранспортеру. Высокий, худощавый полковник, перевалившись через борт, протянул генералу руку. Снег засыпал полковнику глаза. У него были густые и лохматые, как у совы, брови.

Неподалеку загорелась еще одна изба. Загорелась как-то сразу, заполыхала одновременно со всех сторон. Генерал некоторое время внимательно смотрел на пожар, на выскакивавших из окон солдат, потом перевел взгляд на полковника.

— Поезжайте одни, у меня нет времени!

— Герр генерал! Бригадефюрер выводит колонны в поле. До рассвета мы должны прорваться через русские позиции.

— Прорветесь, обязательно прорветесь. И вы, обер-лейтенант, уезжайте,— обернулся он к адъютанту.— Благословляю вас, уезжайте!

Он напоминал сейчас капитана, который остается на тонущем корабле. Он уже приготовился к смерти, весь был в ее необоримой власти.

Где-то совсем недалеко разорвался снаряд. Группа солдат пробежала по улице. Бешено пронеслись напуганные взрывом кони. В их дико вытаращенных глазах кровенели языки пламени. Генерал отшатнулся к забору, тупо улыбнулся. Ему дышалось сейчас легко и свободно, перед глазами все еще продолжали раскрываться странички недавнего сна. «Я принимаю все условия безоговорочной капитуляции!.. Все принимаю! Но гарантируйте спасение людей. Дайте им жить!..»

Теперь сельская улица опустела. Генерал стоял возле забора, покинутый, забытый своими войсками, бездумно оглядывался вокруг.

«Вы правы, майор Блюме. Надо было капитулировать.

Я виноват перед вами, майор, виноват перед своими солдатами...»

Он с трудом переставлял ослабевшие ноги по заснеженной улице. Шинель была расстегнута, и холодный ветер обжигал тело.

«Может, не все еще потеряно? Еще можно капитулировать, спасти людей... Надо приказать Гилле... Приказать!..»

Торопливо стал искать в карманах носовой платок. Платка не было. С досадой подумал, что без белого флажка его не примут, убьют. Надо во что бы то ни стало найти кусочек белой материи. Снова стал шарить по карманам. Обо что-то споткнулся, увидел убитого солдата, стянул с его застывшей головы грязную белую тряпку, с радостным, почти безумным удовлетворением поднял ее вверх...

Он не слышал воя снаряда. Не слышал взрыва. Осколок ударил ему в спину. Штеммерман упал на колени, вдохнул в себя холодный воздух и умер.

А за селом исчезали, тонули, расплывались в белесой тьме ночи последние колонны обреченных войск, освещаемые зловещим заревом пожаров.

25

Капитан Зажура стоял перед окопом и устало смотрел на мерцающий снег. Где-то позади и справа загрохотали 76-миллиметровые пушки. Трудно понять: кто бьет, откуда, по каким целям? Немцев еще не видно, но они скоро пойдут. Все вокруг напряжено: ждет их появления. Напряжены мышцы, напряжены сердца, напряжена сталь орудий, пулеметов, автоматов и винтовок. Только бы шли скорее. Надоело ждать.

За спиной Максима в глубоком капонире стоял танк. В темноте едва угадывался силуэт его башни. Направленный в сторону леса ствол орудия затаенно вглядывался в тревожную муть ночи. Танк без горючего. И остальные машины, что неподвижными глыбами высились между окопами стрелков и пулеметчиков, тоже с полупустыми баками, превращены в неподвижные бронированные крепости.

Когда стало известно, что в районе Шендеровки накапливаются остатки окруженной немецкой армии, чтобы еще раз попытаться прорвать кольцо окружения, в движение пришли десятки советских полков и дивизий. По приказу командования на направлении ожидаемого удара заняли боевые позиции артиллеристы, минометчики, пехотинцы. В ближайшем перелеске застыли в молчаливом ожидании кавалерийские части. На флангах сосредоточились танковые батальоны, готовые в любую минуту ринуться вперед.

Всю ночь солдаты долбили ломами и лопатами промерзшую, неподатливую землю. Всю ночь бряцало оружие. Всю ночь слышались приглушенные команды.

В ряду этих стальных лав находился и Максим Зажура. После похорон матери он не мог оставаться в Ставках. Одно желание жгло ему сердце — драться с врагом. Тянуло к своим, в свой минометный дивизион. Но где он теперь? Как разыщешь его в пору стремительного наступления? Решение пришло сразу: остаться тут! Пока не кончился предоставленный ему начальником госпиталя отпуск, он будет воевать на Корсуньщине.

Возможно, командир третьего батальона из полка Грохольского поднял бы его на смех, назвал бы дурнем, накликающим беду на собственную голову. А вот танкисты с тридцатьчетверки, что стояли позади в капонире, поняли его и приняли как своего. Он быстро сдружился с ними, и теперь, кажется, нет для него людей роднее и ближе.

Экипаж только что поужинал. Сгрудившись при свете фонарика в пропахшей бензином и отработанным маслом машине, все выпили по глотку спирту. Потом механик-водитель и башенный стрелок прилегли на холодных гильзах отдохнуть, а Зажура выбрался на свежий воздух, неподвижно замер у окопа.

Была холодная ночь. Была беспросветная темень. Была напряженная, тревожная тишина. И еще были воспоминания, как никогда реальные, почти осязаемые. В мыслях отчетливо виделось все пережитое: мать, отец, Павел...

Он упрямо думал и о другом. Думал о Зосе. Ее любимый образ жил в нем долгие годы мытарств на чужбине и вновь возник так внезапно и властно в родном селе, зачеркнул прошлое и наполнил душу чувством вернув-

шейся любви. Словно сквозь густой туман он видел лицо Зоси, ее большие серые глаза, ее девственно стройную фигуру. Но образ расплывался в тумане, делился на части, которые он никак не мог объединить, не мог вспомнить всего, только испытывал чувство неимоверной близости к ней. И от этого чувства ему становилось теплее, надежнее среди большого, мрачного, заснеженного поля.

Так нередко бывает с человеком: воображение гаснет, воображение не может состязаться с силой эмоций. Ее глаза были в душе Зажуры. Он не мог их видеть. Он мог только знать, что они есть, и теперь твердо верил, что они будут с ним, всегда, до конца жизни, вопреки всем превратностям судьбы.

Максим встретился с Зосей несколько часов назад совсем случайно. И после этой встречи в его жизни будто все перевернулось, озарилось теплом надежды и веры.

...Танк стоял среди уличной хляби. Танкисты с испачканными лицами, молчаливые и озабоченные что-то ремонтировали, что-то подкручивали, гремели ключами, лишь изредка перебрасываясь скупыми словами, да время от времени поворачивали головы в сторону своего странного друга в шинели пехотного командира. Зажура сидел на покосившейся от времени скамейке возле плетня какой-то хаты, наблюдал за воробьиной стаей, что копошилась у его ног, машинально доставал из кармана хлебные крошки и бросал их шустрым птичкам.

Не было мыслей. Не было никаких желаний. Сидел, и все, расслабленно отдыхал после тяжелого боя перед еще более тяжким. Глядел на воробьиное пиршество, подсознательно завидовал серым, живым, непрестанно двигавшимся комочкам, что радовались бесхитростной трапезе.

Отвел взгляд от воробьиной стаи, увидел виллис — старый, обшарпанный, заляпанный грязью. Машина медленно двигалась, переваливаясь с боку на бок, по разъезженной, превращенной гусеницами танков в сплошное месиво улице. Водитель остервенело крутил баранку, а за спиной у него сидели офицеры, о чем-то громко переговаривались между собой, размахивали руками, весело и беззаботно смеялись.

Неожиданно виллис остановился. Водитель выскочил прямо в грязь. Открыл капот, склонился над мотором. Вот тогда Зажура и увидел Зосю.

Она сидела впереди, в офицерской шинели, в шапке-ушанке, совершенно безучастная, далекая от всего окружающего.

В моторе виллиса что-то не ладилось, он не заводился, и водитель, чертыхаясь, снова и снова лез под капот. Офицеры дружно чадили самокрутками. Им было весело. Им хотелось поболтать и понежиться под скупыми лучами зимнего солнца, изредка пробивавшимися сквозь тучи. Только Зося сидела молча и казалась лишней, ненужной в этой шумной компании.

Вдруг она резко повернула голову к Максиму. Их взгляды встретились. Зося от неожиданности замерла на миг, затем быстро открыла дверцу, пошла к Зажуре. Подошла, положила ему на плечи руки, и он мгновенно ощутил, как навалилась на него вся тяжесть прожитых лет, все выстраданное и невыстраданное его горе, все его радости, такие же скупые и такие же человеческие, как эта любовь, что стояла теперь возле него в образе удивительной женщины, родной и близкой, с бледным лицом и усталыми глазами.

Оба они некоторое время молчали, словно боялись услышать свои голоса. Боялись даже шевельнуться. Только Зося осторожно сняла правую руку с его плеча и со сдержанной, непонятной робостью провела пальцами по Максимовым губам, по его вискам и бровям. Неотрывно смотрела в его глаза. И он осязаемо ощутил ее взгляд всем своим телом, всем своим естеством. Из ее глаз переливался в него ясный свет неистраченного жара, переливалось все неистовство их прошлой близости.

— Захар Сергеевич жив, — сказала, наконец, Зося.— Я только на днях узнала об этом.

Теперь он водил пальцами по ее щекам. Он не сразу понял сказанное ею: в эти мгновения он видел только Зосю, только ее одну.

— ...Павел погиб, а Захар Сергеевич в партизанах.

Его внезапно охватила тревога. Слова наполнились содержанием. Услышанное отозвалось болью. Сведя брови, он поднялся со скамьи, сделал шаг назад.

— Павел погиб?..

— Да.

Зося быстро, опуская подробности, рассказывала обо всем, что узнала от генерала Рогача в штабе дивизии. О том, что Захар Сергеевич продолжительное время на-

ходился в фашистском концлагере где-то в Польше. Отец вместе с товарищами сумел вырваться на волю. Захар Сергеевич командует теперь крупным партизанским соединением. Поляки сделали его чуть ли не генералом. В Москву прилетал от него связной. Из Москвы звонили в штаб фронта, а из штаба в дивизию, просили передать привет от Захара Сергеевича односельчанам. Сказали, что он очень хочет знать, как дела дома.

— Письма не передал? — угрюмо спросил Максим.

— Оттуда писем не пишут, — тихо сказала Зося и сжала обеими руками тяжелую Максимову ладонь, темную от земли, порохового дыма и мазута.

С виллиса засигналили. Вероятно, водитель устранил, наконец, неисправность в моторе. Зося заторопилась.

— Максим, прости. Мне нужно ехать.

Он окинул тяжелым взглядом сидевших в виллисе офицеров. Ему стало досадно, горько и даже как-то оскорбительно: почему он, муж этой женщины, должен остаться здесь, в грязной шинели, с такими же грязными бинтами на шее, а они, сидящие в машине, поедут на своем бойком виллисе по освобожденным дорогам, заберут с собой его жену, его израненную душу?

Зося догадалась, о чем он подумал.

— Не смотри на них так, Максим! — Открыто, не стесняясь, прижалась к его груди, словно желая подчеркнуть верность мужу.

— Ты постоянно с другими, далеко от меня...

— Не надо, Максим. Эти офицеры вырвали меня из огня и, может быть, сегодня снова пойдут в самое пекло.

— Разведчики?

— Да. Из армейской группы. Утром нас окружили в лесу эсэсовцы. Мы спасали от расправы раненых немцев. Было трудно, а эти парни прорвались к нам на танках и помогли.

По небу плыли тяжелые облака. Над полем расстилалась метельная мгла, смывала очертания изб, деревьев, колодезных журавлей. Где-то за горизонтом глухо рокотала артиллерийская канонада.

Им опять суждено было расстаться. Снова Зося уходила в неизвестность. Надолго ли? Кто знает! Может быть, навсегда. Гул артиллерийской канонады за горизонтом таил для каждого из них что-то свое, неведомое,

ненасытно звал их в пламень новых боев и испытаний. Такими крошечными казались они в огромной стихии войны и так много значили друг для друга!

— Максим, поцелуй меня на прощание!

— Скажи, что скоро встретимся. Скажи, что ты будешь ждать.

— Максим, поцелуй меня. Я ухожу. — И она сама потянулась к его губам, сама поцеловала его.

С виллиса опять засигналили. Там уже была война — без слов, без шуток.

Зося шагнула к машине и вдруг замерла.

— Максим, ты встречался с Задеснянским? Помнишь его? Он похоронен возле леса, за Шендеровкой. Скажи людям, чтобы сберегли могилу и память о нем.

— Ты первая вернешься сюда и скажешь.

— Хорошо, если вернусь раньше, скажу. Пиши чаще, любимый. Обязательно пиши. Я буду ждать.

— Куда писать?

— Пока не знаю. Пиши в Ставки. Я разыщу твои письма.

Новая разлука зримо стояла между ними, жестокая, неумолимая, страшная разлука войны. Война снова бросала их в разные стороны. В душе оба они ненавидели, проклинали войну со всеми ее горькими потерями и болями, с долгими и жуткими ночами ожиданий, но не могли, не имели права уйти от нее ни на шаг, ни на час.

Зося заняла свое место в машине, и виллис поплыл по уличной хляби. Молодой офицер, сидевший позади Зоси, поднял руку, что-то крикнул Максиму, но Зажура не расслышал. Он смотрел на Зосю, видел только ее чуть согнутую спину и ее маленькую руку, сжимавшую железную скобу на панели машины.

Когда все это было? Вчера? Сегодня? Несколько часов назад? А может быть, только померещилось ему: родное село, виллис, усталые Зосины глаза? Нет, не померещилось. Встреча была. Он знал теперь о Зосе все, и, быть может, от этого на сердце у него было еще тоскливее. В бой он пойдет вместе с ней, и если ему суждено будет погибнуть, то будет считать свою смерть и ее смертью.

Нервы напряжены до предела. Глаза всматриваются в белесую тьму. Может быть, эти обреченные на смерть

немцы уже идут? Может, кто-нибудь из них несет в своем карабине крохотный кусочек металла, предназначенный судьбой ему, Максиму Зажуре?

Из темноты неожиданно донесся гул мотора. Он быстро приближался. К окопу темной громадой подъехал танк, круто развернулся, прыснул из-под гусениц черноземом. Из люка башни высунулся человек.

— Эй, товарищ! — крикнул он Максиму. — Где тут капэ генерала Богданова?

— Не знаю никакого Богданова, — неприветливо отозвался Зажура.— Ты потише разгоняйся, а то как раз к фрицу на завтрак угодишь.

Человек спрыгнул на землю. Одет он был вроде неподходяще для рядового танкиста: длинное кожаное пальто, на голове— папаха. Во всем его поведении чувствовалось что-то властное, решительное. Наверное, командир, к тому же высокого ранга. Зажура подтянулся, одернул шинель, приложил руку к ушанке.

— Товарищ!..

— Здравствуйте! — Перед Зажурой в снежном крутеже остановился широкоплечий, плотный генерал, внимательно посмотрел на него. — Кажется, капитан? Какой части?

— Танкист, товарищ генерал.

— Я Конев. Как тут у вас дела?

— Пока все нормально, товарищ командующий, — бодро отрапортовал Зажура, чувствуя сейчас себя и в самом деле танкистом.— Правда, наши танки без горючего...

— А снаряды есть?

— Снарядов достаточно, товарищ генерал.

— Ну и хорошо. Значит, можно воевать. Бой будет жаркий. Держитесь, капитан, стойко держитесь! Чтобы ни одного не пропустить. Сил у нас хватит, и мести мы не жаждем, но коль не захотели немцы капитулировать, пусть пеняют на себя. — Голос Конева упал до низких нот. — Сегодня мы должны рассчитаться с ними за все.

Он вернулся к танку. С минуту постоял над башней, не закрывая люка. Мощно ревнул мотор. Задвигались, загремели траки гусениц, разминая влажный чернозем, и танк командующего фронтом растаял в снежной каламути.

Провожая его взглядом, Максим тихо проговорил:

— Рассчитаемся за все, товарищ генерал. Кому ж, как не нам, рассчитываться?

Слова эти стоном вырвались из самого сердца Максима.

Ночь будет долгой. Немало выпадет снега на поля. До утра он будет вспыхивать красными, похожими на кровь отблесками пожаров. Пожары — неизбежные спутники войны. И среди них — серые колонны немцев, отчаявшихся, готовых на все. Страшась настороженной, выматывающей душу тишины, они жмутся друг к другу.

По колоннам объявлено, что танки генерала Хубе в любую минуту готовы поддержать их. Танковые полки совсем недалеко, в районе Лысянки. Нужно только пробиться к ним, пройти, пробежать каких-нибудь пять-шесть километров. Генерал Хубе поможет! А пока все зависит от них самих, от их собственной решительности и храбрости.

Может быть, русские спят? Попрятались в окопы, землянки и ничего не видят? В такую снежную ночь никому неохота мерзнуть на пронизывающем до костей ветру. Ничего не видно: ни одного огонька, ни одной тени. Зиг хайль! Великий боже, спаси нас от славянских вандалов!

Первая, самая большая колонна ускорила шаг. За ней двинулись остальные. Только бы побыстрее преодолеть это завьюженное снегом поле! Кое-кому в колоннах казалось, что все самое страшное осталось позади, что они прошли, прорвались через позиции русских. Уже слышались крики радости, многоголосый рев. Наконец-то вырвались из огненного кольца! Кто-то разрядил автомат в воздух. Кто-то охрипшим голосом затянул песню. Кто-то от волнения заплакал...

Бригадефюрер Гилле поднялся с сиденья бронеавтомобиля, сорвал с головы фуражку, с патетической истеричностью прокричал во тьму:

— Вперед, сыны великой Германии! Фюрер не забудет вашего подвига. Он благословляет вас!..

«...Наши танки и кавалерия неожиданно появились из своих укрытий и врезались в гущу колонн. Трудно даже

описать, что тут произошло. Немцы побежали в разные стороны. На протяжении четырех часов наши танки носились взад-вперед по равнине и сотнями давили их... Кавалеристы рубили немцев саблями. Стрелки, пулеметчики, автоматчики расстреливали их почти в упор. Артиллеристы и минометчики осыпали снарядами и минами... На небольшой площади было перебито до двадцати тысяч немецких солдат и офицеров...»

Таково свидетельство очевидца.

Максим держал в руках автомат. Раскаленный ствол обжигал ему ладони. Земля вокруг была усеяна стреляными гильзами.

Максим почти ничего не видел, почти отупел от стрельбы и боя. От усталости у него подгибались ноги.

Перед окопом на ровном поле валялись трупы немцев. Их было много: десятки, может, сотни. Несколько дальше — живые немцы. Они шли шеренгами с белыми полотнищами впереди. Шли в одиночку и небольшими группами с окровавленными белыми тряпками. Они несли белые флаги запоздалой капитуляции, молили о милосердии, о спасении.

Они проходили мимо Максима Зажуры, что стоял возле окопа и смотрел на них плохо видящими, затуманенными, скорбно задумчивыми глазами. Проклинали бога за то, что он дал русским необоримую силу.

Они не знали, не могли знать капитана Зажуру. Ничего не знали о судьбе его матери и старшего брата, не догадывались, почему на серое от порохового дыма лицо русского капитана легла тень скорбной печали и задумчивости.

Теперь на поле боя было тихо.

Тишина входила в сердце капитана Зажуры и там кременела болью. Начинался рассвет. Земля чадила дымами и звала солнце.

Киев, 1969 г.

Бедзик Юрий Дмитриевич
СИЛЬНЫЕ МЕСТИ НЕ ЖАЖДУТ
Редактор *Рогова А. П.*
Художник *Борисов П. А.*
Художественный редактор *Гречихо Г. В.*
Технический редактор *Коновалова Е. К.*
Корректор *Тихонова М. Г.*
* * *

Сдано в набор 22.5.70 г. Подписано к печ. 17.12.70 г.
Формат бумаги $84\times108^1/_{32}$. $10^1/_4$ п. л. 17,22 усл. п. л.
18,073 уч.-изд. л. Бумага типографская № 2.
Тираж 100.000
Изд. № 4/4155 Цена 73 коп. Зак. 167
* * *

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство Министерства обороны СССР
Москва, К-160
1-я типография Воениздата
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Бедзик Ю. Д.

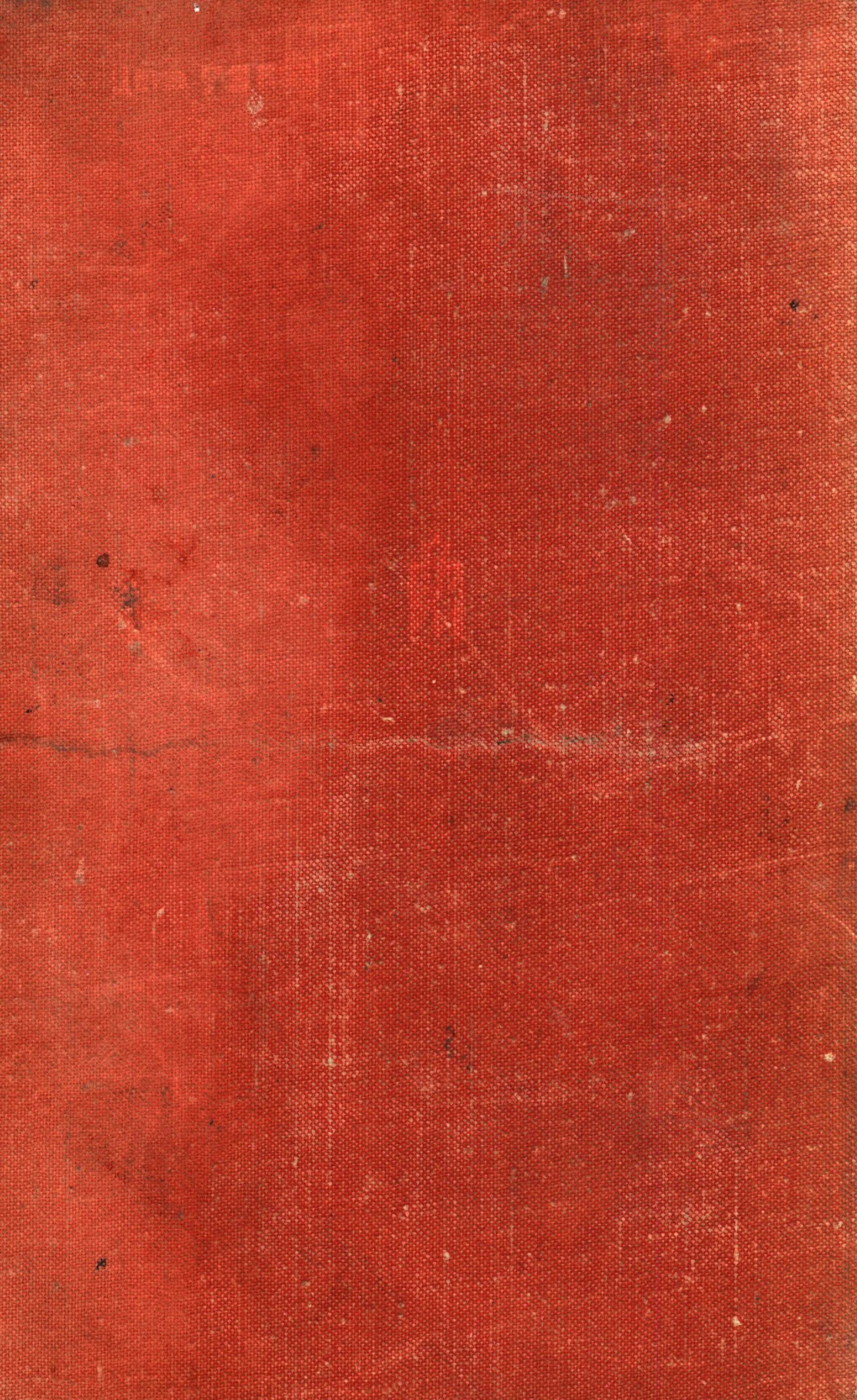
8 Сильные мести не жаждут. Роман. М., Воениздат, 1971.

328 стр.

Новый роман украинского писателя Юрия Бедзика «Сильные мести не жаждут» посвящен незабываемым событиям Великой Отечественной войны, а точнее — крупнейшей Корсунь-Шевченковской наступательной операции Советской Армии, осуществленной в январе — феврале 1944 года, в результате которой была окружена и ликвидирована более чем 80-тысячная группировка немецко-фашистских войск на Правобережной Украине.

7-3-3

264-71 **Р2**





ЮРИЙ
БЕДЗИК
СИЛЬНЫЕ МЕСТИ НЕ ЖАЖДУТ